



ПУШКИНИСТЪ

ИСТОРИКО-  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
СБОРНИКЪ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ  
проф. С. А. Венгеровска

— • I • —

---

САНКТ ПЕТЕРБУРГЪ

1914

# ПУШКИНИСТЪ.

---

## ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ

*подъ редакцией проф. С. А. Венерова.*

---

---



С.-ПЕТЕРБУРГЪ  
Фототипія и Типогр. А. Ф. Дресслера, Б. Подъяческая, 22.  
1914.

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

---

- I. Предисловіе *С. А. Венгера*. . . . . III—XXIV

### Д о к л а д ы.

- II. Къ вопросу о вліяніи Шатобріана на Пушкина  
*А. Л. Бема* . . . . . 1— 17
- III. „Цыганы“ Пушкина. *А. С. Долинина-Искоза*. . . . . 18— 44
- IV. Природа въ поэзіи *А. С. Пушкина* *Н. М. Коло-*  
*бовой* . . . . . 45—162
- V. „Байронъ“ *В. А. Краснова* . . . . . 163—203

### Лѣтопись Пушкинскихъ семинаріевъ.

- VI. Общій обзоръ занятій въ Пушкинскомъ семинаріи при С.-Петербургскомъ университетѣ за пятилѣтіе 1908—1913 . . . . . 207—211
- VII. Темы, предложенныя Пушкинскимъ семинаріямъ въ 1913—1914 уч. году . . . . . 212—222
- VIII. Программа составленія словаря поэтического языка Пушкина . . . . . 223—232
- IX. Спосокъ участниковъ Пушкинскаго семинарія при С.-Петербургскомъ университетѣ (1908—1913) . . . . . 233—239
-



## Предисловіе.

Къ числу отраднѣйшихъ явленій литературной жизни послѣднихъ лѣтъ нельзя не причислить необыкновенный ростъ интереса къ Пушкину. Оправдалось вѣщее слово Тютчева:

Его какъ первую любовь  
Россіи сердце не забудеть.

Ни одинъ изъ нашихъ классиковъ не изученъ съ такою тщательностью какъ Пушкинъ, ни объ одномъ не написано столько, не собрано столько матеріаловъ—біографическихъ, бібліографическихъ и всякихъ иныхъ. Если исключить Толстого, интересъ къ которому находится внѣ обычныхъ чисто-литературныхъ рамокъ, то можно прямо сказать, что объ одномъ Пушкинѣ имѣется больше историко-литературнаго матеріала, чѣмъ обо всѣхъ нашихъ классикахъ, вмѣстѣ взятыхъ. Благодаря этому обилію, Н. О. Лернеръ имѣлъ возможность составить толстую книгу въ 700 страницъ, заглавіе которой „Труды и дни Пушкина“ нужно понимать не символически, какъ у Гезіода, а буквально: дѣйствительно изо дня въ день перечислены всѣ мельчайшія событія жизни Пушкина. По отношенію къ другимъ писателямъ такой детальности и приблизительно не достигнешь: нѣтъ данныхъ.

Не считая безчисленныхъ популярныхъ изданій, имѣются теперь четыре научныхъ изданія Пушкина, изъ которыхъ нѣкоторыя стремятся стать своего рода Пушкинскими энциклопедіями. Такой широкой постановки комментарія нѣтъ и

въ западно-европейской литературѣ. Нѣтъ сейчасъ въ западно-европейской литературѣ и спеціальнаго журнала, посвященнаго одному писателю. У насъ-же Академія Наукъ издаетъ такой журналъ—„Пушкинъ и его современники“.

Что касается изслѣдованій и всякаго другого рода историко-литературнаго матеріала о Пушкинѣ, то яркое представленіе объ обиліи его дастъ имѣющая появиться въ скоромъ времени библиографическая работа—„Пушкиниана перваго десятилѣтія ХХ вѣка“. Она составлена участницами Пушкинскаго семинарія на Бестужевскихъ курсахъ, преимущественно г-жами З. И. Добреяновой и Р. А. Кальтенбергъ, обработана-же и дополнена по матеріаламъ моего литературнаго архива бывшимъ участникомъ университетскаго Пушкинскаго семинарія А. Г. Фоминымъ. Эта библиографія почти оставляетъ въ сторонѣ безчисленныя и въ подавляющемъ числѣ случаевъ не представляющія никакого интереса газетныя статьи. Она регистрируетъ только отдѣльно вышедшія книги и статьи въ ежемѣсячныхъ журналахъ. И тѣмъ не менѣе, такой простой перечень заглавій отдѣльныхъ книгъ и журнальныхъ статей, появившихся въ 1900—1910 гг., займетъ болѣе 200 страницъ.

Разъ говоришь объ интересѣ къ Пушкину, то въ добавленіе къ литературному проявленію его надо, конечно, отмѣтить, что въ десяткахъ городовъ, въ томъ или другомъ видѣ, имѣются памятники Пушкину, имѣются „Пушкинскія“ улицы, „Пушкинскія“ площади, „Пушкинскіе“ народные дома. Имѣется Пушкинскій музей при Лицеѣ и при немъ Лицейское Пушкинское общество. Наконецъ, Академіей Наукъ положено начало основанію „Пушкинскаго дома“, на постройку котораго собрано уже около 150,000 р. Подобно Шиллеръ-Гетевскому архиву въ Веймарѣ, подобно „Shakespeare Memorial“ въ Стратфордѣ въ немъ, помимо всякаго иного историко-литературнаго матеріала, будетъ сконцентрировано все, что касается Пушкина и его эпохи. Только что вышелъ первый выпускъ „Временника“ этого дома Пушкина.

Словомъ, если Англія можетъ гордиться „шекспиризмомъ“ и „шекспириологіей“, то и Россія можетъ сказать, что она въ достаточной степени внимательно относится къ памяти величайшаго поэта своего. Есть у насъ серьезный „пушкинизмъ“, есть настоящее „пушкиновѣдѣніе“, есть и заслуживающіе этого званія „пушкинисты“, хотя, увы, настоящей, большой, всеобъемлющей книги о Пушкинѣ и нѣтъ—все больше матеріалы, матеріалы, все *membra disjecta*.

Однимъ изъ проявленій интереса къ Пушкину является и то скромное начинаніе, первый выпускъ котораго здѣсь предлагается вниманію читателя.

Оно органически вытекло изъ другого скромнаго начинанія моего—учрежденія Пушкинскихъ семинаріевъ, сначала при петербургскомъ университетѣ, а затѣмъ на Бестужевскихъ женскихъ курсахъ и при Психо-Неврологическомъ Институтѣ.

Есть затѣи, судьба которыхъ зависитъ не столько отъ первоначальнаго замысла, — добрыми намѣреніями адъ усланъ, — сколько отъ того, совпадаютъ-ли эти затѣи съ назрѣвшею потребностью.

Когда я въ январѣ 1908 г. объявилъ въ университетѣ семинарій: „Пушкинъ, исторія его жизни, творчества и текста“, я это сдѣлалъ просто въ силу того, что самъ усердно работалъ тогда надъ большимъ, комментированнымъ изданіемъ Пушкина. Я весь былъ погруженъ во всякаго рода подготовительныя работы, у меня была собрана вся Пушкинская литература, было множество фотографій Пушкинскаго текста и т. д. и мнѣ такимъ образомъ легко было руководить занятіями участниковъ семинарія.

Въ виду того, что семинарій объявилъ я поздно, въ январѣ, когда уже всѣ студенты записались въ разные другіе семинаріи и, такимъ образомъ, запись въ Пушкинскій семинарій не давала никакого зачета, я былъ убѣжденъ, что запишется человѣкъ 6—7. Не рассчитывая на большее количество, я даже назначилъ собранія семинарія у себя на дому.

Велико-же было радостное изумленіе мое, когда записалось больше тридцати. Многіе уже имѣли зачеты, а сверхъ того записались и студенты другихъ факультетовъ—юристы и естественники.

И это въ высшей степени отрадное явленіе—запись безъ зачета—продолжаетъ быть характерною чертою Пушкинскихъ семинаріевъ и по сію пору. Помимо тѣхъ, которые поступаютъ, уже имѣя зачеты, большинство остается въ семинаріи два года, хотя для зачета достаточно одного года.

Этотъ-же чисто-научный интересъ, внѣ всякихъ зачетовъ, ярко проявился и тогда, когда въ 1910 г. я объявилъ Пушкинскій семинарій на Бестужевскихъ курсахъ и въ Психоневрологическомъ Институтѣ.

На Бестужевскихъ курсахъ число участницъ доходить до ста и больше. Очень показательно, что въ семинаріи Психоневрологическаго Института, гдѣ на всемъ филологическомъ факультетѣ около 120 студентовъ, въ Пушкинскомъ семинаріи никогда не бываетъ меньше двадцати участниковъ.

Чисто-научный интересъ и любовь къ Пушкину, привлекающіе академическую молодежь въ Пушкинскіе семинаріи, не можетъ не отразиться на уровнѣ тѣхъ рефератовъ, которые представляются студентами. Если на первыхъ порахъ не было и не бываетъ и теперь недостатка въ рефератахъ чисто-школьнаго характера, ни на что, кромѣ зачета не претендующихъ, то очень быстро стали появляться и рефераты, значительно превышающіе обычный уровень.

Это сразу почувствовалось въ университетскомъ семинаріи, и одинъ изъ участниковъ предложилъ издавать сборникъ всѣхъ рефератовъ, мотивируя это тѣмъ, что если рефераты и не представляютъ собою чего-либо новаго въ научномъ отношеніи, то, все таки, они объединяютъ отдѣльные моменты біографіи Пушкина и, при бѣдности нашей Пушкинской литературы сводными работами, могутъ быть полезными хотя-бы въ скромной роли работъ популярныхъ.

Изданіе сборника въ такомъ видѣ—печатанія *всѣхъ* рефератовъ мнѣ показалось неприемлемымъ. Но историко-литературный интересъ нѣкоторыхъ рефератовъ побудилъ меня хлопотать о томъ, чтобы они увидѣли свѣтъ въ академическомъ журналѣ „Пушкинъ и его современники“. Въ этомъ журналѣ напечатаны рефераты А. Л. Бема о „шатобрианизмѣ“ Пушкина и одинъ изъ рефератовъ Психо-Неврологическаго Института—А. С. Полякова „Пушкинъ и Пнинъ“.

Въ этомъ-же журналѣ В. В. Бушъ напечаталъ извлеченіе изъ своей работы надъ текстомъ Пушкинскихъ стихотвореній 1818—1819 г.г. И, наконецъ, принята къ напечатанію цѣнная библиографическая работа слушательницъ Бестужевскихъ курсовъ, о которой сказано выше.

Я хлопоталъ только о тѣхъ рефератахъ, которые подходили къ общему характеру академическаго журнала, внося что-нибудь фактически-новое въ изученіе Пушкина.

Но рядомъ съ такими рефератами, въ семинаріяхъ читались рефераты, интересные съ чисто-литературной точки зрѣнія: либо талантливо-написанные, либо затрагивающіе тѣ или другіе эстетическіе вопросы, либо, напротивъ того, подходящіе къ предмету съ точки зрѣнія этической и т. д.

Пристраивать такіе рефераты въ общіе журналы, занятые интересами болѣе злободневнаго характера, да и располагающіе сотрудничествомъ писателей, уже вполне сформировавшихся, мнѣ казалось труднымъ дѣломъ.

И вотъ, какъ-бы сама собою, родилась мысль создать нѣкій органъ Пушкинскихъ семинаріевъ, въ которомъ первыя опыты научно-работающей и талантливой академической молодежи могли-бы увидѣть свѣтъ, себѣ въ поощреніе, соотарищамъ и читателямъ часто въ безспорное поученіе.

Матеріала накопилось на цѣлыхъ четыре сборника (по 10 листовъ)—это все доклады перваго пятилѣтія существованія университетскаго семинарія и перваго трехлѣтія

семинарієвъ Бестужевскихъ курсовъ и Психо-Неврологическаго Института. Но и новые семинаріи уже дали нѣсколько рефератовъ, вполне достойныхъ того, чтобы быть напечатанными.

„Пушкинисть“ состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: въ первомъ печатаются рефераты, во второмъ дается лѣтопись 3 Пушкинскихъ семинарієвъ.

Печатаніе рефератовъ идетъ почти въ хронологическомъ порядкѣ. Первый рефератъ—А. Л. Бема, какъ было раньше отмѣчено, уже былъ напечатанъ въ „Пушкинѣ и его современникахъ“. Но онъ такъ органически связанъ съ Пушкинскимъ семинаріємъ, что было-бы странно его отсутствіе въ сборникѣ работъ этого семинаріа. Значеніе реферата въ томъ, что онъ вноситъ и фактическія и методологическія поправки въ теорію Пушкинскаго „шатобріанизма“, выдвинутаго В. В. Сиповскимъ и довольно прочно вошедшаго въ литературный обиходъ. Важныя фактическія поправки А. Л. Бема заключаются въ указаніи того, что устанавливая сходство между „Кавказскимъ плѣнникомъ“ и „Атала“ Шатобріана, В. В. Сиповскій не только довольствуется самымъ мимолетнымъ сходствомъ, но при этомъ: 1) не обращаетъ вниманія на то, что, при самомъ мимолетномъ сходствѣ, „интрига идетъ совершенно другимъ путемъ“ въ поэмѣ Пушкина и 2) къ фабулѣ „Атала“ примѣшиваетъ фабулу „Натчезовъ“, а „Натчезы“ вышли... въ 1825 г., т. е. *послѣ* появленія „Кавказскаго Плѣнника“.

Имѣютъ серьезное значеніе и методологическія указанія реферата. Референтъ вдумывается въ вопросъ о томъ, что такое „вліяніе“ и что такое сущность творчества Шатобріана. И сопоставляя съ одной стороны легитимизмъ Шатобріана и его борьбу во имя историческаго христіанства противъ идей 18 вѣка, а съ другой общій обликъ перваго періода творчества Пушкина, столь ярко окрашеннаго погоней за „призракомъ свободы“ и религиознымъ скептицизмомъ, мы, конечно, согласимся съ заключительнымъ выводомъ реферата: „не будь Байрона—

литературное наслѣдіе Пушкина было-бы инымъ, не будь Шатобриана—наслѣдіе Пушкина осталось-бы тѣмъ-же“.

„Цыганы“ А. С. Искоза-Долинина интересны своимъ стремленіемъ связать написанную безъ малаго сто лѣтъ тому назадъ поэму Пушкина съ самыми жгучими проблемами нашей современности. Исходя изъ утвержденія Достоевскаго, что Пушкинъ былъ „пророчествомъ и указаніемъ“ всего будущаго хода русской литературы, референтъ приходитъ къ выводу, что самый животрепещущій вопросъ литературной жизни послѣднихъ десятилѣтій—„проблема индивидуализма во всей необъятной шири и болѣзненной глубинѣ“ поставлена въ „Цыганахъ“. Поставлена, какъ „высшій синтезъ, внѣ всякой зависимости отъ эпохи или среды; обнаженная проблема внѣ какихъ-бы то не было рамокъ быта, мѣста и времени“. И потому, геніальная поэма остается вѣчно-юнымъ, вѣчно захватывающимъ чтеніемъ.

Въ рефератѣ нѣтъ недостатка въ чрезмѣрно-широкихъ обобщеніяхъ и преувеличеніяхъ, столь свойственныхъ молодому восторгу. Но, въ общемъ, онъ мнѣ показался проявленіемъ вдумчиваго критическаго дарованія и мнѣ захотѣлось создать возможность дальнѣйшаго примѣненія этой вдумчивости. Я рискнулъ предложить референту написать для IV т. моего изданія Пушкина статью о „Повѣстяхъ Бѣлкина“. Эта статья, органически, такимъ образомъ, связанная съ работою Пушкинскаго семинарія, мнѣ представляется несомнѣннымъ вкладомъ въ критическую литературу о Пушкинѣ. Неожиданно, но безусловно убѣдительно устанавливаетъ она параллелизмъ между „Моцартомъ и Сальери“ и мало-понятнымъ безъ этой параллели „Выстрѣломъ“, между высоко-трагическимъ „Пиромъ во время чумы“ и бытовымъ „Гробовщикомъ“ и вообще между всѣми такъ названными самымъ Пушкинымъ „маленькими“, а на самомъ дѣлѣ величайшими трагедіями его („Моцартъ и Сальери“, „Пиръ во время чумы“, „Скулой Рыцаря“, „Каменный Гость“) и повѣстями скромнаго Бѣлкина.

Великая, по своей плодотворности, осень 1830 года приобретает въ этомъ параллелизмѣ цѣльное освѣщеніе, какъ полоса единого творческаго устремленія, лишь благодаря многогранности генія Пушкина получившаго такое внѣшне-разнообразное выраженіе.

Третій рефератъ — слушательницы Бестужевскихъ курсовъ Н. М. Колобовой чисто-эстетическаго характера. Онъ посвященъ изученію творческихъ приемовъ Пушкина тамъ, гдѣ онъ является пѣвцомъ природы. Эстетическія работы часто крайне бесплодны, вращаясь въ сферѣ импрессионизма и всяческаго иного субъективизма и потому не приводя ни къ какимъ опредѣленнымъ результатамъ. Но работа г-жи Колобовой имѣетъ подъ собою почву вполне реальную и потому научную. Отдавая извѣстную дань и субъективизму тамъ, гдѣ она съ лирическимъ подъемомъ говоритъ о чувствѣ природы, референтка, главнымъ образомъ, вращается въ области данныхъ вполне объективныхъ. Она всегда точно констатируетъ и анализируетъ творческіе приемы поэта, устанавливаетъ его краски, предметы его сравненій и вообще всѣ тѣ детали, изъ которыхъ Пушкинъ строитъ свои образы и составляетъ свои картины. И сопоставляя эти образы и картины съ тѣми, что дали тѣ два поэта, которыхъ можно назвать пѣвцами природы *par excellence* — съ Тютчевымъ и Фетомъ, референтка приходитъ къ вполне правильному выводу:

„Человѣкъ занимаетъ всѣ думы Пушкина. Человѣческое близко и дорого ему. Природа не существуетъ, какъ самостоятельное бытіе, если она не связана съ бытіемъ человѣка. Пушкинъ вездѣ раскрываетъ передъ нами душу человѣка, всѣ ея тайны; ея буйныя радости; ея смятенія и тревоги; ея печали; ея сокровенныя раны.—Но нигдѣ онъ не раскрываетъ души предметовъ, души природы“.

Какъ это формулировалось во время преній, вызванныхъ докладомъ, природа для Пушкина только рамка, назначеніе которой такъ или иначе отгѣнить смотрящей сквозь нея ликъ человѣка.

Съ методологической точки зрѣнія, референткѣ можно поставить въ упрекъ, что въ своихъ характеристикахъ Пушкинскихъ творческихъ приѣмовъ она не всегда прибѣгаетъ къ тому, что можно было-бы назвать количественнымъ анализомъ и совсѣмъ не прибѣгаетъ къ тому, что можно было-бы назвать анализомъ качественнымъ. Разсматривая эпитеты Пушкина, она далеко не всегда отмѣчаетъ, какъ часто тотъ или другой эпитетъ встрѣчается и совсѣмъ не отмѣчаетъ, въ стихотвореніи какого времени и достоинства онъ употребленъ: удачномъ или неудачномъ, юношескомъ или зрѣлаго возраста. А это очень важно, потому что въ неудачномъ не все характерно для уясненія міроотношенія поэта, а въ молодомъ многое не отъ Пушкина, а отъ тѣхъ, которымъ онъ подражалъ и у которыхъ бралъ готовые образы и эпитеты.

Въ общемъ, однако, работа молодой изслѣдовательницы мнѣ представляется серьезнымъ приобрѣтеніемъ нашей литературы о Пушкинѣ, крайне бѣдной работами именно такого характера. Вопросъ объ отношеніи Пушкина, къ природѣ почти не затронутъ въ Пушкинской литературѣ. Можно указать только на изслѣдованіе извѣстнаго московскаго педагога В. Э. Саводника, но въ докладѣ г-жи Колобовой вопросъ разработанъ гораздо детальнѣе.

Рефератъ В. А. Краснова—„Байронъ“ представляетъ собою только незначительную часть огромнаго доклада, чтеніе котораго заняло цѣлыхъ четыре засѣданія. Другой отрывокъ изъ этой красиво и съ большимъ воодушевленіемъ написанной работы напечатанъ въ журналѣ „Жизнь для всѣхъ“ 1913 г.

Въ слѣдующихъ выпускахъ „Пушкиниста“ \*) будутъ напечатаны рефераты:

---

\*) Я опредѣленно рѣшилъ выпустить 4 сборника. Дальнѣйшее будетъ зависеть отъ приѣма, который „Пушкинистъ“ встрѣтитъ. Сборникъ печатается въ количествѣ 1000 экз. и цѣна ему назначается въ 1 р. (Исключеніе дѣлается

Б. М. Энгельгардта „Историзмъ Пушкина и его общественная идеологія“.

А. Г. Фомина „Обзоръ литературы по вопросу о вліяніи Байрона на Пушкина“.

А. А. Тамамшева „Опытъ анализа осеннихъ мотивовъ въ творчествѣ Пушкина“.

М. І. Лопато „О повѣстяхъ Бѣлкина“.

В. В. Гиппіуса „Эротизмъ Пушкина“.

Александра Попова „Пушкинъ и французская юмористическая поэзія XVIII вѣка“.

А. С. Полякова „Источники Пушкинскаго „Романса“.

В. В. Буша, „Изъ наблюденій надъ текстомъ Пушкинскихъ стихотвореній 1818—1819 г.г.“.

„Пушкиниана перваго десятилѣтія XX вѣка“ З. И. Добреяновой, Р. А. Кальтенбергъ и А. Г. Фомина.

Рядъ другихъ рефератовъ я пока не называю, потому что они, можетъ быть, потребуютъ кое-какихъ передѣлокъ и дополненій.

Вторую часть „Пушкиниста“ занимаетъ „Лѣтопись Пушкинскихъ семинаріевъ“, непосредственнымъ органомъ которыхъ является настоящій сборникъ.

Часть „лѣтописи“ можетъ имѣть только, такъ сказать, мѣстный интересъ. Она начинается съ „Общаго обзора занятій въ Пушкинскомъ семинаріи при Спб. Ун. за пятилѣтіе 1908—1913“.

Это именно только „общій обзоръ“. А вообще-то о за сѣданіяхъ семинаріевъ имѣются болѣе обстоятельныя записи.

Каждому засѣданію ведется довольно подробный протоколь, въ которомъ записывается и сущность доклада и

---

для I вып., потому что въ немъ, вмѣсто предполагаемыхъ 10 листовъ, дано больше 16). Валовая значить, выручка, при уступкѣ книготорговцамъ и студентамъ въ 25—30%—700 р. Обходится-же бумага и печать 10 листовъ около 400 р. Такимъ образомъ, если разоидется экз. 600—650 изданіе окупится. Буде получится какой-нибудь доходъ, онъ пойдетъ частью на увеличеніе объема выпусковъ, частью на пополненіе библиотекъ Пушкинскихъ семинаріевъ.

вызванные имъ, часто чрезвычайно-оживленныя, пренія. Напечатать цѣликомъ эти протоколы едва-ли представится возможность. Но извлеченія изъ нихъ будутъ даны въ слѣдующихъ выпускахъ „Пушкиниста“. По недостатку мѣста, переносится также въ слѣдующій выпускъ обзоръ занятій въ семинаріяхъ Бестужевскихъ курсовъ и Психо-Неврологическаго Института.

Вторая статья „Лѣтописи“ — „Темы, предложенныя Пушкинскимъ семинаріямъ въ 1913/1914 уч. году“ уже представляетъ интересъ общій. Онѣ могутъ сослужить нѣкоторую службу во всякомъ историко-литературномъ семинаріи. Спѣшу прибавить, что ни въ самыхъ темахъ, ни въ тѣхъ отправныхъ пунктахъ, которыя въ нихъ намѣчены, нѣтъ ничего обязательнаго. Рядомъ съ темами, предлагаемыми мною, дается широкая возможность писать на всякаго рода „вольныя“ Пушкинскія темы и разобрать какія угодно стороны біографіи и творчества Пушкина. Я своими темами и вѣхами прихожу на помощь только начинающимъ, не знающимъ на чемъ остановиться. Библіографія указана только общая. Для бібліографіи болѣе детальной участникамъ семинаріевъ предоставлена возможность пользоваться записями моего литературнаго архива. Часть этой детальной Пушкинской бібліографіи переписана на карточки и имѣется въ бібліотекахъ семинаріевъ.

Не могу безъ особаго волненія говорить о напечатанной вслѣдъ за темами „Программѣ составленія Словаря поэтического языка Пушкина“. Это только первый этапъ, но уже довольно дѣятельно осуществляемаго замысла.

Нѣтъ надобности сколько-нибудь подробно распространяться о лексическомъ, историко-литературномъ и эстетическомъ значеніи осуществленнаго словаря Пушкинскаго языка. Какой прочный базисъ получимъ мы тогда для обоснованія нашихъ сужденій о гениі Пушкина!

Въ настоящее время всѣ наши сужденія о поэтическихъ

достоинствахъ Пушкина, какъ и всякаго, вообще, поэта болѣе или менѣе висятъ въ воздухѣ, не имѣя подъ собою ни какой почвы, кромѣ интуиціи. Мы постигаемъ красоты Пушкина, какъ и всякую иную красоту врожденнымъ эстетическимъ чувствомъ. Руководитель, конечно, хорошій, потому что эстетическое постиженіе, какъ актъ исключительно эмоциональный, только путемъ интуитивнымъ и иррациональнымъ и создается.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ сколько мѣста для самой крайней субъективности, для сужденій не только совершенно произвольныхъ, но, самое важное, случайныхъ, подверженныхъ разнымъ колебаніямъ внѣ всякой связи съ остающимся неизмѣннымъ объектомъ сужденія.

Словарь языка поэта въ значительной степени устраняетъ этотъ элементъ случайности въ сужденіяхъ если не о достоинствахъ, то во всякомъ случаѣ о *свойствахъ*. Мы сейчасъ говоримъ объ образности Пушкина, о ясности его, гармоничности и т. д. Говоримъ вѣрно, конечно, но бездоказательно, говоримъ, потому что все это „чувствуется“. Имѣя въ своемъ распоряженіи всѣ слова, съ помощью которыхъ поэтъ достигаетъ очарованія мы, конечно, тоже самой тайны очарованія не постигнемъ, потому что дѣло не въ словахъ, а въ ихъ сочетаніи. Но, все-же, мы получаемъ тогда совершенно объективный матеріалъ въ помощь нашему эстетическому субъективизму.

Взять хотя-бы представленіе объ образности. Если-бы въ нашемъ распоряженіи былъ Пушкинскій словарь, и сила этой образности и свойства ея могли-бы быть установлены почти математически, подсчетомъ. Ибо что такое „образность“? Обиліе образовъ, т. е. обиліе предметовъ, изъ которыхъ образъ составляется, т. е. обиліе именъ существительныхъ. Что такое ясность образовъ? Объ этомъ мы можемъ судить и по анализу именъ существительныхъ, входящихъ въ составъ образовъ и по эпитетамъ, т. е. по анализу именъ при-

лагательныхъ, по опредѣленію того въ какой мѣрѣ эти прилагательныя конкретны или отвлечены, ясны или неопредѣлены, красочны или тусклы. Съ помощью словаря наглядно, статистически могутъ быть рѣшаемы вопросы даже о самыхъ интимныхъ переживаніяхъ поэта. Что у него первенствуетъ въ творческихъ думкахъ и волненіяхъ? Религія, любовь къ женщинѣ, природа, наслажденіе жизнью, отечество, политика? Обо всемъ этомъ надо говорить словами только опредѣленнаго разряда, и по анализу и подсчету того, часто или рѣдко тѣ или другія слова, выражающія опредѣленный кругъ понятій употреблены, мы получимъ совершенно ясный и точный отвѣтъ.

То, что сейчасъ указано, не исчерпываетъ, конечно, и сотой доли выводовъ, которые могутъ быть сдѣланы на основаніи лексического матеріала для изученія и техники творчества поэта, и его содержанія. Міросозерцаніе, идеалы, вкусы, степень образованія, составъ образованія, чисто-физическія свойства воспріятія внѣшняго міра и т. д., и т. д., и т. д.—все можно доподлинно установить съ помощью словаря. А что уже говорить о справочномъ значеніи такого словаря. Сколько бьешься, сколько времени затрачивается, и обыкновенно бесплодно, чтобы отыскать нужный стихъ Пушкина. При существованіи словаря достаточно, чтобы хотя одно слово осталось въ памяти.

Огромная важность составленія Пушкинскаго словаря уже давно была осознана. Еще лѣтъ 20 тому назадъ, мнѣ приходилось слышать отъ извѣстнаго московскаго адвоката и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкаго эстетика и замѣчательнаго знатока литературы—кн. А. И. Урусова, что по его инициативѣ въ Москвѣ образовался кружокъ для составленія Пушкинскаго словаря.

По какой программѣ онъ составлялся—мнѣ неизвѣстно, хотя, въ общемъ, сколько припоминаю, задачи были самыя элементарныя. Но какъ-бы то ни было, изъ затѣи кн. Урусова ничего не вышло.

Разъ говоришь о Пушкинскомъ словарѣ, нельзя не отмѣтить работы В. А. Водарскаго—„Матеріалы для словаря *прозаическаго* языка Пушкина“, печат. въ „Филолог. Зап.“ 1901—1903 г.г. Но помимо того, что она касается только прозы Пушкина, она ведется не столько въ формѣ словаря, сколько въ формѣ филологическаго комментарія.

Когда университетскій Пушкинскій семинарій установился окончательно, у меня сложилось убѣжденіе, что именно съ его помощью можетъ быть созданъ Пушкинскій словарь. Я всегда смотрѣлъ на университетскій семинарій не только какъ на учрежденіе спеціально-учебнаго назначенія. Мнѣ всякое собраніе студентовъ всегда представляется собраніемъ молодыхъ научныхъ силъ, которыя нетрудно направить по такому пути, идя по которому не только достигаются цѣли школьныя, цѣли первоначальнаго усвоенія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, можетъ быть что-нибудь сдѣлано и для привнесенія въ науку. Нужно только поставить работу по возможности несложно.

Такъ она и поставлена въ печатаемой здѣсь программѣ. Разработанная по возможности детально, она студента-филолога затруднить не можетъ. Единственный пунктъ, представляющій извѣстныя трудности—18-й, т. е. установленіе словъ, заимствованныхъ изъ иностранныхъ языковъ и словъ, настолько органически вошедшихъ въ русскій языкъ и въ немъ, говоря терминомъ фольклора, *бытующихъ*, что сознаніе иноземнаго ихъ происхожденія совершенно исчезло. Но возможная не удовлетворительность отвѣта на этотъ вопросъ программы всегда можетъ быть легко исправлена въ окончательной редакціи. И не нужно, собственно, говорить объ „исправленіи“: *ошибки* вѣдь тутъ не можетъ быть; можетъ быть только неполнота.

Я не вижу надобности останавливаться сейчасъ на разныхъ техническихъ подробностяхъ. На нихъ я остановлюсь въ дальнѣйшихъ выпускахъ „Пушкиниста“, когда дѣло приблизится

къ концу. Сейчасъ-же скажу о ходѣ работъ по составленію Пушкинскаго словаря въ самыхъ общихъ чертахъ.

Предложеніе приступить къ составленію словаря было принято участниками университетскаго семинарія съ большимъ воодушевленіемъ, и скоро были разобраны всѣ стихотворенія до 1824 года.

Два обстоятельства, однако, замедлили ходъ работы.

Первымъ, весьма серьезнымъ препятствіемъ явились волненія 1910—1911 учебн. года, благодаря которымъ и не всѣ участники семинарії остались жителями столицы и все, вообще, второе поступленіе въ Пушкинскій семинарій не дало такого органически-спаяннаго состава, какимъ является первое поступленіе, или, какъ мы въ шутку говоримъ въ семинарії, „пушкинисты перваго призыва“.

Вторымъ, затормозившимъ быстроту работы обстоятельствомъ была одна моя организаціонная ошибка, о которой я еще скажу въ предстоящемъ подробномъ отчетѣ. Суть ошибки въ томъ, что одновременно было поведено и собраніе сырого матеріала, того, что можно назвать словарной рудой и окончательная, сводная обработка. Это задерживало.

Несмотря, однако, и на указанныя препятствія и еще на нѣкоторыя другія, дѣло значительно подвинулось. Собрано много десятковъ тысячъ записей. Еще въ текущемъ году, благодаря отзывчивости Пушкинскаго семинарія на Бестужевскихъ курсахъ, словарная руда будетъ доведена до 1828 г.

Фамиліи лицъ, принявшихъ участіе въ составленіи словаря, будутъ своевременно сообщены. Пока считаю нужнымъ отмѣтить составъ первой редакціонной комиссіи, въ которую вошли: В. А. Красновъ, теперь оставленный при университетѣ по кафедрѣ ист. рус. литературы, М. Л. Лозинскій, нынѣ редакторъ органа поэтовъ-акмеистовъ „Гиперборей“. В. А. Сидоровъ, тоже оставленный по кафедрѣ исторіи рус. литературы и А. Г. Фоминъ, который въ 1912—13 г.г. заслужилъ столько лестныхъ отзывовъ печати своимъ дѣй-

ствительно превосходнымъ изданіемъ сочиненій Никитина. Коммиссія внесла нѣкоторыя практическія улучшенія въ мою первоначальную программу, которую я составилъ, исходя изъ чисто-теоретическихъ, лексическихъ требованій и положила начало *сводной работѣ* надъ записями.

Послѣдній отдѣлъ „Пушкиниста“ имѣетъ, собственно, частное значеніе—дать, какъ это всегда дѣлается при отчетахъ о дѣятельности научныхъ кружковъ, списокъ участниковъ. Я нѣсколько расширилъ обычныя рамки: по своей страсти къ біо-библіографическимъ датамъ ввелъ, насколько это было возможно, указанія на день и годъ рожденія, происхожденіе, мѣсто завершенія средняго образованія, годъ поступленія въ университетъ. Отмѣчены также первые научно-литературные шаги участниковъ семинарія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ приводятся библіографическія данныя о литературной дѣятельности и тѣхъ, которые вступили въ семинарій уже сложившимися писателями.

Приложивъ всѣ старанія къ тому, чтобы дать свѣдѣнія точныя и зарегистрировать всѣхъ участниковъ, я, къ сожалѣнію, знаю заранее, что нѣкоторые пропущены. Именно тѣ, которые, не нуждаясь въ зачетѣ, не записались ни у декана, ни у секретаря семинарія. Усердно прошу указать мнѣ всѣ пропуски и неточности <sup>1)</sup> Исправленія и дополненія будутъ внесены въ послѣдующіе списки.

По недостатку мѣста въ настоящемъ, и безъ того очень разросшемся первомъ выпускѣ не могъ я дать списка участниковъ Пушкинскихъ семинаріевъ Бестужевскихъ курсовъ и Психо-Неврологическаго института. Они появятся въ слѣдующемъ выпускѣ.

Печатаніе списковъ, какъ-бы сплывающее въ одно Пушкинское содружество всѣхъ участниковъ Пушкинскихъ семинаріевъ, имѣетъ еще одну цѣль, общаго значенія. Думается, что это можетъ содѣйствовать основанію особаго

---

<sup>1)</sup> По адресу: С.-Петербургъ, Загородный, 21.

общества изученія Пушкина, потребность въ которомъ давно чувствуется и о созданіи котораго нѣсколько разъ поднимались разговоры въ университетскомъ семинаріи. Были уже даже сдѣланы кое-какіе практическіе шаги и получено согласіе многихъ историковъ литературы вступить въ число членовъ проэктируемаго общества. Окончательно, однако, ничего не вырѣшено. И только теперь, когда, благодаря составленію списковъ участниковъ семинаріевъ, можно кое-что предпринять для того, чтобы сразу набралось достаточное для будущаго общества количество членовъ, дѣло созданія его приметъ реальныя формы.

Въ ближайшемъ послѣ выхода I вып. „Пушкиниста“ времени предполагается созвать учредительное собраніе для составленія устава „Общества изученія Пушкина и его эпохи“.

Пора, давно пора создать такое общество. Аполлонъ Григорьевъ, со свойственно ему экспансивностью, когда-то сказалъ: „Пушкинъ—это наше все“. Теперь такъ не скажешь. Разъ „наше все“, то безъ Толстого и Достоевскаго, возведшихъ русскую литературу въ рангъ общепризнанныхъ великихъ литературныхъ державъ, никакъ не обойдешься. Но и въ сосѣдствѣ съ этими гигантами, получившими міровое признаніе, Пушкинъ, такого мірового признанія не получившій, вплоть до нашихъ дней не перестаетъ быть удивительнѣйшимъ проявленіемъ литературнаго генія. И можетъ быть одною изъ главныхъ задачъ будущаго Общества должно стать стремленіе показать, что Пушкинъ писатель значенія всемірнаго. Въ этомъ не всѣ еще убѣждены. Преобладающее мнѣніе такое, что Пушкинъ только великій русскій писатель и въ міровую литературу не входитъ. Есть даже мнѣніе, что и для Россіи Пушкинъ устарѣлъ.

Для насъ Державинимъ сталъ Пушкинъ, недавно провозгласилъ одинъ изъ наиновѣйшихъ поэтовъ,—Игорь-Съверянинъ, о чемъ, можетъ быть, и упоминать не слѣдовало-бы, еслибы молодой поэтъ не былъ человѣкъ съ талантомъ.

Но неправда это, не устарѣлъ и вѣчно юнъ Пушкинъ. Здѣсь уже говорилось о томъ, сколько современности въ „Цыганахъ“.

А „Пиръ во время чумы“?

Есть упоеніе въ бою  
*И бездны мрачной на краю,*  
И въ разъяренномъ океанѣ  
Средь грозныхъ волнъ и бурной тьмы,  
И въ аравійскомъ ураганѣ,  
*И въ дуновеніи чумы!*  
*Все, все, что шибелю фрозить,*  
*Для сердца смертнаго таитъ*  
*Неизъяснимы наслажденья —*  
Безсмертья, можетъ быть, залогъ!

Да вѣдь это самоновѣйшій трепетъ послѣднихъ литературныхъ десятилѣтій. Тутъ и Достоевскій, съ его сладострастнымъ интересомъ къ безднамъ, тутъ и вся изысканность модернизма, съ его погоней за остротою ощущеній, съ его воспѣваніемъ сочетанія любви и смерти, высшей вспышки полноты жизни и ея прекращенія, но только съ проникновеннымъ гармоническимъ аккордомъ, котораго нѣтъ въ издерганной психологіи модернизма. Въ одномъ изъ послѣднихъ засѣданій университетскаго семинарія, въ докладѣ, посвященномъ конфликту личности и государства (тоже не очень устарѣвшая тема) въ „Мѣдномъ Всадникѣ“ и „Галубѣ“, былъ, между прочимъ, отмѣченъ и другой конфликтъ, изображенный въ „Странникѣ“. Почитайте эту забытую теперь передѣлку изъ Буньяна—вы тамъ найдете всю трагедію Толстого, съ его страхомъ смерти, съ его поисками „тѣсныхъ вратъ спасенія“ и съ потрясающимъ финаломъ его жизни.

По разнообразію темъ, эпохъ „племень, нарѣчій, состояній“ Пушкинъ явленіе единственное. Это самый всеобъемлющій, самый универсальный русскій писатель, котораго нельзя охарактеризовать двумя, тремя основными сюжетами и настрое-

ніями, какъ можно охарактеризовать даже такого титана, какъ Лермонтовъ. Когда Полонскій захотѣлъ написать стихотвореніе—характеристику Пушкина, получился длинный свитокъ, гдѣ каждая строчка открываетъ новую сторону генія поражающе-многограннаго поэта. Конечно, „Пушкинъ — это возрожденіе Русской музыки“. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ „Эллиновъ стремленіе къ красотѣ“. Пушкинъ „голосъ Немезиды“, Пушкинъ „дѣвы Эмениды окровавленный кинжалъ“. И его-же поэзія „арфа серафима, въ часъ, когда душа палима жаждой вѣры въ небеса“. Пушкинъ „старой няни сказка“, Пушкинъ „молодости ласка“. Всюду онъ свой:

Свой въ столицахъ, на пирушкѣ,  
Въ саклѣ, въ таборѣ, въ лачужкѣ,  
Пушкинъ чуткою душой  
Слышитъ друга голосъ дальній—  
Пѣсню Грузіи печальной,  
Бредъ цыганки кочевой...

Близка ему природа, хотя, какъ мы знаемъ, и подчиняетъ онъ ее обаянію человѣческой личности:

Слышитъ рокоть заунывный  
Океана въ бурной мглѣ,  
Видитъ небо безъ лазури  
И—что краше волнь и бури,—  
Видитъ дѣву на скалѣ.

Пушкинъ, конечно, первый народникъ русской литературы, какъ ни подходитъ къ понятію о „народности“: и съ точки зрѣнія демократической, и съ точки зрѣнія археологической:

Знаетъ горе намъ родное,  
И разгулье удалое,  
И сердечную тоску...  
Но не падаетъ усталый  
И, какъ путникъ запоздалый,  
Самъ стучится къ мужику.

Ничего не презирая,  
Въ дымныхъ избахъ изучая  
Духъ и складъ родной страны,  
Чуя русской жизни трепеть,  
Пушкинъ—правды первый лепеть,  
Первый проблескъ старины.  
Убѣжденный государственникъ, Пушкинъ.

. . . эхо славы

Отъ Кавказа до Варшавы,  
Отъ Невы до всѣхъ морей.

Но онъ-же

. . . сѣятель пустынный  
Другъ свободы.

И глубоко-вѣрны заключительныя слова апофеоза-  
характеристики: Пушкинъ

Это гений, все любившій,  
Все въ самомъ себѣ вмѣстившій—  
Сѣверъ, Западъ и Востокъ.

. . . . .

Поэтическій Мессія  
На Руси онъ, какъ Россія  
Всеобъемлющъ и великъ.

**С. Венгеровъ.**

15 Марта 1914.

## Къ вопросу о вліяніи Шатобріана на Пушкина.

*(Рефератъ, читанный въ Пушкинскомъ семинаріи Спб. Университета, 11 и 18 февраля 1910 г.).*

Литература объ отношеніи Пушкина къ иностраннымъ поэтамъ чрезвычайно богата. Она пестритъ именами какъ корифеевъ, такъ и менѣе значительныхъ писателей: наряду съ именами Вольтера, Руссо, Байрона, Гёте, Шекспира, вы встрѣтите имена Беньяна, Стерна, Соути, Кольриджа, Вордсворта, Мура, Бари Корнуэля, Вильсона, Бульвера и многихъ другихъ. Все это говоритъ о чрезвычайной отзывчивости Пушкина ко всѣмъ литературнымъ направленіямъ Запада. Списокъ этихъ именъ съ каждымъ годомъ все увеличивается, и не видно конца все новымъ и новымъ сближеніямъ. Сравнительно недавно въ ряду писателей, оказавшихъ свою долю вліянія на Пушкина, стали отводить видное мѣсто Шатобріану. Первая попытка дать научное разрѣшеніе этого вопроса принадлежитъ В. В. Сиповскому. Самый-же вопросъ, кажется, впервые поставленъ еще Погодинымъ въ 1827 г. въ предисловіи къ переводу „Ренэ“ Шатобріана <sup>1)</sup>). Говоря о Шатобріанѣ, онъ обращаетъ вниманіе читателей на характеръ Ренэ: „Сей характеръ изображается многими великими писателями (каждымъ по своему)“, говоритъ онъ, „и

---

<sup>1)</sup> „Моск. Вѣстникъ“, т. V, стр. 10.

напрасно думаютъ нѣкоторые находятъ у нихъ изображеніе другъ друга. Не говоря о Руссо, разительно представившемъ сей характеръ въ природѣ, укажу, кромѣ Шатобріана, на соч. Гёте (Фаустъ, Вильг. Мейстеръ), Байрона (почти во всѣхъ своихъ поэмахъ) и Пушкина (Кавказскій Плѣнникъ, Алеко)“. Такимъ образомъ, уже Погодинъ рѣшаетъ вопросъ въ пользу самостоятельности Пушкина, но безъ дальнѣйшихъ доказательствъ. Затронуль интересующій насъ вопросъ и проф. Н. И. Стороженко (въ 1880 г.) въ своей рѣчи въ честь Пушкина, гдѣ онъ, говоря о „Кавказскомъ Плѣнникѣ“, замѣчаетъ: „Неизвѣстно, сколько въ этомъ типѣ лично пережитаго и сколько нужно отнести на счетъ литературныхъ источниковъ Пушкина — темъ Байрона, Ренэ Шатобріана“ <sup>1)</sup>. Если такой опытный изслѣдователь, какъ проф. Стороженко, обходитъ этотъ вопросъ съ ученой осторожностью, то это даетъ основаніе предполагать, что вопросъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, для рѣшенія которыхъ мы не обладаемъ достаточными данными. Несмотря на это, В. В. Чуйко въ предисловіи къ переводу Ренэ (Н. П. Чуйко) Шатобріана въ 1894 г. высказывается довольно опредѣленно: „Вліяніе Шатобріана на Пушкина не было непосредственно; признавая заслуги и значеніе Шатобріана, онъ, тѣмъ не менѣе, въ значительно большей степени находился подъ вліяніемъ Байрона. Но если внимательно анализировать его раннія произведенія: „Кавказскій Плѣнникъ“, „Бахчисарайскій Фонтанъ“ и въ особенности „Цыгане“,—то нельзя будетъ не замѣтить и вліянія Шатобріана: герой „Цыганъ“ это—тотъ-же Ренэ, перенесенный въ другую обстановку и въ другую среду“ <sup>2)</sup>.

Хотя В. В. Чуйко и сознаетъ необходимость внимательнаго анализа раннихъ произведеній Пушкина, но самъ его не дѣ-

---

<sup>1)</sup> Сборн. „Вѣнокъ“, стр. 221.

<sup>2)</sup> Переводъ „Ренэ“, изд. „Моей библіотеки“, № 94, стр. XI, предисловіе.

лаеть, чего и нельзя требовать въ предисловіи къ популярному переводу, но можно бы пожелать не дѣлать въ такомъ случаѣ столь категорическаго вывода.

Первымъ съ научной стороны, какъ мы уже говорили, подошелъ къ этому вопросу В. В. Сиповскій въ своей работѣ: „Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ“, появившейся въ „Русской Старинѣ“, 1899 г., № 5—6 (и отдѣльнымъ оттискомъ) и вошедшей въ его книгу „Пушкинъ. Жизнь и Творчество“ (С.-Пб. 1907). Анализируя характеры героевъ „Кавказскаго Плѣнника“ и „Цыганъ“, авторъ находитъ рядъ совпаденій съ произведеніями Шатобріана „Ренэ“, „Атала“ и отмѣчаетъ параллельное развитіе интриги въ повѣсти „Атала“ и въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ“. Оставляя пока въ сторонѣ наши расхожденія съ авторомъ, мы позволимъ себѣ сдѣлать общее замѣчаніе, касающееся этой работы въ цѣломъ.

Намъ кажется, что авторъ, благодаря желанію выдвинуть вліяніе Шатобріана *въ противовѣсъ* вліянію Байрона, значеніе котораго онъ старается уменьшить, дѣлаетъ рядъ методологическихъ ошибокъ. Этого, вѣроятно, не было-бы, если-бы авторъ задался цѣлью установить вліяніе Шатобріана независимо отъ того или иного рѣшенія вопроса о вліяніи Байрона. Оставляя пока наше утвержденіе голословнымъ, мы надѣемся, что намъ удастся его подтвердить въ дальнѣйшемъ изложеніи.

Послѣ работы В. В. Сиповскаго имя Шатобріана вошло въ перечень авторовъ, имѣвшихъ вліяніе на Пушкина, и даже проникло въ учебники.

Въ ученой литературѣ отозвались на затронутый вопросъ такіе крупные изслѣдователи, какъ Н. П. Дашкевичъ, Алексѣй Н. Веселовскій и Н. А. Котляревскій.

Н. П. Дашкевичъ въ своей цѣнной работѣ: „Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ новаго времени“ ставитъ Пушкина въ историческія рамки, отводя Ренэ Шатобріана скромное мѣсто въ ряду другихъ героевъ „міровой скорби“, какъ Вер-

теръ, Адольфъ, Чайльдъ-Гарольдъ и др. герои Байрона. Большую долю вліянія авторъ приписываетъ Руссо, какъ родоначальнику всѣхъ послѣдующихъ скорбниковъ. Особенно цѣнно въ этой работѣ то, что Н. П. Дашкевичъ не упускаетъ изъ виду почвы, на которой могла совершенно самостоятельно развиться скорбь, подобная скорби Ренэ, и указываетъ на сходство историческаго и соціальнаго момента, которое могло обусловить совпаденіе литературныхъ отраженій послѣдняго. Н. П. Дашкевичъ говоритъ, что „герои разочарованія, изображенные въ поэмахъ Пушкина, — лишь отчасти литературные потомки Руссо и Гётевскаго Вертера, Шатобріанова Ренэ и другихъ романтическихъ личностей Запада. Въ большей степени они—носители душевныхъ страданій и думъ нашего поэта и его сверстниковъ“<sup>1)</sup>.

Алексѣй Н. Веселовскій, считая меланхолію, которою проникнуть рядъ лирическихъ стихотвореній Пушкина, искреннимъ выраженіемъ неудовлетворенныхъ юношескихъ стремленій, находитъ, что знакомство съ Шатобріаномъ помогло выйти Пушкину изъ круга личныхъ невзгодъ и неудовлетворенныхъ стремленій на просторъ общечеловѣческихъ сочувствій, научило его отгадать разлитыя во всемъ мірѣ страданія. Заслуга В. В. Сиповскаго заключается въ томъ, что онъ установилъ „тотъ фактъ, что до байронизма у Пушкина была подготовительная, переходная стадія, что, потрясенный несправедливостью расправы, негодующій опальный, съ разбитыми надеждами и погубленной молодостью, нашель отзвукъ своихъ чувствъ и мыслей въ поэтическомъ возвеличеніи разрыва съ обществомъ, бѣгства въ природу, къ народамъ первобытнымъ и свободнымъ, признаній даровитаго, но лишняго человѣка“<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> „Памяти Пушкина“, научно-литературный сборникъ, составленный профессорами Имп. Университета св. Владимира, стр. 165.

<sup>2)</sup> Алексѣй Н. Веселовскій. „А. С. Пушкинъ и европейская поэзія“. Сборн. „Памяти Пушкина“, изд. ред. журнала „Жизнь“, стр. 113—114.

Н. А. Котляревскій, касаясь вопроса о вліяніи Байрона на поэзію Пушкина, попутно затрагиваетъ и „шатобріановскій“ вопросъ. Увлечение Пушкина Парни, Байрономъ, Руссо и Шатобріаномъ безспорно, но, по мнѣнію Н. А. Котляревскаго, приходится „отказаться отъ мысли опредѣлить точно степень ихъ вліянія на него“. О вліяніи одного писателя на творчество другого можетъ быть рѣчь только при „длительной зависимости“ художественной формы и поэтического міросозерцанія отъ образца. Такой зависимости у Пушкина не было; единственное, что не подлежитъ сомнѣнію въ этомъ вопросѣ,—это утвержденіе, „что поэзія Байрона и поэзія Шатобріана дали Пушкину, какъ художнику, почувствовать, какой богатѣйшій родникъ красоты заключенъ въ этой романтической тревогѣ души человѣческой“<sup>1)</sup>.

Въ такомъ положеніи находится интересующій насъ вопросъ въ исторіи литературы въ настоящее время.

Выяснена-ли въ достаточной мѣрѣ степень вліянія Шатобріана на творчество Пушкина? Доказана-ли вообще состоятельность такого предположенія? Вдумываясь въ эти вопросы, мы приходимъ къ убѣжденію, что ни работа В. В. Сиповскаго, ни работа Н. П. Дашкевича не даютъ исчерпывающаго рѣшенія вопроса.

Стараясь дать себѣ посильные отвѣты на возникшія недоумѣнія, мы натолкнулись на общій вопросъ методологическаго характера, безъ того или иного разрѣшенія котораго намъ представляется невысказаннымъ разрѣшеніе послѣднихъ. Вопросъ этотъ заключается въ томъ, какимъ вообще путемъ слѣдуетъ идти изслѣдователю при опредѣленіи вліянія (въ широкомъ смыслѣ) одного писателя на другого. Это вопросъ чрезвычайно существенный въ исторіи литературы, въ частности,—особенно важный для исторіи русской литературы, гдѣ съ нимъ приходится сталкиваться буквально на каждомъ шагу.

---

<sup>1)</sup> Н. Котляревскій. „Литературныя направленія Александровской эпохи“. 2-е изд., стр. 186—187.

Посильное разрѣшеніе этого вопроса составитъ нашу ближайшую задачу.

Положимъ, у насъ при чтеніи того или иного писателя возникаетъ чувство сходства, даже больше, — чувство совпаденія съ другимъ знакомымъ авторомъ. Невольно возникаетъ догадка о возможности не случайнаго совпаденія въ творчествѣ, а подъ вліяніемъ непосредственнаго или посредственнаго знакомства съ творчествомъ послѣдняго. Но возможно, что несостоятельность нашей догадки сразу обнаружится путемъ противорѣчія дѣйствительности; я имѣю въ виду такіе случаи, какъ фактическая невозможность знакомства съ твореніями писателя, вліяніе котораго предполагается, будь то по незнацію языка и отсутствію переводовъ или подъ вліяніемъ другихъ причинъ (такъ, напр., доказавъ, что Пушкинъ изучилъ англійскій языкъ только въ Гурзуфѣ, а до этого онъ не могъ имѣть въ рукахъ французскаго перевода, мы принуждены отбросить возможность непосредственнаго вліянія Байрона на Пушкина до этого времени). Другими словами, этотъ путь есть не что иное, какъ переходъ отъ догадки къ установленію реальной гипотезы путемъ доказательства непротиворѣчія дѣйствительности первой.

Доказавъ возможность постановки самага вопроса о вліяніи, мы переходимъ къ самой трудной задачѣ, — къ оправданію нашей гипотезы. Путь, которымъ здѣсь можно идти, намъ представляется двоякимъ: 1) путь *аналитическій*, 2) путь *генетическій*.

Первый — заключается въ слѣдующемъ: исходя изъ гипотезы о вліяніи одного или ряда конкретныхъ произведеній на сюжетъ и характеръ творчества въ изслѣдуемомъ произведеніи, (напр., „Orlando Furioso“ на „Руслана и Людмилу“), мы путемъ тщательнаго анализа какъ общаго характера всего произведенія, такъ и сопоставленіемъ отдѣльныхъ мѣстъ можемъ доказать правильность нашего предположенія. Но на этомъ пути легко упустить историческую и соціальную почву,

которой развивалась дѣятельность писателя, которая могла самостоятельно обусловить многія черты въ творествѣ, независимо отъ того или иного вліянія. Другая ошибка можетъ произойти отъ того, что, взявъ писателя, вліяніе котораго мы предполагаемъ, внѣ той литературной эволюціи, которая обусловила частью его литературную фізіономію, мы можемъ приписать его вліянію то, что не составляетъ его индивидуальной особенности и могло возникнуть подъ вліяніемъ либо цѣлой литературной школы, либо его предшественниковъ.

Второй путь — путь генетическій — состоитъ въ томъ, что мы слѣдимъ за развитіемъ той черты въ творествѣ писателя, оказавшаго свое вліяніе на интересующаго насъ автора, которая, по нашей гипотезѣ, отразилась на творествѣ послѣдняго. Такимъ образомъ, наша задача будетъ заключаться въ опредѣленіи причинъ соціальныхъ, политическихъ и индивидуальныхъ, принимая во вниманіе и вліяніе тѣхъ или иныхъ литературныхъ формъ, подъ вліяніемъ которыхъ созданъ характеръ творчества писателя. Ту-же работу придется продѣлать и по отношенію къ изучаемому нами писателю, сосредоточивая свое вниманіе на интересующемъ насъ моментѣ и характерѣ творчества. Въ итогъ первой части нашей работы долженъ получиться остатокъ, который мы будемъ имѣть право отнести исключительно на долю индивидуальной особенности писателя, оказавшаго по нашей гипотезѣ вліяніе. Вѣдь, дѣйствительно, опредѣливъ мѣсто писателя въ ряду его соотечественниковъ, приведя его въ связь съ извѣстной литературной школой и опредѣливъ его мѣсто въ послѣдней, мы тѣмъ самымъ выдѣляемъ характерныя черты въ его творествѣ, опредѣляемъ его индивидуальную фізіономію. Въ итогъ второй части, при изученіи объекта изслѣдованія, передъ нами будетъ постепенно развиваться его творчество, — въ частности интересующая насъ особенность, мы увидимъ, что придется отнести на долю

органическаго развитія подъ вліяніемъ соціальныхъ и политическихъ условій, чѣмъ явилось результатомъ личныхъ переживаній.

Это дастъ намъ возможность отвѣтить на вопросъ: не могло-ли творчество подъ вліяніемъ однихъ этихъ условій принять такой характеръ, который, быть можетъ, только по совпаденію этихъ условій съ условіями развитія перваго совпалъ по своимъ результатамъ; и не могутъ ли различія въ творествѣ быть объяснены различіемъ индивидуальныхъ особенностей. Эта-же работа даетъ намъ возможность опредѣлить яснѣе и степень вліянія и его характеръ, если первое предположеніе окажется несостоятельнымъ. Такимъ образомъ ошибки, возникающія при слѣдованіи по пути аналитическому, не имѣютъ мѣста при пути генетическомъ.

В. В. Сиповскій идетъ въ своей работѣ путемъ аналитическимъ, и этимъ, думается намъ, обусловленъ рядъ произвольныхъ выводовъ, къ которымъ онъ приходитъ. В. В. Сиповскій, исходя изъ того, что Пушкинъ прекрасно зналъ Шатобріана, какъ вообще онъ отлично зналъ французскую литературу своего времени и указывая на возможность вліянія эмигрантовъ-аристократовъ, которые могли занести элементы разочарованія въ шатобріановскомъ духѣ, приходитъ къ предположенію, что: „Шатобріанъ подсказывалъ Пушкину „разочарованіе“ и „тоску“ въ тѣхъ раннихъ произведеніяхъ, которыя написаны до знакомства нашего поэта съ Байрономъ“<sup>1)</sup>. Нѣсколько строкъ выше онъ говоритъ: „Если на первыхъ порахъ Пушкина увлекла легкая, игривая поэзія Парни и К<sup>о</sup>, поэтовъ безмятежнаго наслажденія, — то стоило измѣниться обстоятельствамъ въ жизни Пушкина, чтобы въ сердцѣ его отозвались мотивы другой французской музыки—мотивы „разочарованія“, „міровой скорби“<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> В. В. Сиповскій. „Пушкинъ. Жизнь и творчество“, стр. 512—513.

<sup>2)</sup> *Ib.*, стр. 512.

Но спрашивается, почему-же эта другая „французская музыка“ должна непременно исходить от Шатобриана? Вѣдь это надо доказать. Существуетъ рядъ не менѣе правдоподобныхъ мнѣній: Н. П. Дашкевичъ склоненъ эти элементы объяснять вліяніемъ Вольтера и Руссо, Спасовичъ приписываетъ ихъ Вольтеру. А можетъ быть, здѣсь не надо искать никакого вліянія, а эти элементы юношеской грусти, еще далекой отъ міровой скорби, мотивы которой здѣсь видитъ В. В. Сиповскій, объяснимы личными переживаніями? Весьма основательно Алексѣй Н. Веселовскій видитъ отправную точку этой тоски „въ тѣхъ налетахъ грусти, которые внезапно омрачаютъ еще въ лицейскіе годы поэзію, съ виду посвященную лишь культу наслажденія и веселости, тѣ скорбные обзоры увядшей юности (совѣмъ въ духѣ Ленсага, безъ малаго въ 16 лѣтъ), ожиданія смерти, надежды „умереть моля“, меланхолическіе образы „пѣвца любви, пѣвца своей печали“, которые сбережены „Посланиемъ къ Горчакову“, стихотвореніемъ „Желаніе“, „Пѣвецъ“, двумя элегіями 1816 года и т. д. Они, должно быть, искреннѣе и душевнѣе передаютъ настроеніе молодого стихотворца, чѣмъ чисто головное, разсудочное эпикурейство, въ дѣйствительности обставленное довольно „будничной рамкой“: „этого раздумья, этой тоски, на дѣлѣ выстраданной, нельзя было вычитать ни у кого: никто не могъ „подсказать“ ее Пушкину, какъ полагаютъ два новѣйшихъ его комментатора, ища этихъ вдохновеній то въ Вольтерѣ, то въ Шатобрианѣ“<sup>2)</sup>. Итакъ, мнѣніе В. В. Сиповскаго о вліяніи Шатобриана въ періодъ до 1820 г. представляется, по меньшей мѣрѣ, недоказаннымъ.

Далѣе, перейдя къ поэмамъ Пушкина, В. В. Сиповскій дѣлаетъ такую оговорку: „Если мы отбросимъ совершенно чуждую Пушкину тенденціозно-религіозную окраску, прису-

---

<sup>2)</sup> Алексѣй Веселовскій. „А. С. Пушкинъ и европейская поэзія“. Сборникъ ред. „Жизнь“, стр. 113.

щую произведеніямъ Шатобріана, мы увидимъ полное тожество въ типическихъ чертахъ героевъ обоихъ писателей и даже большую близость въ ходѣ самой интриги<sup>1)</sup>. Оставимъ пока въ сторонѣ вопросъ о тожествѣ героевъ и спросимъ себя: какъ намъ быть, если *„тенденціозно-религіозная окраска“* окажется самой характерной чертой въ творествѣ Шатобріана, а всѣ прочіе элементы имѣлись на лицо уже и до него. Вѣдь нельзя-же забывать, что герои Шатобріана — потомки С.-Пре, Вертера и другихъ скорбниковъ.

Вѣдь Пушкинъ всѣ эти элементы могъ заимствовать изъ первоисточника. Н. П. Дашкевичъ, слѣдя за эволюціей міровой скорби, приходитъ къ выводу, что „Шатобріанъ отчасти возобновилъ во Франціи начинанія Руссо и Бернардена де Сень-Пьера, прибавивъ отъ себя порывы лояльности и христіанскаго чувства“<sup>2)</sup>. Итакъ, какъ разъ самой характерной черты Шатобріана нѣтъ въ творествѣ Пушкина; это должно было-бы заставить В. В. Сиповскаго обратить большее вниманіе на различіе въ характерѣ творчества обоихъ писателей.

Что-же касается „тожества въ типическихъ чертахъ героевъ“ Пушкина и Шатобріана, то доводы В. В. Сиповскаго намъ кажутся мало убѣдительными. Авторъ говоритъ, что герой „Кавказскаго Плѣнника“ очень близокъ къ Ренэ и по характеру, и по его судьбѣ... Онъ, какъ и Ренэ, покидаетъ цивилизованный міръ и, гоняясь за какимъ-то „призракомъ свободы“, является на Кавказѣ—единственное мѣсто въ Россіи гдѣ можно было встрѣтить романтическую обстановку<sup>3)</sup>. Вѣдь бѣгство на лоно природы отъ язвъ цивилизаціи становится общимъ мѣстомъ въ литературѣ со времени Руссо и

---

<sup>1)</sup> В. Сиповскій. „Пушкинъ. Жизнь и творчество“, стр. 514. Въ другомъ мѣстѣ г. Сиповскій выражается еще опредѣленнѣе. „Герой поэмы „Кавказскій Плѣнникъ“ — полное повтореніе Ренэ“, *ib.*, стр. 166 — 167.

<sup>2)</sup> Н. Дашкевичъ. „Пушкинъ въ ряду поэтовъ новаго времени“. Сборн. Кіевскаго Унив. „Памяти Пушкина“, стр. 229.

<sup>3)</sup> Сиповскій, *op. cit.*, 516.

скорѣ могло возникнуть подѣ вліяніемъ его мощныхъ филиппикъ противъ цивилизаціи и его любви къ дѣвственной природѣ.

Погоня „за призракомъ свободы“, совершенно не характерная для Шатобріана, могла возникнуть подѣ воздействием мощнаго генія Байрона, какъ и свободолюбиваго Андре Шенье, къ которому Пушкинъ всегда относился съ сочувствіемъ. Не говоря уже о томъ, что разительное совпаденіе мотивовъ „Кавказскаго Плѣнника“ съ лирическими произведениями того-же времени („Погасло дневное свѣтило“ и др.) говоритъ въ пользу мнѣнія, что „Кавказскій Плѣнникъ“ явился въ значительной мѣрѣ лишь образнымъ выраженіемъ душевныхъ переживаній самого поэта <sup>1)</sup>.

Точки прикосновенія между Алеко и Ренэ, отмѣчаемыя авторомъ, вращаются въ плоскости, которыми изобиловала сентиментально-романтическая школа. Героини Шатобріана, по словамъ графа Де-ла-Барта, посвятившаго изслѣдованію о Шатобріанѣ обстоятельный трудъ, — „внучки Элоизъ, Климентинъ и Клариссъ, сестры „чувствительныхъ“ героинь романовъ г-жи Флао, г-жи Коттэнъ, г-жи Жанлиссъ и др. Онѣ „страдательны“, обречены на „томленіе“ и сердечныя терзанія <sup>2)</sup>. Если сентиментальное изображеніе женщинъ положило свой отпечатокъ и на образъ Татьяны, прославляемой обыкновенно, какъ идеаль русскою дѣвушкой, то отраженіе этихъ чертъ можно видѣть и въ обрисовкѣ Черкешенки; но нельзя относить эти общія черты сентиментально-романтиче-

---

<sup>1)</sup> „Можно-бы подыскать ко многимъ, важнѣйшимъ по выраженію основной мысли стихамъ „Кавказскаго Плѣнника“ соотвѣтственные мѣста въ предшествовавшей лирикѣ Пушкина, между прочимъ — уже лицейскаго періода, и изъ этого ясно, насколько скорбь, характеризующая плѣнника, была выношена въ душѣ его поэта. Послѣ того внѣшнія сходства съ произведениями иностранныхъ литературъ, какія можно открыть въ нѣкоторыхъ подробностяхъ повѣствованія и обрисовки героя поэмы, не имѣютъ первостепеннаго значенія для уясненія ея генезиса“ (Дашкевичъ, *op. cit.*, 82).

<sup>2)</sup> Де-ла-Бартъ. „Шатобріанъ и поэтика міровой скорби во Франціи нач. XIX ст.“, стр. 302.

скихъ героинь на долю вліянія героинь Шатобріана, которыя, при болѣе тщательномъ анализѣ, во многомъ отличаются отъ героинь Пушкина. Укажу хотя-бы на то, что отличительной чертой Атала является борьба между страстью и угрызеніями совѣсти, въ то время, какъ Черкешенка не переживаетъ ничего подобнаго, не говоря уже о тенденціи, заложенной здѣсь, которую В. В. Сиповскій такъ незаконно устраняетъ. В. В. Сиповскій находитъ сходство въ самомъ художественномъ замыслѣ „Цыганъ“ и „Ренэ“; въ томъ, что и Пушкинъ, и Шатобріанъ сознательно развѣнчиваютъ своихъ героевъ, называя ихъ за пустоту души <sup>1)</sup>. Но это „развѣнчиваніе“ истекаетъ изъ совершенно различныхъ источниковъ. У Пушкина оно художественно вѣрно, оно является результатомъ его гуманно-объективнаго творчества; у Шатобріана оно результатъ тенденціознаго желанія возвеличить христіанство, показать его силу въ борьбѣ со страстями. При этомъ чувствуется нарушеніе художественнаго замысла, чувствуется, что писатель въ глубинѣ души гордится своимъ героемъ и оправдываетъ его.

Переходя къ вопросу о сходствѣ сюжетовъ, В. В. Сиповскій приходитъ къ заключенію, что Шатобріанъ далъ Пушкину интригу для обѣихъ поэмъ. Такъ, говоря о „Кавказскомъ Плѣнникѣ“, авторъ отмѣчаетъ, что „интрига развивается совершенно параллельно съ той, которая положена въ основу повѣсти „Атала“. Герой въ плѣну, онъ закованъ и не можетъ спастись бѣгствомъ... Въ него влюбляется дикарка, освобождаетъ его, *но онъ, какъ Ренэ, остается холоденъ къ любви дѣвушки и открываетъ ей, что сердце его занято*. Развязка также довольно схожа въ обоихъ произведеніяхъ: герои остаются въ живыхъ, героини погибаютъ“ <sup>2)</sup>. Здѣсь я прину-

---

<sup>1)</sup> Замѣчу кстати, что въ этомъ мѣстѣ В. В. Сиповскій ошибочно приписываетъ Шахтасу отвѣдъ Ренэ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ эту отвѣдъ произноситъ отецъ Суэль (Сиповскій. „Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ“, стр. 31).

<sup>2)</sup> Сиповскій. „Пушкинъ. Жизнь и творчество“, стр. 516.

ждень изложить кратко сюжетъ „Атала“, чтобы выяснить вкравшуюся неточность въ изложеніе В. В. Сиповскаго. Дѣйствительно: герой въ плѣну, онъ закованъ и не можетъ спастись бѣгствомъ... Въ него влюбляется дикарка, освобождаетъ его. Но дальше интрига идетъ совершенно инымъ путемъ: *герой влюбляется въ свою освободительницу, молитъ ее бѣжать съ нимъ, но она, подъ вліяніемъ сложнаго чувства борьбы любви съ христіанскимъ доломъ, отказывается. Но когда ей приходится выбирать между смертью любимаго человека и доломъ, она бѣжитъ съ нимъ.* Развязка кончается, правда, смертью героини, но не подъ вліяніемъ холодности любимаго человека, какъ въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ“, а подъ вліяніемъ безсилія бороться съ нахлынувшей страстью, благодаря чему она предпочла смерть нарушенію обѣта дѣвственности, даннаго матери. Въ результатѣ этого сравненія намъ хотѣлось-бы уяснить себѣ, какимъ образомъ въ содержаніе повѣсти „Атала“, въ изложеніи В. В. Сиповскаго, вошло слѣдующее мѣсто: „но онъ (Кавказскій Плѣнникъ), какъ Ренэ, остается холоденъ къ любви дѣвушки и открываетъ ей, что сердце его занято...“<sup>1)</sup> Вѣдь, въ дѣйствительности, какъ мы видѣли, имѣетъ мѣсто какъ разъ противоположное. Почему выше авторъ вполне вѣрно излагаетъ то-же содержаніе, говоря, что „Атала, влюбленная въ „плѣнника“, появляется къ нему ночью и съ тѣхъ поръ постоянно ходитъ тайкомъ къ юношѣ и ведетъ съ нимъ долгія бесѣды о любви... Потомъ она освобождаетъ юнаго плѣнника и умираетъ въ борьбѣ со своею любовью, умираетъ просвѣтленная, самоотверженная...“<sup>2)</sup> Разгадку этому даетъ намъ самъ авторъ въ слѣдующемъ мѣстѣ своей работы. Сравнивая характеры Ренэ и Кавказскаго Плѣнника, онъ говоритъ: „Ренэ бѣжитъ къ дикарямъ, но тоска, грусть слѣдуютъ за нимъ по пятамъ; его охла-

---

1) В. В. Сиповскій. *Op. cit.*, стр. 516.

2) *Op. cit.*, стр. 515.

жденное сердце недолго наслаждалось радостями бытія вдали отъ суеты мірской,—*теплая, самоотверженная, трогательная любовь дикарки Селуты не вытѣсняетъ изъ его сердца думъ о той женщинѣ, которая осталась на его родинѣ* <sup>1)</sup>... Отсюда видно, что дѣло идетъ вовсе не объ Атала, героинѣ повѣсти того-же названія, а о Селутѣ, героинѣ романа-эпопеи „Натчезы“. Ниже авторъ самъ подтверждаетъ это: „Селута, говоритъ онъ, отдавшая всю жизнь свою Ренэ, въ награду за это услышала отъ него признанье, что сердце его занято думой о другой женщинѣ; она ведетъ несчастную жизнь и, наконецъ, потерявъ дорогого человѣка, которому она принесла столько жертвъ, бросается въ рѣку... <sup>2)</sup>).

Такимъ образомъ ясно, что В. В. Сиповскій *соединилъ въ одно сюжетъ двухъ различныхъ произведеній* и такъ, что получилась дѣйствительно „совершенная параллельность“ интриги: начало и конецъ взяты изъ повѣсти „Атала“, середина — изъ романа „Натчезы“. Правда, намъ могутъ возразить, что Пушкинъ могъ сознательно или безсознательно заимствовать интригу именно въ такомъ видѣ, — вѣдь важно, что она заимствована именно у Шатобріана. Пусть такъ, но тогда уже нельзя говорить о „совершенной параллельности“ въ развитіи интриги. Но дѣло осложняется еще однимъ обстоятельствомъ: *Пушкинъ не могъ знать содержанія романа „Натчезы“ въ періодъ написанія „Кавказскаго Пльнника“*, хотя „Натчезы“ и написаны между 1794 и 1798 г. (по изслѣдованію графа Де-ла-Барта): *въ печати онъ появился впервые только въ 1825 году*.

Такимъ образомъ, заимствованіе интриги изъ произведенія, нигдѣ не обнародованнаго, приходится отбросить. Остается только частичное совпаденіе, а именно—освобожденіе плѣнника влюбленной дикаркой и развязка, кончающаяся смертью героини. Но такое частичное совпаденіе, не объединенное

---

<sup>1)</sup> Op. cit., стр. 515.

<sup>2)</sup> Ib., стр. 515.

совпадениемъ художественнаго замысла обоихъ произведеній, даетъ слишкомъ мало данныхъ для утвержденія заимствованія. Остается сходство развязки; но мало ли можно найти произведений, сходство которыхъ заключается въ томъ, что „герои остаются въ живыхъ, героини погибаютъ“. Болѣе вѣроятно, что какой-нибудь частный случай или рассказъ могъ дать основу поэмы, очень несложной по замыслу.

Существуетъ въ литературѣ утвержденіе, что внѣшнюю основу далъ рассказъ нѣкоего Нѣмцова, мастера придумывать различныя небылицы <sup>1)</sup>. Очень возможно, что такой рассказъ, соединенный съ личными воспоминаніями „милыхъ сердцу дней“, далъ сюжетъ поэмы.

Еще менѣе данныхъ для утвержденія того, что интрига „Цыганъ“ заимствована у Шатобріана: нигдѣ у послѣдняго не встрѣчается сходной интриги, если не считать сходствомъ того, что дѣйствіе развивается у него между тремя центральными фигурами, но это могло быть вызвано тѣми-же мотивами, по которымъ еще Софокль нашелъ необходимымъ ввести „третьяго актера“ для живости дѣйствія.

Вообще, говоря о сюжетѣ „Цыганъ“, можетъ быть, совершенно излишне искать заимствованій извнѣ. Признаніе Пушкина въ эпилогѣ „Цыганъ“, что:

„За ихъ лѣнливыми толпами  
Въ пустыняхъ, праздный, я бродилъ,  
Простую пищу ихъ дѣлилъ  
И засыпалъ предъ ихъ огнями,  
Въ походахъ медленныхъ любилъ  
Ихъ пѣсней радостные гулы  
И долго милой Маріулы  
Я имя нѣжное твердилъ“;

свидѣтельство П. В. Анненкова, что въ 1822 г. Пушкинъ на нѣсколько дней пропалъ изъ Кишинева: онъ отправился въ Измаиль и на пути присталъ къ цыганскому табору, ночевалъ

---

<sup>1)</sup> П. И. Бартеневъ—„Русск Архивъ“ 1866 г., ст. 1139.

въ шатрахъ его и жилъ долго жизнью кочевого племени <sup>1)</sup>; записки А. О. Смирновой, утверждающей, что Пушкинъ разсказывалъ „свои Wanderungen у цыганъ“ <sup>2)</sup>),—даютъ право предполагать, что въ основу поэмы положено личное воспоминаніе автора. Даже при болѣе разительныхъ примѣрахъ совпаденія сюжетовъ трудно бываетъ утверждать заимствование интриги у того или иного писателя, не имѣя никакихъ побочныхъ доказательствъ; особенно, если согласиться со взглядомъ акад. Александра Н. Веселовскаго, что каждая эпоха работаетъ надъ старыми образами, вкладывая только новое содержаніе <sup>3)</sup>. Несложныя сами по себѣ интриги, легшія въ основу „Кавказскаго Плѣнника“ и „Цыганъ“, могли создаться путемъ невольнаго припоминанія цѣлаго ряда сходныхъ мотивовъ, воспринятыхъ изъ книгъ и изъ жизни, въ созданіи которыхъ могло имѣть нѣкоторое значеніе и чтеніе Шатобріана, но о степени этого значенія, за неимѣніемъ свидѣтельствъ Пушкина, который скорѣе склоненъ былъ преувеличивать свое преклоненіе передъ литературными образцами, чѣмъ умалчивать о нихъ, даетъ право сомнѣваться въ правотѣ мнѣнія В. В. Сиповскаго. Чтобы заполнить этотъ пробѣлъ, В. В. Сиповскій ссылается на рядъ упоминаній Пушкинымъ Шатобріана; но эти упоминанія почти всѣ относятся къ журнальнымъ статьямъ, гдѣ Пушкинъ, уже въ силу своего положенія, долженъ былъ отдать должное Шатобріану; но нигдѣ онъ не говоритъ о немъ съ тѣмъ восторгомъ, съ которымъ говорилъ одно время о Байронѣ. Письма, этотъ тайникъ души Пушкина, ни словомъ не упоминаютъ о Шатобріанѣ. Приходится обратиться къ запискамъ Смирновой, источнику не всегда достовѣрному, но и онѣ мало даютъ, тѣмъ болѣе, что относятся уже къ 30-мъ годамъ.

---

<sup>1)</sup> П. В. Анненковъ. Матеріалы для біографіи Пушкина, стр. 83.

<sup>2)</sup> Записки А. О. Смирновой, стр. 30.

<sup>3)</sup> Александръ Веселовскій. О методахъ и задачахъ исторіи литературы — „Ж. М. Н. Пр.“ 1870 г.

Такимъ образомъ, вопросъ о вліяніи Шатобріана на Пушкина остается открытымъ, но мы, вѣроятно, не впадемъ въ ошибку, если скажемъ, что видное мѣсто, которое ему отвелъ В. В. Сиповскій, едва-ли будетъ сохранено за нимъ, и если теперь почти всѣ изслѣдователи сходятся на формулѣ: не будь Байрона,—литературное наслѣдіе Пушкина было-бы инымъ, по отношенію къ Шатобріану установится, вѣроятно, противоположная формула: не будь Шатобріана, — наслѣдіе Пушкина осталось-бы тѣмъ-же.

**А. Бемъ.**

-----

1857

## „Цыганы“ Пушкина.

(Рефератъ, читанный въ Пушкинскомъ семинаріи Спб. Университета 5 и 12 ноября 1909 г.).

„Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа“.

(Гоголь).

„Да, въ явленіи его заключается для всѣхъ насъ, русскихъ, нѣчто безспорно пророческое.“

Пушкинъ какъ разъ приходитъ въ самомъ началѣ правильного самосознанія нашего, едва лишь начавшагося и зародившагося въ обществѣ нашемъ послѣ цѣлаго столѣтія съ Петровской реформы, и явленіе его сильно способствуетъ освѣщенію темной дороги нашей новымъ направляющимъ свѣтомъ. Въ этомъ-то смыслѣ Пушкинъ и есть пророчество и указаніе“.

(Достоевскій).

Да, Пушкинъ есть пророчество и указаніе для всей русской литературы, скажу больше: для всей русской философской мысли, съ самобытной силой проявлявшейся только въ литературѣ. Всѣ вѣковѣчныя проблемы, такъ стихійно могуче поставленныя въ прошломъ столѣтіи въ нашей литературѣ, были уже намѣчены, какъ мы увидимъ ниже, Пушкинымъ.

Спѣша и торопясь, онъ ронялъ мысли, намѣчалъ образы, рисовалъ контуры сжато и кратко—ему нужно было объять необъятное, предвосхитить путь всего будущаго русскаго творчества. И лишь теперь, когда его клады размѣнены, когда сгустки его крови и мысли разбавлены, мы начинаемъ постигать его, лучезарнаго генія, дивными переливами восходящей зари освѣтившаго пороги русской сознательной жизни.

„Пушкинъ есть пророчество и указаніе“ для всей будущей русской литературы; „Цыганы“ же—пророчество и указаніе для самого Пушкина.

Если правильно дѣленіе творчества Пушкина на два періода—періодъ вліянія великихъ творцовъ Европы на развитіе его генія и періодъ самостоятельнаго творчества, то второй періодъ открывается именно „Цыганами“.

Здѣсь Пушкинъ впервые затронулъ проблему, глубоко-философскую и общечеловѣческую—затронулъ ее въ рамкахъ, совершенно небывалыхъ, въ размѣрахъ, въ которыхъ она до сихъ поръ еще нигдѣ не ставилась;—проблему, которой онъ потомъ посвятилъ высшіе моменты своего вдохновенія и которая, согласно начертанной имъ программѣ, составляетъ центральный пунктъ всей нашей литературы. Я разумѣю проблему индивидуализма во всей ея необъятной шири и болѣзненной глубинѣ.

Правильно указаніе Достоевскаго, что преодолѣніе байронизма и, прибавлю отъ себя, другихъ цѣнностей европейской литературы, началось уже съ „Кавказскаго Плѣнника“. Но полная побѣда была одержана именно въ „Цыганахъ“—въ послѣднемъ пробномъ полетѣ на высочайшія вершины поэзіи, съ которыхъ онъ уже потомъ не спускался.

„Цыганы“—синтезъ тѣхъ великихъ проблемъ, что ставились въ Европѣ до него—синтезъ своеобразный, единственный, можетъ быть, подсказанный мощнымъ духомъ юнаго народа русскаго, только что переступившаго за порогъ сознанія.

Если борьба личности съ обществомъ носила на Западѣ конкретный, я бы сказала, бытовой характеръ; если намъ ясны причины, вызвавшія тотъ могучій протестъ одинокой и сильной личности, что такъ явственно звучитъ въ сатанинскомъ презрѣніи байроновскихъ *Übermensch*-ей; если въ гордыхъ стонахъ, едва прорывающихся сквозь плотно сжатые губы Каина или Манфреда, вы явно улавливаете вопли об-

щества того времени, очутившагося въ безвыходномъ тупикѣ;— если, тамъ, говорю я, на Западѣ, проблема индивидуализма омочена кровью, казалось, бесплодно пролитой въ борьбѣ за хрустальное царство здѣсь, на землѣ, то у насъ, въ „Цыганахъ“ она отличается внѣпространственностью и внѣвременностью;—высшій синтезъ внѣ всякой зависимости отъ эпохи или среды; обнаженная проблема внѣ какихъ бы то ни было рамокъ быта, мѣста и времени.

## II

Проблема индивидуализма не нова. Она вовсе не есть печальное наслѣдіе трагическаго духа европейца 19-го столѣтія. Она стара, какъ цивилизація; она ставилась во всѣ времена, всѣми народами, достигшими той высоты культуры, когда личность, почувствовавъ себя, какъ нѣчто обособленное отъ міра, отъ космоса, затосковала по прежней интимной связи съ этимъ космосомъ, загрустила по томъ золотомъ вѣкѣ, въ которомъ она еще умѣла сливаться въ мистическомъ экстазѣ религіознаго возбужденія со всей вселенной, была однимъ изъ сихъ малыхъ и неразумныхъ, которыхъ еще не обжигали губительные лучи холоднаго разума.

Проблема индивидуализма лежитъ въ основѣ міровой трагедіи въ болѣе или менѣе выявленной степени. На ней основана греческая трагедія, она мучаетъ великаго трагика Шекспира, она же приводитъ въ содроганіе Гёте, Шелли и Байрона.

Бываютъ, конечно, эпохи, когда трагедія единой оторванной личности ощущается очень сильно, когда „подполье“ отравляетъ своимъ ядомъ все существо человѣка, и тогда получается иллюзія проблемы только что поставленной, кажется, что она есть сгустокъ страданій только даннаго историческаго момента.

Но великіе геніи знаютъ нѣкую тайну про себя: претворяя въ себѣ духъ вѣчный, духъ тревожный всѣхъ временъ и на-

родовъ, они умѣютъ откидывать случайную оболочку, создающую иллюзію ограниченности во времени и пространствѣ, ставить вопросы въ обнаженномъ видѣ, выявлять ихъ вѣчный характеръ.

Уже эллинскій духъ знаетъ эту проблему, восходящую къ эпохѣ титановъ.

„О жалкій, эфемерный родъ, дѣти случая и бѣдствія“— былъ отвѣтъ спутника Діониса Силена королю Мидасу, во-прошавшему, что самое лучшее для человѣка— „Зачѣмъ заставляешь ты меня сказать то, что тебѣ всего полезнѣе было бы не слушать. Самое лучшее для тебя совершенно недостижимо—это было бы вовсе не родиться, не быть, быть ничѣмъ. А послѣ того самое лучшее для тебя: скорѣе умереть“.

„Дѣти случая и бѣдствія“.

Быть игрушкой слѣпыхъ, ужасъ внушающихъ, мрачныхъ силъ, ощущать вѣчное господство слѣплого случая, воплощеннаго въ страшную, для созерцателей-художниковъ—эллиновъ, Мойру-судьбу, въ грѣхъ вовлекающую боговъ и людей, а затѣмъ безпощадно карающую этихъ невинныхъ преступниковъ,—вотъ оно то трагическое, что выявляетъ уже жизне-радостному язычнику, эллину его Ratio — виновникъ оторванности его отъ природы, виновникъ *его индивидуации*.

Разумъ не въ состояніи жизнь оправдать; единой личности она долѣжна казаться не чѣмъ инымъ, какъ вѣчной борьбой съ постоянной увѣренностью въ пораженіи.

Разумъ, индивидуальный разумъ, можетъ сдѣлать жизни только такое резюме: безпрестанно желать, постоянно страдать и затѣмъ умирать, и такъ изъ вѣка въ вѣкъ, пока наша земля не распадется въ прахъ.

Подводя простой ариѳметическій подсчетъ суммъ страда-ній и счастья на землѣ, мы не можемъ не ощущать банкротства жизни; не можемъ принять міра, не можемъ его оправдать. Тутъ не помогутъ никакіе императивы самодержавной морали или царицы *для немногихъ*—эстетики.

Непокорная личность всегда будет страдать от своей индивидуации, от своей замкнутости въ предѣлахъ двухъ моментовъ: рожденія и смерти.

Греческій театръ вполне ясно представляетъ себѣ трагическое значеніе индивидуации.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь всѣ знаменитые герои греческой трагедіи: Прометей, Эдипъ, Аресть, Этеокль, Эантъ и др. представляютъ собой однѣ только маски, подъ которыми скрывается тотъ же трагическій Богъ Діонисъ, опутанный сѣтью индивидуальной воли и, *какъ индивидъ*, подверженный заблужденію, страстямъ и страданіямъ.

Страдающій Діонисъ мистерій, Богъ, испытавшій на самомъ себѣ всю муку индивидуации,—вотъ онъ истинный герой греческой трагедіи. По сказанію чуднаго мифа, Богъ Діонисъ еще мальчикомъ былъ растерзанъ на части тиранами, и тогда изъ слезъ его родились люди, столь же растерзанные на части и столь же страдающіе въ своей индивидуации. И если греки и представляли себѣ спасеніе отъ всѣхъ трагическихъ вопросовъ, то въ видѣ возрожденія Діониса—грядетъ въ третій разъ, и раздробленный на индивиды міръ снова станетъ цѣльнымъ и не будетъ больше трагедіи: личность сольется съ космосомъ и въ экстазѣ сліянія растворитъ свое я. Вѣчно горящая Деметра впервые радуется, когда ей говорятъ, что она можетъ еще разъ родить Діониса, цѣльнаго гармонического Діониса.

Богъ Діонисъ, страдающій отъ индивидуации, принимающій, то видъ Прометейя, то видъ Эдипа,—вотъ она истинная сущность греческой трагедіи, вотъ онъ трагическій мифъ, созданный арійцами еще на зарѣ цивилизації, когда личность впервые почувствовала себя, какъ индивидуумъ; мифъ, воплощающій въ себѣ всю міровую трагедію, гдѣ бы и при какихъ условіяхъ она не проявлялась.

### III.

Античный міръ погибъ на развалинахъ діонисовскаго на

чала. До крайности развитое *я*, научившееся противопоставлять себя міру, обществу и Богу, трагическое въ своемъ одиночествѣ, изъ послѣднихъ усилій создавшее свое эпикурейское міровоззрѣніе, сознательно учившее забытію въ моментѣ, опьяненію въ чувственности,—оно достигло своего высшаго выраженія въ неософизмѣ, основной принципъ котораго: человекъ—мѣрило всѣхъ вещей. Вотъ почему мы имѣемъ у неософистовъ полное отрицаніе морали, религіи, общественности и другихъ столповъ, на которыхъ зиждется жизнь. Послѣдовательный индивидуализмъ не можетъ не разбить всѣхъ святыхъ кумировъ, не можетъ, чтобы не заставить поклониться себѣ и только себѣ, какъ единственному творцу всѣхъ цѣнностей. Но слишкомъ трагично положеніе одинокаго Бога; пустыньность холодная, кругомъ царящая, нетерпима для него—и онъ гибнетъ въ своей величавости.

Трагиченъ финалъ античнаго міра, представляющій собою крушеніе индивидуализма.

На смѣну идетъ міръ христіанскій. Я разсматриваю христіанство, поскольку оно возникло на развалинахъ римской имперіи, какъ усиліе человѣческаго духа создать для себя почву, если не здѣсь на землѣ, то хоть гдѣ-нибудь въ туманной дали, создать для себя лоно, гдѣ онъ могъ бы раствориться, потерявъ остроту трагедіи безпочвенности, индивидуализмомъ созданной.

Ибо нѣтъ возврата къ счастливому дѣтству, ибо заказанъ путь домой—къ природѣ: эллинизмъ, наслѣдство глубоко знаменательное, преграждаетъ путь къ золотому вѣку.

Христіанство ухитряется создать иную почву, отыскавъ ее въ безвоздушномъ пространствѣ, у трона Небеснаго Отца. Толстой въ „Исповѣди“ даетъ намъ прекрасный образъ всей безпочвенности этой новой почвы.

Худо ли, хорошо ли, но личность успокоилась; успокоилась на томъ, что потеряла себя, растворившись въ Богѣ; и если осталась антитеза *я да міръ*, создавшая греческую трагедію,

то личность ушла отъ этого міра, просто откинула его, какъ грѣховную плоть, поднявшись на крыльяхъ духовныхъ къ небесному отцу. Достоевскій глубоко проникъ въ спасающую сущность католической церкви, именно *католической*, ибо она единственная не допускаетъ никакихъ вопросовъ, властно требуя покорности и повиновенія, иными словами—полной потери личности. Въ этомъ смыслѣ единствененъ по своей глубинѣ и истинности образъ великаго инквизитора. Недаромъ средніе вѣка почти не знали литературной формы трагедіи (мистеріи, конечно, не въ счетъ); да она и не могла быть, пока личность находила для себя успокоеніе въ лонѣ церкви, пока религія покоилась на самомъ вѣрномъ принципѣ: *credo quia absurdum*.

И лишь въ эпоху Ренессанса, въ эпоху великаго сдвига *ratio*, въ гордынѣ своей возставшаго на послѣднее убѣжище человѣка въ его страданіяхъ—на Бога, снова пошатнулась почва подъ человѣкомъ и, появилась трагедія. Не случайность, что она появилась въ Англии, въ классической странѣ свободы, гдѣ къ тому времени личность успѣла уже выявиться ярко и полно, гдѣ самосознаніе достигло уже того предѣла, когда разбиваются старыя скрижали, на которыхъ огненными буквами начертано имя великаго спасителя—Бога.

Въ произведеніяхъ Шекспира трагедія ужъ отодвинута отъ рока; она приурочена къ волѣ единой личности, свободной отъ всякихъ поглощающихъ началъ и дерзающей вступить въ борьбу со своею совѣстью, цѣликомъ умѣщающейся въ ея душѣ, безъ всякаго отношенія къ Началу Божества. Нѣсколько позже узналъ трагедію и континентъ,—узналъ, когда и онъ освободился отъ всякихъ высшихъ началъ, когда и на немъ личность потеряла почву, почувявъ свою самостоятельность и изъ нея вытекающую изолированность отъ Бога, отъ Космоса.

Осталась еще одна стѣна, подъ сѣнью которой личность могла еще укрываться въ европейскомъ обществѣ—это об-

щественное благо. Если естественная религія и побѣдила истинную ирраціональную религію, то вѣдь во имя крушенія тѣхъ старыхъ авторитетовъ, на развалинахъ которыхъ могло бы свободно развиваться великое знамя по-своему святой троицы: равенства, братства и свободы.

Но когда подъ обломками стараго строя, рухнувшаго подъ громовыми ударами французской революціи, были погребены и идеалы, созданные естественной религіей, когда, такимъ образомъ, обрушился и послѣдній оплотъ личности, и она очутилась наединѣ сама съ собою, тогда всякая форма литературы приняла характеръ трагедіи, тогда выступили на арену великіе плакальщики трагическаго человѣчества: Альфредъ де-Мюссе, Шатобріанъ, Байронъ, Шелли и Гёте со своимъ Фаустомъ.

Міровая трагедія—есть трагедія *индивидуальною* духа, корчащагося въ мукахъ одиночества, постепенно теряющаго одинъ оплотъ за другимъ, подъ которыми онъ привыкъ укрываться.

Она началась на зарѣ цивилизаціи, когда человѣкъ,—по семитскому сказанію, отъ любопытства женщины (яблоко), а по арійскому,—отъ желанія спасти міръ (Прометей), но по обоимъ—отъ первыхъ проблесковъ сознанія—, потерявъ невинность, почувствовалъ свою изолированность отъ міра, отъ космоса. Въ продолженіе всей своей исторіи человѣкъ мучительно искалъ путей, по которымъ онъ могъ бы дойти до потери своей личности, до избавленія отъ первоисточника всякой трагедіи, отъ бремени своего *я*. Религія, а потомъ общественное *благо*—оба начала обанкротились къ 19-му вѣку. Вотъ почему мы снова стоимъ передъ той же стихійной трагической проблемой, проявляющейся теперь во всѣхъ формахъ міровой литературы.

#### IV.

„Пушкинъ“, говоритъ Достоевскій, „какъ разъ приходитъ въ самомъ началѣ правильнаго самосознанія нашего, едва

лишь начавшагося..... послѣ цѣлаго столѣтія съ Петровской реформы“. Достоевскій, гораздо больше западникъ, чѣмъ славянофилъ, зналъ, конечно, что Бѣлинскій былъ глубоко правъ, усматривая великое значеніе сближенія нашего съ Европой въ усвоеніи *начала личности*, отсутствовавшего въ нашей исторіи. Другое дѣло, принесло ли намъ это начало счастье и покой. Уже Бѣлинскому оно почти было не по плечу. Въдѣь недаромъ онъ такъ бунтарски призывалъ, если не къ отмщенію, то къ оправданію казней Филиппа IV, инквизиціи и моря пролитой человѣческой крови и жгучихъ слезъ. Достоевскій же всю жизнь свою изгибался подъ неимо- вѣрной тяжестью этого мучительнаго начала, восходящаго въ *русской литературѣ именно къ Пушкину и прежде всего къ его „Цыганамъ“*.

Вотъ Толстой тоже довольствовался только прозаическимъ изложеніемъ „Цыганъ“ Мериме и вовсе не тянулся къ плѣнительной музыкѣ грустныхъ звуковъ поэмы.

Очевидно, всѣ великіе проявители русскаго духа почуяли свое родство съ нимъ, Пушкинымъ, такъ какъ въ „Цыганахъ“ онъ постигъ сущность трагедіи вообще, *безотносительно къ условіямъ времени и мѣста*, сущность, вытекающую изъ проблемы личности одинокой, оторванной отъ космоса, на свой страхъ и рискъ творящей свою жизнь. Но это возможно было именно въ 19-мъ вѣкѣ, когда это начало личности было уже усвоено серьезно „послѣ цѣлаго столѣтія Петровскихъ реформъ“.... Это-то и разумѣеть Достоевскій. Но вотъ что поразительно:

Поэтъ реальнаго міра, всегда богатый запасомъ простыхъ, но прекрасныхъ въ своей ясности красокъ, скупъ почему-то въ „Цыганахъ“ на краски, на эпитеты. Лишена конкретности природа, лишены ея и „природы бѣдные сыны“, почему-то именуемые цыганами, нѣтъ ея и у Алеко, воплощающаго въ себѣ вообще начало личности, которая „для себя лишь ищетъ воли“ и „не рождена для дикой доли“. И это потому, что Пушкинъ въ „Цыганахъ“ впервые поднялся до высочайшихъ

вершинъ міровой поэзіи: отверзлась передъ нимъ бездна отдаленнаго прошлаго, поднялась завѣса со столь запутаннаго настоящаго; онъ постигъ глубокую таинственную связь между ними, постигъ цѣпь временъ, объединивъ во-едино античный міръ съ трагическимъ настоящимъ. Чѣмъ шире художественное обобщеніе, чѣмъ выше то разстояніе, что отдѣляетъ художника отъ даннаго конкретнаго случая,—словомъ, чѣмъ вмѣстительнѣй душа его, тѣмъ удачнѣе скрываются случайные изъяны частнаго явленія, тѣмъ меньше бытового содержанія. И это не идеализація—это чудо—тайна всякаго художественнаго синтеза, всегда символическаго, всегда скрывающаго отъ насъ предстоящія несовершенства. Для меня весь смыслъ поэмы въ Алеко.

Алеко, личность исключительная, неукладывающаяся въ какія бы то ни было рамки общественности и морали, гордая индивидуальность, которую душисть неволя „душныхъ городовъ, гдѣ люди *въ кучахъ*, за оградой, любви стыдятся, мысли гонятъ, торгуютъ волею своей, главы предъ идолами клонятъ и просятъ денегъ да цѣпей“.

Вотъ она квинтъ-эссенція всѣхъ притязаній байроновскихъ и другихъ *Übermensch*—ей къ обществу. Это не претензія той или другой конкретной личности къ данному конкретному обществу; нѣтъ это протестъ личности *вообще*, отвлеченной, но стоящей выше окружающей ее среды. Всегда, гдѣ общество, тамъ неминуемы цѣпи, тамъ непременно торгуютъ волею своей; тамъ предразсужденій приговоръ и толпы безумное гоненье. Байронъ здѣсь поступилъ бы такъ: онъ сосредоточилъ бы все вниманіе на моментѣ борьбы съ обществомъ или на моментѣ успокоенія гдѣ-нибудь на лонѣ природы съ дикимъ первобытнымъ племенемъ. Пушкинъ же, преслѣдуя инья цѣли—выясненіе проблемы въ ея *сущности* и непреходящей цѣнности, ограничиваясь только сжатой формулировкой *всѣхъ* обвиненій, предъявляемыхъ ко всякому обществу *вообще*, идетъ дальше, ставитъ вопросъ въ совершенно

иной плоскости, ставитъ его такъ, какъ ставитъ вся русская литература 19-го вѣка: возможно ли вообще успокоеніе для гордой личности; можетъ ли поглотить ее какая бы то ни было стихія, какой бы то ни было идеальный строй? Здѣсь, повидимому, не въ обществѣ дѣло, и трагедія личности вовсе не въ томъ, что она выше общества, что послѣднее не до-росло до нея, а въ совершенно иномъ. Одинокая, гордая личность, говорящая *да* лишь тому, что оправдывается ея могучей волей, ставящая себя въ центрѣ мірозданія и на весь міръ глядящая лишь съ точки зрѣнія своего „я“, нигдѣ не пріобрѣтетъ покоя, она обречена на вѣчное скитаніе съ печатью Каинскаго проклятія на своемъ гордомъ челѣ.

Вотъ почему Пушкинъ переноситъ центръ вниманія на *столкновеніе* Алеко съ инымъ складомъ душевнымъ, съ несложной, но цѣльной психикой бѣдныхъ сыновъ природы.

Первобытная прелесть, наивность и простодушіе существа, стоящаго на первой ступени цивилизаціи,—человѣка, дышащаго заодно съ природой, еще не познаващаго трагической антитезы: я да міръ,—съ одной стороны, а съ другой—избо-рожденное страданіями высокое чело гордой личности послѣдней ступени цивилизаціи; личности, измучившейся въ своихъ противорѣчіяхъ и безъ разбора кидающейся въ объятія какой бы то ни было стихіи; хоть на моментъ обрѣсти покой.

. Проникновенныя очи художника-мудреца покойно оста-навливаются на обѣихъ противоположныхъ стадіяхъ развитія человѣческой психики безъ тѣни упрека и одобренія тому или другому — созерцательная мудрость безъ всякихъ сен-тенцій.

Развитіе дѣйствія говоритъ само за себя. Все время про-тивопоставляется одинокая личность слитности людей и при-роды, живущихъ одной жизнью, простой и естественной. И эта то антитеза способствуетъ истинному смыслу трагедіи.

Открывается сцена массовой картиной; предъ вами широкій вольный фонъ обширныхъ степей; по ней мелькають груды тѣлъ отцовъ, матерей и дѣтей, *безымянныхъ*, — именно безымянныхъ, — ибо они еще не имѣють своего имени, — застывшихъ въ сонномъ молчаніи, прилипшихъ къ груди матери-природы. Впечатлѣніе слитности усиливается еще отъ того, что „луна сіяетъ съ небесной вышины и тихій таборъ озаряетъ, ровно лія свой свѣтъ на *всѣхъ* и *все*“. На этомъ тихогрустномъ фонѣ едва шевелится нѣмая тѣнь сѣдого старика. „Онъ въ поле дальнее глядитъ ночнымъ подернутое паромъ“. И онъ самъ навѣрно подернуть паромъ и едва выдѣляется изъ этой общей картины, гдѣ люди, животные и нѣмые предметы одинаково припали къ единой груди, на ней отдыхая. Покой и скудное счастье въ этой скудной общинѣ безымянныхъ дѣтей, живущихъ одной общей волей, одной стихіей. Легко и ясно на ихъ невинной душѣ ранняго дѣтства; нѣтъ тревожныхъ вопросовъ — они еще не доросли до нихъ.

Но вотъ вдалькѣ въ сѣдомъ туманѣ промелькнули двѣ тѣни; онѣ приближаются, идя откуда-то; онѣ не здѣшнія, онѣ, нарушая естество, бодрствуютъ, когда вся природа объята покоемъ. Тѣни выдѣлились, явственнѣе стали. подошли вплотную къ этой картинѣ слитности природы съ людьми, противостоятъ ей. Дивный синтезъ тончайшей живописи съ граціозной пластикой. Космосъ и родное существо — первобытный человѣкъ: вольный, какъ природа, беззаботный, какъ божья птичка, и радостный, какъ дитя, и ихъ полная противоположность — личность, сразу получающая свое имя, ибо она индивидуальная, приходящая къ этой стихіи за успокоеніемъ, на время, на моментъ — моментъ, это послѣднее убѣжище — человѣкъ-скиталець.

Но можетъ ли гордый сынъ цивилизаціи обрѣсть покой въ этой стихіи — *возможенъ* ли возвратъ къ золотому дѣтству? правда, тамъ внизу спокойнѣе, тамъ нѣтъ никакихъ противо-

рѣчій, никакихъ вопросовъ; но что же дѣлать со всей осложненностью души современнаго человѣка?

Тихая, молчаливая ночь смѣняется говорливой жизнью дня. Предутренній вѣтерокъ, вѣстникъ дня, шевелить верушки степной ковыли, гонить птичку на легкую добычу; все приходитъ въ беззаботное и свободное движеніе. „Все вмѣстѣ тронулось...“ тронулась и толпа съ той же легкостью, какъ и природа. „Идите, дѣтки, пошालите—сказала мать, къ ночи вернитесь снова ко мнѣ“.

И снова этой толпѣ, какъ природа, вольной въ своихъ движеніяхъ, противостоитъ юноша, глядящій на опустѣлую; равнину и не смѣющій истолковать себѣ „грусти тайную причину“. Именно *не смѣющій* себѣ истолковать. Вѣдь это значило бы въ самомъ началѣ признаться въ непреходимости ужаса, отчаянія, которое толкало его къ этимъ дикарямъ вѣдь это было бы обнаженіе той же пропасти одиночества, надъ которой онъ прежде стоялъ: Достоевскій сказалъ бы, что онъ боится заглянуть въ подполье.

„Но Боже, какъ играли страсти его послушною душой; съ какимъ волненіемъ кипѣли въ его измученной груди! Давно-ль, надолго-ль усмирѣли? Онѣ проснутся, погоди!“ Вотъ въ чемъ истинный смыслъ трагедіи личности. Она всюду одинока.

И проснулись страсти въ его измученной груди и „сѣни кочевья въ пустыняхъ не спаслись отъ бѣдъ“. Въ нихъ вторглась въ лицѣ Алеко цивилизація. Психологическій опытъ, нужный для проявленія истинной сущности трагедіи индивидуализма.

„Два года, презрѣвъ оковы просвѣщенья, Алеко воленъ, какъ они, и безъ заботъ и сожалѣнья вѣдетъ кочующіе дни“.

Ему кажется, что онъ совершенно успокоился, что онъ къ бытью цыганскому привыкъ, прежнихъ лѣтъ не помня даже. „Онъ любитъ ихъ ночлеговъ сѣнь и упоенье вѣчной лѣни и бѣдный, звучный ихъ языкъ“.

Онъ именно любить „упоенье вѣчной лѣни—любить свое спокойствіе, свою лѣнь сердечную, любить, какъ отдыхъ, какъ покой для своей измученной души. Замѣтите, что онъ *любитъ* ихъ быть, но не сливается съ нимъ. И любить онъ лишь до поры до времени.

Первые грозные звуки дикой пѣсни Земфиры: „Старый мужъ, грозный мужъ, рѣжь меня, жги меня, я тверда, не боюсь ни ножа, ни огня, ненавижу тебя, презираю тебя, я другого люблю, умираю любя“—нарушаютъ его шаткое равновѣсіе, и онъ снова во власти своего гордаго *я*, не знающаго, гдѣ преклониться, передъ кѣмъ и передъ чѣмъ согнуть свою буйную голову.

Для него не убѣдительно мудрые слова старика: „ты любишь горестно и трудно, а сердце женское шутя: Кто мѣсто въ небѣ лунѣ укажетъ, промолвя: тамъ остановись! кто сердцу юной дѣвы скажетъ: люби одно, не измѣнись“...

Можетъ быть, для цыганъ любовь—естественное проявленіе плоти и больше ничего. Легко сходясь, они также легко расходятся. Но что дѣлать человѣку современному, который вкладываетъ въ это чувство все свое *я*, который, какъ Толстой, усматриваетъ въ немъ спасеніе, поглощеніе его гордой личности.

Бѣлинскій, конечно, прочелъ здѣсь цѣлую проповѣдь: ревность,—дескать,—чувство неблагородное, что нельзя насильно заставить себя любить... и т. п. прописи.

А вотъ Шекспиръ „въ Отелло“ думаетъ нѣсколько иначе. Для него ревность—всепоглощающая страсть, которая недюжиннаго человѣка должна непремѣнно довести до катастрофы.

Пусть теоретики, стоящіе на точкѣ зрѣнія Аристотеля, что смыслъ трагедіи въ катарсисѣ, въ нравственномъ очищеніи и т. п. благоглупостяхъ, осудятъ Отелло и его собрата Алеко. Шекспиръ—психологъ и только психологъ, ставящій трагическія неразрѣшимыя проблемы.

Да и самъ Бѣлинскій въ статьѣ: „Русская литература за 1846 г.“ незамѣтно для самого себя откланивается „Шиллеру“ и постигаетъ безумство любви.

Алеко чужда робость и доброта душевная цыгань; онъ могъ бы только ее оправдать во имя какихъ-нибудь идеаловъ вродѣ Бѣлинскаго, но этихъ-то идеаловъ у него нѣтъ—послѣдовательный индивидуалистъ ихъ отвергаетъ. Алеко совершаетъ преступленіе, заранѣе оправдавъ его. „Я не таковъ: нѣтъ, я не споря отъ правъ моихъ не откажусь“. Вѣдь онъ съ борьбой, съ мученіемъ вынесъ ихъ, права свои, цѣльными изъ покинутаго общества. Какъ же онъ откажется отъ нихъ? Что ему сентенція: „чредою всѣмъ дается радость, что было, то не будетъ вновь“? Во имя чего онъ долженъ покориться? Покорности онъ не знаетъ: ему чужда психологія бѣдныхъ сыновъ природы. Для него законъ—его личная воля, толкнувшая его къ этому послѣднему убѣжищу, *къ стихіи страсти, еще способной спасти его отъ самою себя*. Вѣдь для него весь смыслъ любви Земфиры заключается именно въ томъ, что „веселья дѣтскаго полна, какъ часто милымъ лепетаньемъ, иль упоительнымъ лобзаньемъ *его задумчивость* она въ минуту разогнать умѣла“... Вотъ что для него было самое важное: она умѣла разогнать его *задумчивость*.

Вѣдь ему нужно забвеніе, ему нуженъ душевный покой, душевное равновѣсіе—что же онъ сдѣлаетъ съ собой, когда лишится его? Опять стынуть въ гордомъ одиночествѣ? Но оно не по силамъ человѣку. Конечно, преступленіемъ своимъ онъ не вернетъ себѣ покоя, наоборотъ, убійствомъ онъ изгонитъ себя изъ этой новой среды. Но когда споръ идетъ о жизни и смерти, не разсуждаютъ, а дѣйствуютъ—„хоть мщеніемъ насладиться“. Это не рационально, скажетъ Бѣлинскій, но зато оно вѣрно психологически. Байронъ въ подобныхъ случаяхъ, а Шатобрианъ почти всегда, успокаиваются на иллюзіи вѣрности дикарки (Островъ, Рене), къ ногамъ ку-

мира своего — исключительной личности — они приносят и свой пессимизмъ. (А можетъ быть, они вовсе и не были такими пессимистами). Но Пушкину вовсе не рисуется такой счастливый финалъ: на частномъ случаѣ, правда, слишкомъ сжато, такъ что мы даже рискуемъ впасть въ ошибку: приписать ему наши собственныя проблемы—выясняетъ сущность *мировой* трагедіи. Стоя выше своей эпохи, онъ, подобно Шекспиру, обнажаетъ передъ нами пласты психологическіе, вѣчно живущіе въ душѣ человѣческой, не затемняя ихъ тѣми или другими предвзятыми мыслями, характерными для данной эпохи.

Алеко совершаетъ преступленіе, ибо онъ, какъ индивидуалистъ, дошедшій до отрицанія морали, не можетъ не воскликнуть вмѣстѣ съ человѣкомъ изъ подполья: „мнѣ чтобъ чай былъ, а міру погибнуть“. Пусть преступные герои Достоевскаго на самомъ дѣлѣ очень милые люди, а вовсе не преступники, пусть Раскольниковъ стремился оправдать убійство старухи и съ точки зрѣнія морали; но вѣдь это только дань „Шиллеру“ въ кавычкахъ; на самомъ же дѣлѣ, если быть послѣдовательнымъ вмѣстѣ съ Раскольниковымъ, не только въ теоріи, но и на практикѣ, то вѣдь *неминуемо* придешь къ оправданію Наполеона, а потому и Алеко. Если не всякій спихивающій съ дороги—непремѣнно индивидуалистъ, то зато обратное безусловно правильно: всякій индивидуалистъ, послѣдовательный въ своемъ отрицаніи цѣнностей, извнѣ создаваемыхъ и его, индивидуалиста, стѣсняющихъ; — послѣдовательный въ своемъ непризнаніи какихъ бы то ни было категорическихъ императивовъ, къ тому еще не лишенный воли, активности,—въ потенціи неминуемый преступникъ, а къ случаю и въ жизни.

Психологія преступленія тѣснѣйшимъ образомъ связана съ психологіей индивидуализма. И если въ греческой трагедіи герой еще неповиненъ въ своемъ преступленіи, если тамъ онъ совершаетъ его не по своей свободной волѣ, а по

слѣпому указанію стихійной Мойры, то вѣдь это потому, что греческій индивидуализмъ зналъ лишь первую антитезу: я да міръ, антитезу, представляемую именно въ образѣ *слѣпото случая*—своеобразнаго выраженія той пустоты, которая образовалась между человѣкомъ и космосомъ послѣ разрыва. Зато ужъ трагедія Шекспира и современная, поскольку она трактуетъ вопросъ о преступности, непремѣнно подводитъ подъ него почву индивидуалистическую.

Да и самъ Пушкинъ въ своихъ лучшихъ произведеніяхъ, тамъ, гдѣ онъ достигъ высочайшихъ вершинъ творчества, трактуетъ вопросъ о преступности въ связи съ индивидуализмомъ.

Всегда активный, никогда не знавшій разлагающаго яда рефлексіи, Пушкинъ и заставляетъ героевъ своихъ проявлять свой индивидуализмъ активно, т. е. въ видѣ преступленія.

Вѣдь тотъ же вопросъ поставленъ въ „Борисѣ Годуновѣ“, въ „Скупомъ рыцарѣ“ и „Моцартѣ и Сальери“ и въ „Полтавѣ“. И всегда у него исключительныя личности, надѣленные слишкомъ выявленной индивидуальной волей, — неминуемые преступники.

Дѣло не въ томъ, какъ относится къ нимъ Пушкинъ: принимаетъ ли онъ ихъ подъ свою защиту, или произносить имъ обвинительный приговоръ. Для насъ важень фактъ, что его индивидуалисты всегда преступники. Таковъ и Алеко.

Что Алеко не просто грубый эгоистъ, что тутъ проблема гораздо глубже, чѣмъ обычно ее понимаютъ, и что его преступленіе вполне возможно для всякаго активнаго индивидуалиста и *обязательно* для индивидуалиста Пушкинскихъ типовъ, всегда дѣятельныхъ и всегда носящихъ на себѣ печать активности жгучаго, подвижнаго темперамента своего творца, свидѣтельствуешь хотя бы отношеніе къ Алеко „великаго сердца“ Бѣлинскаго, желавшаго даже усмотрѣть въ немъ борца за общественную свободу. „Дайте эгоизму огромный объемъ, придайте къ нему большой умъ, сильныя страсти,

способность глубоко понимать и чувствовать всякую истину— и предъ вами весь Алеко“.

Такъ понимаетъ его Бѣлинскій. Но вѣдь это все черты, дающія неотъемлемое право ей, исключительной личности,— съ ея, конечно, *собственной* точки зрѣнія, — спихивать съ дороги.

И если слова Алеко: „да какъ же ты не поспѣшилъ тотчасъ во слѣдъ неблагодарной и хищнику и ей коварной кинжала въ сердце не вонзилъ“ возбуждаютъ у Бѣлинскаго смѣшанное съ ужасомъ отвращеніе, и если Бѣлинскій восклицаетъ въ великомъ негодованіи: „Турокъ въ душѣ, онъ считалъ себя впереди цѣлой Европы на пути къ универсальному уваженію правъ личности!“ то вѣдь это потому, что Бѣлинскій справлялъ еще медовый мѣсяцъ съ началомъ личности, принесеннымъ къ намъ съ Запада, что ему еще не вполне открылась обратная сторона медали этого „благодѣтельнаго“ начала. Да и то можно было отвѣтить ему: „пожалуйста, впишите Алеко въ активъ къ тѣмъ фактамъ, которые побуждаютъ Васъ сброситься съ послѣдняго этажа. Что же, если на вершинѣ цивилизациі мы застаемъ такой горькій плодъ, какъ индивидуализмъ, то, право, не стоило всѣхъ этихъ мукъ и несчастій, что пережило человѣчество на своемъ тяжеломъ историческомъ пути“.

Вотъ Достоевскій, въ „подпольѣ“ познавшій обратную сторону медали пресловутаго начала личности, облагодѣтельствовавшаго Россію съ реформами Петра,—Достоевскій, обманывавшій себя, въ жаждѣ успокоенія, что Европа для него лишь дорогая могила, что онъ, а вмѣстѣ съ нимъ вся русская интеллигенція вернется къ стихіи, въ которой они растворятъ свое гордое я, — Достоевскій — страстотерпецъ, нутромъ постигшій, что значитъ: „Боже, какъ кипѣли страсти въ его измученной груди“, и никогда не могшій освободиться отъ этихъ страстей.—Вотъ онъ-то понялъ, ощутилъ всю трагическую связь Алеко съ началомъ нашего самопознанія—а

затѣмъ съ Раскольниковымъ, Иваномъ Карамазовымъ и иными подпольными людьми. Недаромъ онъ въ бѣшенствѣ топаетъ ногой, какъ своимъ эпигонамъ, такъ и ихъ родному отцу—Алеко: „смирись, гордый человѣкъ, покорись, гордый человѣкъ“. Вѣдь иначе жить невозможно, вѣдь время начала личности не по плечу маленькому ограниченному человѣку.

Достоевскій смѣется надъ Алеко, вышучиваетъ его, даже преслѣдуетъ своими ядовитыми усмѣшками: онъ, дескать, баринъ, онъ билъ по мордасамъ крѣпостныхъ—вся его затѣя отъ нечего дѣлать. „Надъ кѣмъ смѣешься, надъ собою смѣешься“—хочется сказать. Вѣдь это онъ преслѣдуетъ дальнѣйшее развитіе Алековщины, выродовившейся въ Карамазовщину.

Да, Алеко — типъ символическій, типъ — я бы сказалъ — универсальный, но болѣе дорогой, болѣе родной именно русской литературѣ. Можетъ быть, русская душа еще не успѣла сrostись съ этимъ новымъ началомъ европейскимъ? И впрямь. Европа потратила на усвоеніе его сотни лѣтъ свыклась, сроднилась съ нимъ. А вотъ русскому человѣку тяжело: вѣдь всего безъ году недѣля, какъ онъ освободился изъ подъ власти *начала общаго* (по выраженію Хомякова), начала, которое до сихъ держало въ тискахъ человѣческое я, не давая возможности подняться, стать выше надъ моралью или другими категорическими цѣнностями. Этимъ, можетъ быть, объясняется, почему трагедія личности такъ тяжело, такъ глубоко поставлена именно въ русской литературѣ, посвятившей ей весь 19-ый вѣкъ, какъ и тотъ фактъ, что поставлена она была уже на зарѣ русской литературы *Пушкинымъ*: русскій геній, сдѣлавшись самостоятельнымъ, сразу взялся за разрѣшеніе этой проблемы, самой тяжелой для него.

Вотъ въ чемъ и заключается пророчество и указаніе для русской литературы, которое Достоевскій усматриваетъ въ Пушкинѣ.

Пушкинъ лишь намѣчалъ проблемы, ставилъ ихъ въ самыхъ общихъ чертахъ, какъ таковыя, передавалъ ихъ всей русской литературѣ.

Чтобы продѣлать такую огромную и важную работу, какъ установленіе *вѣхъ* по всему будущему пути русскаго творчества, надо было торопиться, двумя, тремя штрихами обрисовать образъ, какъ выражается про него Толстой, и идти дальше.

Вотъ почему Алеко у Пушкина не развернуть во всей своей трагической величавости: вотъ почему онъ только схематически намѣченъ; но мы, отстоя отъ Пушкина на разстояніи почти цѣлаго вѣка и вдумываясь въ содержаніе русской литературы, исходящей отъ него, должны согласиться вмѣстѣ съ Достоевскимъ, что онъ родной отецъ Карамазовыхъ и Раскольникова, мы должны только прибавить, что Алеко истинный „скиталецъ“, не только русскій, но и всемірный,—скиталецъ, который нигдѣ и никогда не обрѣтетъ покою, ибо послѣдній никогда не можетъ быть данъ человѣку, отстоящему на цѣлую цивилизацію отъ „бѣдныхъ сыновъ природы, вольныхъ, какъ она, беззаботныхъ, какъ птичка“, ибо печать Каина, байроновскаго Каина на его челѣ, печать гордаго человѣка, вступающаго въ тяжбу со всѣми установленными цѣнностями, сковывающими гордую волю индивидуума.

Алеко не убиваетъ себя и остается жить, остается, подобно подстрѣленному журавлю, оставленному товарищами, весело поднимающимися на воздухъ, чтобы летѣть къ благословеннымъ краямъ юга. Сидя на камнѣ, окровавленный, съ ножомъ въ рукахъ, Алеко, „блѣдный лицомъ, молчитъ; „когда же ихъ зарыли послѣдней горстію земной, онъ молча, медленно склонился, и съ камня на траву свалился“... Муки безотрадной тоски, трагедія глубокаго одиночества и разбитыхъ надеждъ на послѣднюю стихію, которая должна была его успокоить.

Здѣсь-то и глубокое расхожденіе съ Руссо, съ Байрономъ и другими романтиками: не можетъ современный человѣкъ найти успокоенія на груди, давно разставшейся съ нимъ матери—природы,—не можетъ, ибо нѣтъ возврата къ прошлому;—вотъ истинный смыслъ трагедіи Алеко!

V.

„Но счастья нѣтъ и между вами, природы  
бѣдные сыны!  
„И ваши сѣни кочевья въ пустыняхъ не  
спаслись отъ бѣдъ,  
„И всюду страсти роковыя, и отъ судьбъ  
защиты нѣтъ“.

Гордому сыну цивилизаціи противостоить, какъ мы указали выше, вольная община бѣдныхъ сыновъ природы, члены которой ясны духомъ, какъ южная небесная лазурь; имъ не вѣдомы никакія проблемы, ибо они еще не дошли даже до первой антитезы: я да міръ. Сыны природы, они инстинктивно нутромъ своимъ постигаютъ всю мудрость жизни.

Правъ В. Ивановъ, что цыганская община построена на идеальныхъ анархическихъ началахъ. Личность еще не познала себя, какъ таковую, еще не успѣла выдѣлиться настолько, чтобы противопоставить себя обществу. Нѣтъ еще, такимъ образомъ, той причины, которая создаетъ обязательные для всѣхъ законы; вотъ почему они дики, не знаютъ ни законовъ, ни цѣпей, не терзаютъ и не казнятъ. Имъ, скромнымъ въ своихъ потребностяхъ, невѣдомъ институтъ собственности, который такъ губительно дѣйствуетъ въ нашей общественной жизни,—они довольствуются тѣмъ, что даритъ имъ природа—мать. Мало нуждаясь другъ въ другъ, они не успѣли еще спаяться вмѣстѣ настолько, чтобы каждый членъ чувствовалъ свою зависимость отъ другихъ и отъ цѣлаго общества; вотъ почему у нихъ воля единичная такъ удивительно гармонически сливается съ волей общественной—*minimum* требований со стороны общества къ личности и личности къ обще-

ству вовсе не тягостно для членовъ этой идеальной общины. Младенцы счастливаго дѣтства, они еще не подвержены проклятію: „въ потѣ лица, ѣшь хлѣбъ свой,“ тяготѣющему надъ челоуѣчествомъ, вкусившимъ отъ плода познанія. Вотъ почему старикъ—цыганъ такъ щедръ: „или пробудь у насъ и долѣ, какъ ты захочешь. Я готовъ съ тобой дѣлать и хлѣбъ и кровь... Примись за промыселъ любой: желѣзо куй, иль пѣсни пой и села обходи съ медвѣдемъ“. Да что имъ нужно: „Птичка Божія не знаетъ ни заботы, ни труда, хлопотливо не свиваетъ долговѣчнаго гнѣзда...“ Самъ старикъ прекрасно знаетъ причину идеальности ихъ общины: „Не всегда мила свобода тому, кто къ нѣгѣ приученъ“. Вотъ ужъ Земфира нѣсколько подозрительно восхищается городомъ: „Но тамъ огромныя палаты, тамъ разноцвѣтные ковры, тамъ игры, шумные пиры, уборы дѣвъ тамъ такъ богаты...“ Не суждено ли и этой общинѣ пастъ, подобно библейскому Адаму, по волѣ женщины, и не стремится ли она туда,— правда, пока еще не очень сильно:—все же она дочь этого племени—туда, откуда истомленный, измученный пришелъ Алеко? Можетъ быть, этимъ и объясняется, почему она, единственная изъ Цыганъ, имѣетъ у Пушкина свое имя и при первомъ же появленіи Алеко находится рядомъ съ нимъ, тоже по—своему нѣсколько противостоя картинѣ слитности природы съ людьми?

Во всякомъ случаѣ, нужно согласиться съ Вячеславомъ Ивановымъ, что „прочнѣйшимъ основаніемъ свободы, въ смыслѣ соціологическомъ, является, по смыслу поэмы, бѣдность“. Вотъ эта то бѣдность, или вѣрнѣе, отсутствіе собственности въ связи съ полной зависимостью ихъ отъ природы, и обусловливаетъ то скудное, но прочное счастье, которое вѣдомо этой идеальной общинѣ. Въ ея основѣ, можетъ быть, и дѣйствительно лежитъ нѣкая религіозная идея смиренной покорности предъ высшимъ началомъ, интуитивно ими ощущаемымъ въ столь близкой и понятной имъ природѣ. Что они соизмѣряютъ всѣ свои поступки и движенія съ ней, не подлежитъ сомнѣнію.

„Чредою всѣмъ дается радость; что было, то не будетъ вновь...“ этотъ мудрый законъ, обязывающій къ смиренію и ко всепрощенію, развернуть во всѣмъ своемъ трагическомъ для человѣка величіи въ космосъ, во всей вселенной. И благо тѣмъ, кто, проникаясь, слѣдуетъ ему. „Старикъ отецъ одинъ сидѣлъ и на погибшую глядѣлъ въ нѣмомъ бездѣйствии печали“, именно *бездѣйствии*. Ибо покорная личность, ощущая всю свою зависимость отъ природы, не знаетъ и не можетъ знать протеста противъ кого бы то ни было. „Мы робки и добры душою... прости, да будетъ миръ съ тобою...“ Точь въ точь, какъ Платонъ Каратаевъ, который любитъ жизнь въ ея страданіяхъ, любитъ французовъ и собаку и людей и покорно переноситъ всѣ невзгоды жизни. Является даже соблазнъ сказать, что и въ этомъ отношеніи Пушкинъ предвосхитилъ весь путь русской литературы. И идеальная русская община славянофиловъ, которая зиждется на покорности и полной согласованности воли единичной съ волей общественной, и старецъ Зосима, и блаженный князь Мышкинъ Достоевскаго, и идеальный анархизмъ религіознаго характера Толстого, и даже соборный анархизмъ Вячеслава Иванова — все, все восходитъ къ старику — цыгану, который рекъ: „оставь насъ гордый человѣкъ, мы дики, нѣтъ у насъ законовъ, не нужно крови намъ и стоновъ... мы робки и добры душою...“ ты хоть и золь и смѣль—все же прости! „да будетъ миръ съ тобою!..“

И, можетъ быть, Толстой, никогда не любившій Пушкина, потому вдругъ пришелъ въ восторгъ отъ „Цыганъ“, что почуялъ нѣчто родственное своимъ идеаламъ въ религіозной патріархальности старика. Вѣдь дѣло было въ 60-хъ годахъ, тогда, когда образы изъ Войны и Мира, а между ними и образъ Платона Каратаева, уже, можетъ быть, витали предъ нимъ.

Да, старикъ—цыганъ, можетъ быть, дѣйствительно предтеча всѣхъ русскихъ рѣшеній великихъ вопросовъ человѣчества, для этого здѣсь достаточно намековъ и на соціологическія и на религіозныя основанія всѣхъ будущихъ рѣшеній.

Но все же вопросъ: какъ самъ Пушкинъ относится къ нимъ? куда направленъ проникновенный взоръ художника: въ отдаленное ли прошлое—въ счастливое дѣтство человѣка, или въ отдаленное будущее, какъ думаетъ Вячеславъ Ивановъ? Представляетъ ли идеальная община цыганъ золотой вѣкъ въ прошломъ или въ будущемъ?

Мнѣ думается, что первое правильнѣе, что, платя дань Ж. Ж. Руссо, Пушкинъ рисуеъ цыганъ для того, чтобы какъ можно выпуклѣе выявить проблему индивидуализма—на фонѣ идеальнаго счастья лишь явственнѣе выступаетъ трагическая преступность индивидуалиста Алеко.

Да и вообще такая близкая и интимная связь съ природой, обуславливающая весь идеальный складъ характера цыганъ, возможна была лишь въ отдаленномъ прошломъ, но не въ отдаленномъ будущемъ, когда мы навѣрно еще дальше будемъ стоять отъ природы, чѣмъ теперь. Лишь на фонѣ иллюзорнаго дѣтства человѣчества нѣсколько правдоподобны цыгане. А мы вѣдь знаемъ, какъ Пушкинъ стремился къ правдоподобию.

„Лишь одна телѣга, убогимъ крытая ковромъ, стояла въ полѣ роковомъ; такъ иногда предъ зимою туманной утренней зарею, когда подѣмлется съ полей станица позднихъ журавлей и съ крикомъ вдаль на югъ несется, пронзенный гибельнымъ свинцомъ, одинъ печально остается, повиснувъ раненымъ крыломъ. Настала ночь; въ телѣгѣ темной огня никто не разложилъ, никто подъ крышею подъемной до утра сномъ не опочилъ...“ Вотъ этотъ—то израненный журавль, пронзенный гибельнымъ свинцомъ, приковываетъ затуманенный грустью взоръ трагическаго поэта. Для него нѣтъ спасенья, ибо не въ цыганахъ спасенье, ибо они въ прошломъ, а не въ будущемъ. Алеко одинъ остался съ своей израненой душой—потеряно послѣднее убѣжище для его томящагося я, и онъ снова будетъ влачить тяжкія цѣпи своей исключительности.

„Но счастья нѣтъ и между вами, природы бѣдные сыны: и всюду страсти роковыя, и отъ судебъ защиты нѣтъ“. Эти слова звучатъ грознымъ *memeto mori* — зловѣщимъ указаніемъ на общій съ желѣзной необходимостью развертывающійся путь исторіи человѣчества; здѣсь слышится неумолимый голосъ беспощадной судьбы, предназначающій трагическій путь, котораго не избѣгнетъ или, вѣрнѣе, не избѣгли цыгане. Удалятся и они отъ природы, потеряютъ свою врожденную мудрость, и гладкое чело избороздится первой морщинкой индивидуалиста.

Нѣтъ въ этой пьесѣ зова въ туманныя, пока еще и для творца, дали. Не улыбается изъ нея грядущее счастливое будущее; изъ нея смотрятъ опечаленныя очи художника, постигшаго въ этой антитезѣ двухъ міровъ сущность міровой трагедіи.

И Бѣлинскій, распинающійся за цивилизацію и пресловутый прогрессъ, по—своему безусловно правъ, когда говоритъ, что старый цыганъ, „несмотря на всю возвышенность своихъ чувствованій, — не высшій идеаль человѣка, ибо онъ лишь непосредственно разуменъ, еще не вышелъ изъ подъ опеки у природы и обычая. Иначе пришлось бы въ дикомъ состояніи видѣть свое призваніе и свою цѣль. И если старый цыганъ способствуетъ, самъ того не зная, къ преподанію намъ великаго урока, то не самъ собой, а черезъ Алеко, этого сына цивилизаціи“. Именно черезъ Алеко и въ Алеко выясняется весь смыслъ поэмы. Не великій урокъ преподноситъ намъ Пушкинъ, а великую проблему, не къ морали, принимающей и оправдывающей міръ, онъ насъ зоветъ, а къ психологіи, обнаженной психологіи страдальца Алеко, которая явственнѣе дѣлается отъ того, что ей противостоитъ элементарная душевная гармонія первобытнаго сына природы. Вотъ гдѣ смыслъ поэмы, вотъ гдѣ ея великое значеніе.

Въ уста цыгана Достоевскій вкладываетъ свой личный идеаль, свою русскую почву. „Смирись, гордый человѣкъ,

покорись, дерзкій человекъ,—побѣдишь себя, и станешь свободенъ, какъ никогда; начни великое дѣло, и ты узришь счастье, ибо поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его“.

Вячеславъ Ивановъ усматриваетъ въ этихъ словахъ привнесеніе политической тенденціи. Достоевскій, дескать, еще не освободился отъ пріемовъ публицистической критики. Онъ же толкуетъ слова цыгана такъ: „отметай изъ своего самоопредѣленія все эгоистически случайное и внѣшне обусловленное... и многообразными путями „умнаго дѣланія“ достигнешь чувствованія своей глубочайшей сверхличной воли, своего другого, сокровеннаго, истиннаго я“.

Мнѣ кажется, что здѣсь въ обоихъ толкованіяхъ разницы никакой. Такъ или иначе, но цѣль одна: освободиться отъ эгоистическаго и постигнуть сверхличное. Освободиться отъ того самаго начала личности, которое такъ давитъ современнаго индивидуалиста.

Мы все больны тяжелымъ недугомъ индивидуализма: онъ намъ не по силамъ, и намъ всѣмъ хочется вѣрить въ свое обновленіе, въ избавленіе отъ бремени нашего я.

Невозмутимой тишиной вѣетъ отъ патріархально-религіозной общины идеальныхъ цыганъ; хочется успокоиться на какой-нибудь иллюзіи, и мы приписываемъ Пушкину наше душевное состояніе, и намъ невольно начинаетъ казаться, что поэтъ предвосхищаетъ нашъ частный, желанный намъ идеаль.

## VI. ●

Широкія дали рисуются намъ въ этой трагической поэмѣ. Нѣтъ въ ней конкретныхъ предѣловъ, быта, времени и мѣста. Обнаженная проблема индивидуализма, выпукло представленная на фонѣ антитезы между счастливымъ дѣтствомъ человечества и тяжелымъ современнымъ настоящимъ.

Улыбка грусти озаряетъ страдальческое лицо человека нашего времени при видѣ этого счастливаго прошлаго.

И потому что проблема поставлена въ общемъ видѣ, нельзя установить форму этого произведенія, которая была бы характерна для той или иной эпохи.

Дивное сочетаніе формы античной трагедіи съ современной ему, поэту, байроновской поэмой; явное звучаніе греческаго хора, обычно изрекающаго великія истины—съ удивительнымъ, единымъ и сливающимся съ общимъ характеромъ произведенія преданіемъ объ Овидіи. И надъ всѣмъ этимъ рѣзетъ птичка Божія... дивная онтологическая пьеска, освѣщающая весь смыслъ, сюжетъ.

И именно потому, что проблема въ универсальномъ видѣ и именно потому что предѣлы ей не указаны опредѣленной эпохой, наша грусть растворяется въ общей тоскѣ, обвивающей все человѣчество, теряя такимъ образомъ свою остроту.

Художникъ грустилъ надъ всѣмъ міромъ, надъ всей нашей жизнью. Эту-то идею универсальной грусти по безоблачному счастью онъ воплотилъ въ эту случайную картину.

„Душа съ душою говоритъ“—душа художника чрезъ случайное, преходящее вѣщала намъ объ основной причинѣ тоски, что переживаемъ мы, глядя на случайныхъ людей, какъ зерна случайно раскиданныя по огромной груди матери-природы, съ корнемъ вырванныя изъ нея;—какъ зерна, они же случайно погибнуть.

Причины этой неизбѣжной тоски—наша исключительность, наша разрывность съ космосомъ и вытекающее изъ нея одиночество.

Да, поэма лишена конкретности, лишена индивидуальныхъ красокъ, поставлена въ универсальной формѣ безъ всякой зависимости отъ быта, мѣста и времени.

Но это не идеализація, это чудо—тайна всякаго художественнаго синтеза, всегда символическаго, всегда скрывающаго отъ насъ случайныя конкретности, преходящія несовершенства.

**А. Долининъ (Искозъ).**

## Природа въ поэзіи А. С. Пушкина.

*Рефератъ читанный въ Пушкинскомъ Семинаріи Спб. Высшихъ Женскихъ (Бестужевскихъ) курсовъ 21 янв. 28 янв. и 3 февр. 1913 г.*

Природа окружаетъ человѣка темною тайной. Тайна мерцаетъ въ лазурной высотѣ неба. О ней покоятъ звѣзды. О ней воеетъ ночной вѣтеръ. О тайнѣ говоритъ невѣдомымъ языкомъ море, съ шумомъ набѣгая на прибрежныя камни. О ней напоминаетъ бѣглый солнечный лучъ. О тайнѣ шепчетъ рой ночныхъ видѣній, встающихъ при желтомъ свѣтѣ луны. Тайна поднимается блѣднымъ туманомъ надъ шумящимъ лѣсомъ.— Человѣкъ ищетъ и не можетъ подыскать золотого ключа къ таинственно закрытымъ дверямъ ея царства. Человѣкъ не въ силахъ вскрыть ея сущность, сущность всѣхъ вещей.

Одни изъ людей стоятъ близко къ природѣ. Они чувствуютъ ея обнаженную душу и души всѣхъ вещей. Для нихъ—она полна жизненной энергіи. Они улавливаютъ ухомъ біеніе ея большого сердца. Ея ритмъ, управляющій законами всѣхъ явленій. Они слышатъ тихое вѣяніе тайны.

Другіе равнодушно проходятъ мимо проявленій ея загадочнаго лика. Они построили себѣ свой собственный міръ вещей. Лишенный тайны. Лишенный призрачныхъ видѣній. Лишенный тѣней. Въ немъ, въ этомъ реальномъ мірѣ, все просто, обычно, понятно и ясно. Природа мертва для нихъ. Ея красота безжизненна. Раскрашенная яркими красками декорация театра.—Но иногда и для нихъ наступаютъ мгновенья. Таинственныя мгновенья, когда спадаютъ внизъ пестрыя одежды культуры. Развязываются темныя повязки закрывавшія ихъ глаза. И вмѣсто привычнаго міра вещей вырастаютъ передъ ними причудливыя коллонады вдаль убѣгающихъ призрачныхъ зданій. Раскрываются знакомыя мертвыя формы вещей, и обнажаются

души предметовъ. вмѣсто обычныхъ прямыхъ линій, идущихъ стройными рядами,—передъ ними въ хаотической пляскѣ, несутся фантастическими изломами—причудливыя кривыя. Тогда природа говоритъ и съ ними... Проблема о сущности міровой жизни, о сущности природы всегда являлась жгучимъ вопросомъ для человѣка, начиная съ древнихъ временъ. Отвѣты на нее воплощались и въ религиозныхъ мифахъ, и въ метафизическихъ теоріяхъ философа, и въ дисциплинахъ отдѣльныхъ наукъ, и въ поэтическихъ созданіяхъ поэта. Не была чужда эта проблема и Пушкину. И онъ пытался разрѣшить взаимное соотношеніе природы и человѣка. Разсматривая отдѣльныя явленія природы, Пушкинъ пришелъ къ определенному разрѣшенію поставленнаго вопроса. Пересмотримъ и мы въ этомъ же порядкѣ все содержаніе его поэзіи.

### Воздушная стихія.

Воздушная стихія описывается Пушкинымъ въ лицѣ ея представителей: неба, солнца, луны, звѣздъ, облаковъ и вѣтра. Небо поэтъ одаряетъ многоцвѣтными эпитетами. Отмѣчаются его краски, начиная съ синяго цвѣта: „синій сводъ“ (Желаніе), „яркая синева“ (Русл. и Людм., V п., 252). „синее“ (Сказск. о Царѣ Салт.) „синева густая и темная“ (Камен. Гость). Также отмѣчена поэтомъ голубая и лазурная окраска небесъ: „лазурныя небеса“ (Русл. и Людм. п. II, 384.), „ясная лазурь“ (Отр. 1824 г.), „вѣчно-голубое“ (Для бер. отч. дальн.), „небеса своды сіяютъ въ блескѣ голубомъ“ (ib.).

Одиноко стоитъ упоминаніе о зеленомъ цвѣтѣ неба: „сводъ небесъ зелено-блѣдный“ (А. А. Олениной) Перечисленныя краски неба бываютъ въ хорошую погоду, при яркомъ дневномъ свѣтѣ. Краски мѣняются въ зависимости или отъ непогоды, или отъ слабаго освѣщенія: „темный небосклонъ“ (Отр. 1822 г.), „сводъ неба мракомъ обложился“ (Вадимъ), „мглою волнистою покрыты небеса“ (Осень), „сѣдыя небеса“ (Русл. и Людм. п. II, 289), „мутное небо“, (Зимнее утро), „а небо?... точный дымъ“ (Камен. Гость), „полусвѣтлый небо-

склонъ“ (Вадимъ), „блѣдный небосклонъ“ (Ев. Он., гл. II, XXVIII). Здѣсь мы видимъ постепенное измѣненіе красокъ: переходъ отъ темнаго тона къ блѣдному черезъ синіе, голубые, зеленые и сѣрые оттѣнки.—Отдѣльно стоитъ упоминаніе о вечернемъ небѣ, освѣщенномъ свѣтомъ умирающаго солнца: „золотыя небеса“ (Мѣдн. Всадн., вступленіе). А также небо въ бурю, освѣщенное бѣглыми молніями: „небо въ блескахъ безъ лазури“ (Буря). Для выраженія спокойнаго состоянія неба поэтъ употребляетъ эпитеты: „прозрачное“ (Полтава, п. II), „ясный небосклонъ“ (Городокъ), „ясныя какъ радость небеса“ (Желаніе), „тихий небосклонъ“ (Русл. и Людм., п. IV, 195), „успокоенныя небеса“ (Туча), „безоблачный небосклонъ“ (Дом. въ Колом.), „безмятежныя пустыни неба“ (Ев. Онѣг., гл. II, X).

Отдаленность неба отъ земли также выражена въ эпитетахъ: „дальняя вышина“ (Къ Батюшкову), „дальній небосклонъ“ (Аквилонъ), „дальній сводъ небесъ“ (Ев. Он., гл. III, XVI), „отдаленный сводъ“ (Цыганы), „дальнія небеса“ (Казакъ).

Небо южныхъ странъ поэтъ называетъ „знойнымъ небосклономъ“ (Кавк. Плѣн., II) и „полуденнымъ“ (Желаніе).

Поэтъ любитъ изображать небо въ видѣ полога или занавѣси, раскинутой надъ землею:

„Прозрачно легкая завѣса  
Объемлетъ небо...“ (Странствіе Он.).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Какъ шитый пологъ, синій сводъ,  
Пестрѣтъ частыми звѣздами.“ (Опричникъ).

Или, въ стихотвор. „Элегія“

„небесъ лазурная завѣса“...

Только одинъ разъ упоминаетъ поэтъ о „пустыхъ“ небесахъ (Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума). Часто онъ украшаетъ сводъ неба звѣздами:

„Снѣгъ скрипѣль и синій небосклонъ,  
Безоблаченъ, въ звѣздахъ сіяль морозно.“ (Дом.  
въ Кол., гл. XLIII.).

Этотъ мотивъ повторяется въ другомъ мѣстѣ:

„синій сводъ

Пестрѣетъ частыми звѣздами“ (Опричникъ).

Или же, еще въ одномъ отрывкѣ 1824 года:

„Надо мной въ лазури ясной

„Свѣтитъ звѣздочка одна.

Въ сказкѣ „О царѣ Салтанѣ“ проводится параллель между небомъ, усѣяннымъ звѣздами, и моремъ, покрытымъ волнами:

„Въ синемъ небѣ звѣзды блещутъ,

„Въ синемъ морѣ волны хлещутъ.“

Кромѣ звѣздъ поэтъ иногда рисуетъ на фонѣ небесъ луну:

„яркая луна

„Блеститъ на синевѣ густой и темной.“ (Кам. гость).

То же и въ поэмѣ „Цыганы“:

„Подъ отдаленнымъ сводомъ

„Гуляетъ вольная луна.“

Иногда же поэтъ изображаетъ небо, покрытое тучами:

„Небо тучами покрыто“ (Кам. Гость).

Въ стихотвореніи „Аквилонъ“:

„Недавно черныхъ тучъ грядой

Сводъ неба глухо облекался.“

Бѣгло упоминаетъ поэтъ о небесномъ пространствѣ въ связи съ солнцемъ:

„...солнышко, ты ходишь круглый годъ по небу...“

(Ск. о Мертв. Цар.)

Мы видимъ, что небо украшается Пушкинымъ и солнцемъ, и луною, и звѣздами, и облаками. А также встрѣчается въ одномъ мѣстѣ у поэта фонъ синяго неба, украшеннаго изломами снѣжныхъ горъ:

На небѣ синемъ и прозрачномъ  
Сіяли груди вашихъ горъ “ (Странствіе Он.)

Погода въ жизни народа, занимающагося или земледѣліемъ, или скотоводствомъ,—играетъ огромную роль. Предвидѣнье погоды помогало человѣку въ суровой борьбѣ за существованіе. И съ древнихъ временъ существовали знаки, испытанные на опытѣ многихъ поколѣній, по которымъ угадывалась будущая погода. Поэтъ въ стихотвореніи „Примѣты“ упоминаетъ о небѣ, какъ предвѣстникѣ погоды. По краскамъ его въ вечерѣющіе сумерки, пастухъ и земледѣлецъ предсказываютъ погоду слѣдующаго дня:

„Пастухъ и земледѣль въ младенческія лѣты,  
Взглянувъ на небеса, на западную сѣнь,  
Умѣютъ ужъ предрѣчь и вѣтръ и ясный день,  
И майскіе дожди, младыхъ полей отраду,  
И мразовъ ранній хладъ, опасный винограду.“

Въ „Подражаніяхъ Корану“ поэтъ рисуетъ смѣлую красочную картину всего мірозданія: небесные своды держатся въ воздушномъ пространствѣ Богомъ, подобно тому какъ древніе представляли себѣ землю, которую держитъ на своихъ плечахъ могучій Атлантъ:

„неба своды,  
Творецъ, поддержаны тобой,  
Да не падутъ на сушь и воды  
И не подавятъ насъ собой.“

Такими штрихами поэтъ представилъ намъ небеса.

*Солнце* у Пушкина не обладаетъ непосредственной жизненной энергіей. Солнце онъ называетъ немногими эпитетами. Отмѣчается его цвѣтъ: „красное“ (Ск. о Мертв. Цар.) — эпитетъ, любимый народной поэзіей, „златой Фебъ“ (Желаніе), „яркое“ (Примѣты), „солнца ясный ликъ“ (Аквилонъ), „утра яркое свѣтило“ (Моему Аристарху), „свѣтъ нашъ—солнышко“ (Ск. о Мертв. Цар.) Или же поэтъ отмѣчаетъ теплоту его лучей: „знойное“ (Альфонсъ).

Въ непогоду солнце встрѣчается у поэта въ сочетаніи съ туманомъ: „въ туманѣ спрятанное“ (Мѣдн. Всадн., вступленіе). Одинокъ стоятъ эпитеты солнца „святое“ (Вакхич. пѣсня), а также „небесъ вѣчный житель“ (Кольна). Поэтъ употребляетъ по отношенію къ солнцу эпитеты: „свѣтило дня“ (Къ сестрѣ), что встрѣчается и у Батюшкова: „Уже свѣтило дня на западѣ горитъ“ (На разв. замка въ Швеціи). И на ряду съ этимъ Пушкинъ варьируетъ это же выраженіе, употребляя эпитетъ съ нѣсколькимъ инымъ оттѣнкомъ: „дневное свѣтило“ (Погасло дневн. свѣт.), что также является общимъ съ языкомъ Батюшкова:

„Свѣтило дневное ужъ къ западу текло“ (Умирающій Тассъ).

Поэтъ называетъ солнце именемъ бога Геліуса. Хотя нужно замѣтить, что только разъ, и то въ отрывкѣ антологическаго характера:

„Геліось, серебрянымъ лукомъ звенящій“ (Черн. набр. 1822 г.)

Чаще поэтъ называетъ солнце именемъ бога Аполлона-Феба, который въ древней Греціи никогда не былъ богомъ солнца. Его слили въ одинъ обликъ съ Геліосомъ и сдѣлали богомъ солнца стоики. Имъ это было нужно для аллегорическаго толкованія религіозныхъ мифовъ. Пушкинъ нѣсколько разъ употребляетъ этотъ аллегорическій образъ:

„...яркіе лучи златого Феба“... (Желаніе).

Или въ стих. „Черепь“:

„Сквозь эту кость не проходилъ  
Лучъ... Аполлона...“

Интересно, что Батюшковъ часто вмѣсто слова „солнце“ употребляетъ „Фебъ“. Оно вошло въ его привычный языкъ. Срослось съ понятіемъ солнца:

„И раскаленный Фебъ съ безоблачнаго свода  
Обиліемъ поля счастливыя дарить...“ (Посланіе).

Жуковскій, хотя не такъ часто, какъ Батюшковъ, пользуется этимъ же символическимъ выраженіемъ:

„Фебъ златозарной,  
Ликъ свой явивши,  
Все оживиль...“ (Майское утро).

Пушкинъ же называетъ солнце Аполлономъ всего два раза. У него мы встрѣчаемся лишь съ пережиткомъ этого выраженія. Эпитетъ солнца „яркое“ звучитъ постояннымъ прилѣвомъ. Лучи солнца въ противоположность блѣднымъ лучамъ луны называются „яркими“ (Желаніе).

Кромѣ того, солнечные лучи называетъ поэтъ „животворными“ (Черепъ), дающими жизнь всему живому. У Пушкина встрѣчается красивое сравненіе солнца съ лампадой, зажженной рукою Бога:

„Зажегъ ты солнце во вселенной,  
Да свѣтитъ небу и землѣ,  
Какъ лень, елеемъ напоенный,  
Въ лампадномъ свѣтитъ хрусталѣ“ (Подраж.  
Корану).

Солнце послѣ зимы ведетъ весну:

„Сводишь  
Зиму съ теплою весной“... (Ск. о Мертв. Цар.)

Солнце въ народной поэзіи одарено всевидѣньемъ. Все передъ нимъ открыто. Оно съ высоты озираетъ распростертую внизу передъ нимъ землю. Пушкинъ отмѣчаетъ эту же черту въ сказкѣ „О Мертвой Царевнѣ“:

Всѣхъ насъ видишь подъ собой“...

Солнце у поэта находится въ непрерывномъ движеніи:

„Свѣтъ нашъ солнышко! Ты ходишь  
Круглый годъ по небу...“ (Ск. о Мертв. Цар.)

Въ стих. „Къ Овидію“:

„Солнце ясное катилось надо мною...“

Въ поэмѣ „Цыганы“: „Солнце красное взойдетъ“... Солнце

или „ходить“, или „катится“, или „всходит“. Въ „Ев. Он.“ встрѣчаемъ сочетаніе солнца и сверкающаго въ его лучахъ инея:

„На солнцѣ иней въ день морозный.“ (гл. V, IV).

Такими безжизненными чертами рисуетъ поэтъ солнце. Въ иномъ родѣ луна.

Луна у Пушкина одарена жизненной энергіей и чародѣйственнымъ вліяніемъ на человѣка. Онъ ее называетъ многочисленными эпитетами, которыми подмѣчаетъ тончайшія линіи ея измѣнчиваго лика. Эпитеты, характеризующіе ея мѣняющійся цвѣтъ, начинаются съ цвѣта золота и кончаются блѣдными тонами серебра.

Онъ называетъ ее „золотая“ (Сраж. рыц.), „полумѣсяць золотой“ (Гробъ Анакреона), „мѣсяць златорогій“ (Егип. ночи), „красный мѣсяць“ (Русалка), „серебряная“ (Русл. и Людм., п. IV, 164.) „серебристая“ (Кавк. Плѣн., I), „мѣсяць блѣдный“ (Отр. 1833 г.).

Луна мѣняетъ часто свой обликъ у поэта. Она, подобно Протею, являетъ свой образъ въ многоцвѣтныхъ формахъ. Она „двурогая“, (Русл. и Людм., п. VI, 140,) у ней „младой двурогій ликъ“, (Ев. Он. гл. V), она „позолоченный рожокъ“ (Ск. о Мертв. Цар.), „мѣсяць круглолицый“ (Ск. о Мертв. Цар.). Луна является поэту или „какъ блѣдное пятно“ (Зимн. утро), или „какъ привидѣніе“ (Ненастн. день потухъ). Или луна, подобно солнцу, является у поэта въ образѣ „небесной лампы“ (Ев. Он., гл. II, XXII).

Интересно, что „ламподой“ представляетъ себѣ луну и Жуковскій. Въ одномъ изъ его приведеній мы читаемъ:

„Ему луна сквозь темный боръ  
„Лампадой таинственной свѣтитъ“ (Подробн.  
отчетъ о лунѣ).

Или луна у Пушкина принимаетъ видъ лебедя:

„И тихая луна, какъ лебедь величавый,  
Плыветъ въ сребристыхъ облакахъ“ (Восп. въ  
Цар. Селѣ).

У Жуковского есть и это сравненіе луны съ плывущимъ лебедемъ:

„И свѣтлымъ лебедемъ луна,  
„По блѣдной синевѣ востока,  
„Плыла тиха и одинока.“ (Подробн. отч. о лунѣ).

Подобно тому, какъ солнце поэтъ представляетъ въ образѣ бога Аполлона, такъ и луну онъ отождествляетъ съ атрибутомъ богини Артемиды и дѣлаетъ ее самой богиней:

Ужъ на темный небосклонъ  
„Всходитъ блѣдная Діана“ (Отр. 1822 г.)

Или въ „Ев. Онѣгинъ“:

„водъ веселое стекло  
„Не отражаетъ ликъ Діаны“. (I гл., XLVII).

И еще упоминаетъ раза два о лунѣ—Діанѣ. Интересно прослѣдить исторію этого аллегорическаго образа. Артемиды изображалась, какъ богиня луны и ночи, съ факеломъ въ рукѣ. Факель былъ ея красивымъ атрибутомъ. У Жуковского луна отождествляется съ факеломъ Артемиды:

„Гдѣ мы, при факелѣ Діаны,  
„Вокругъ дерноваго стола,  
„Стучимъ стаканами въ стаканы“ (Къ Делію).

Здѣсь еще нѣтъ луны, какъ самого лика богини. Но уже Батюшковъ смѣлой игрой фантазіи представилъ луну божественнымъ лицомъ Артемиды:

„Въ священномъ сумракѣ, въ сіяніи Діаны,  
Вы, Музы, любите сплетаться въ хороводъ“ (Гезіодъ  
и Омиръ).

Отъ Батюшкова это красивое наслѣдіе переходитъ къ Пушкину. Послѣ Пушкина Фетъ особенно рельефно подчеркнул образъ луны въ ликѣ Артемиды:

„Но уже свѣтитъ съ небесъ дѣвы измѣнчивый ликъ“.  
(Изд. Маркса, т. I, стр. 184).

Красота луны отмѣчена поэтомъ въ пышныхъ эпитетахъ „Ночей царица“ (Фавнъ и паст.), „царица ночи“ (Русл.

и Людм., п. II, 385), „богиня тайнь и вздоховъ нѣжныхъ“ (Ев. Он., гл. II, X), „прекрасная“ (Фавн. и паст.).

Но такъ же, какъ измѣнчивъ обликъ луны, измѣнчивы ея состоянія. Луна—живое существо, подверженное всѣмъ капризамъ минутнаго настроенія. Она „таинственная“ (Блаженство), „молчаливая“ (Фавн. и паст.), „пустынная“ (Окно), „уединенная“ (Окно), „вдохновительная“ (Ев. Он., гл. III, XX), „вольная“ (Цыганы), „тихая“ (Восп. въ Цар. Селѣ), „печальная“ (Ев. Он. гл. V, IX).

Луна бываетъ различной въ зависимости отъ состоянія погоды. Въ ясную погоду: она „безоблачная“ (Русл. и Людм., п. III), „мѣсяцъ ясный“ (Ск. о Мертв. Цар.). Въ ненастье: луна „отуманенная“ (Ев. Он., гл. II, XXVIII), „туманная“ (Напол. на Эльбѣ), у ней „мутная игра“ (Бѣсы).

Иногда луна бываетъ „молодой“ (Цыганы), иногда „утренней“ (Ев. Он., гл. V, XXX), или, наоборотъ, „вечерней“ (Мое завѣщаніе). И одинъ разъ поэтъ даетъ лунѣ эпитетъ по времени года: „осенняя“ (Уныніе).

Свѣтъ луны блѣдный, какъ и ея лучи:

„По бѣлымъ хижинамъ аула  
Мелькаетъ блѣдный свѣтъ луны“. (Кавк. Плѣн., ч. II).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Плыветъ и блѣдными лучами  
Предметы освѣтила вдругъ“ (Восп. въ Царск.  
Селѣ).

Въ поэмѣ „Братья-Разбойники“:

„Затихло все, теперь луна  
Свой блѣдный свѣтъ на нихъ наводитъ“.

На ряду съ блѣднымъ свѣтомъ, свѣтъ луны „серебристый“:

„Въ облакахъ луна сребрила  
Дальни небеса“. (Казакъ).

Или же свѣтъ луны „тусклый“:

„Зачѣмъ изъ облака выходишь,  
Уединенная луна,  
И на подушки сквозь окна  
Сіянье тусклое наводишь?“ (Мѣсяцъ).

Свѣтъ луны также „туманный“:

„И мѣсяцъ молчаливый  
Туманный свѣтъ ліеть“ (Фавнъ и паст.).

Въ стих. „Элегія“:

„Счастливъ...  
Кого луны туманный лучъ  
Ведеть къ полночи сладострастной“...

Поэтъ отмѣчаетъ вмѣстѣ со слабою силою и трепетность луннаго свѣта:

„При свѣтѣ трепетномъ луны  
Сразились витязи жестоко“ (Русл. и Людм.,  
ч. II, 460—461).

Въ другомъ мѣстѣ:

„И мѣсяцъ, дальнихъ тучъ покинувъ темны сѣни,  
Дрожащій, слабый свѣтъ на западъ изливаль“ (Напол.  
на Эльбѣ).

Пушкинъ называетъ свѣтъ луны туманнымъ, тусклымъ, трепетнымъ, блѣднымъ, серебристымъ, противопоставляя его яркому свѣту солнца.

Вообще, поэтъ часто подчеркиваетъ блѣдность луны. Она „блѣдная“ (Мѣдн. Всадн., II), „блѣдный мѣсяцъ“ (Отр. 1833 г.), „какъ блѣдное пятно“ (Зимн. утро), „блѣдная Діана“ (Домъ въ Кол., гл. XXXII), „серебряная“ (Русл. и п. Людм., III), „серебристая“ (Кавк. Плѣн., ч. I), встрѣчаются чаще, чѣмъ эпитетъ „золотая“, повторенный лишь три раза. „Яркой“ луна названа разъ, и то въ примѣненіи къ страстной и знойной испанской ночи, гдѣ всѣ краски необычно-ярки. (Кам. гость).

Но кромѣ того, поэтъ улавливаетъ и другіе оттѣнки луннаго свѣта, его дѣйствіе на природу и человѣка.

Свѣтъ луны томный, наводящій сладкую нѣгу:

„Луна сіяла,  
И томнымъ свѣтомъ озаряла  
Татьяны блѣдныя красы“. (Ев. Он., гл. III, XX).

Или въ другомъ мѣстѣ:

„Она съ безоблачныхъ небесъ  
На доли, на холмы, на лѣсъ,  
Сіянье томное наводитъ“. (Бахчис. фонт.).

Въ связи съ блѣдностью луны есть интересное упоминаніе объ ея холодномъ свѣтѣ:

„Мѣсяць блѣдный свѣтитъ хладно“. (Отр. 1833 г.).

Въ другомъ же мѣстѣ поэтъ упоминаетъ объ ея „тепломъ“ свѣтѣ: „гдѣ луна теплѣе блещетъ“ (Талисманъ).

Луна соединяетъ въ себѣ два элемента: холодное и горячее. И проявляетъ то одно, то другое. И сообразно съ этимъ мѣняется настроеніе человѣка. Луна тепло свѣтитъ — радость царитъ въ душѣ человѣка. Луна холодно свѣтитъ — смутная печаль волнуетъ его. Луна у Пушкина обладаетъ непосредственнымъ вліяніемъ на человѣка. Ей даны всѣ чарованія волшебницы:

„Подъ вліяніемъ луны  
Все полно тайнъ и тишины,  
И вдохновеній сладострастныхъ“ (Бахч. фонт.).

Заклинаніе возможно лишь въ лунную ночь. Чары ночи и чары луны, соединяясь, даютъ сверхъ естественную силу человѣческимъ словамъ:

„О, если правда, что въ ночи,  
Когда покоятся живые,  
И съ неба лунные лучи  
Скользятъ на камни гробовые;  
О, если правда, что тогда  
Пустѣютъ тихія могилы,—  
Я тѣнь зову, я жду Леилы“ (Заклинаніе).

Поэтъ въ одномъ стихотвореніи рассказываетъ о той обстановкѣ, при которой ему вручила добрая волшебница спасительный амулетъ:

„Тамъ, гдѣ море вѣчно плещеть  
На пустынные скалы;  
Гдѣ луна теплѣе блещеть  
Въ сладкій часъ вечерней мглы;  
Гдѣ въ гаремахъ, наслаждаясь,  
Дни проводитъ мусульманъ, —  
Тамъ волшебница, ласкаясь,  
Мнѣ вручила талисманъ“ (Талисманъ).

Этотъ амулетъ будетъ обладать волшебною силой. Онъ данъ дружеской рукой чародѣйки въ теплую южную ночь подъ лучами знойной луны. Всѣ демоническія силы особенно сильны въ лунныя ночи. Луна на нихъ дѣйствуетъ возбуждающимъ образомъ. Зеленокудрая русалка появляется на берегу въ призрачныя ночи полнолунія:

„Мы ночью всплываемъ,  
Насъ грѣетъ луна“ (Русалка).

Какъ солнце согрѣваетъ человѣка, такъ луна согрѣваетъ демоническія силы. Луна даетъ силу ихъ призрачнымъ тѣламъ. Зеленый блескъ — глазамъ. Алая краски — губамъ. Звонкія ноты — голосамъ. Быстроту и легкость ихъ движениямъ. Ёдетъ въ лѣсу богатырь. Жуткая тишина. Шелестъ листьевъ. Одинокій крикъ ночной птицы. И вдругъ онъ слышитъ странные дѣвичьи голоса. Громкій смѣхъ. Шорохъ и качанье вѣтвей. Онъ выѣзжаетъ на открытую поляну. При желтомъ свѣтѣ луны онъ видитъ рой блѣдныхъ русалокъ:

„То лунной ночью видитъ онъ,  
Какъ будто сквозь волшебный сонъ,  
Окружены сѣдымъ туманомъ,  
Русалки тихо на вѣтвяхъ  
Качаясь, витязя младого

Съ улыбкой тихой на устахъ  
Манять, не говоря ни слова“. (Русл. и Людм.,  
п. IV, 212—218).

Такова сила луны.

Есть тайные знаки, по которымъ можно узнать—направлена ли чародѣйская сила луны противъ человѣка.

Или—она ему благопріятствуетъ. Однимъ изъ этихъ таинственныхъ указаній является положеніе луны на небосклонѣ. Если замѣчена человѣкомъ луна по правую сторону—будетъ счастье, удача, веселье. Если она замѣчена по лѣвую сторону,—будетъ несчастье, потеря, печаль:

„Я ѣхаль къ вамъ: живые сны  
За мной вились толпой игривой.  
И мѣсяць съ правой стороны  
Сопровождалъ мой бѣгъ ретивый.  
Я ѣхаль прочь: иные сны...  
Душѣ влюбленной грустно было.  
И мѣсяць съ лѣвой стороны  
Сопровождалъ меня уныло“ (Примѣты).

Въ рождественскихъ гаданьяхъ Татьяны Лариной вторично встрѣчается эта же таинственная примѣта:

„Вдругъ увидя  
Младой двурогій ликъ луны  
На небѣ—съ лѣвой стороны,  
Она дрожала и блѣднѣла“ (Евг. Он., гл. V,  
V—VI).

Луна, какъ и солнце, все время находится въ движеніи: то она „крадется“ (Мечтатель), „идетъ“ съ облаками (Сраж. рыц.), „пробѣгаетъ“ (Напол. на Эльбѣ), „плыветъ“ (Восп. въ Цар. Селѣ), „восходитъ“ (Отр. 1822 г.).

Или мѣсяць „тихонько по небу катился“ (Русалка), „взойдетъ и станетъ средь небесъ“ (Братья-Разб.), „укатился и въ небѣ свѣтломъ утонулъ“ (Мѣсяць), „луна текла туманною стезею“ (Окно), „скатилась за лѣса“ (Фавнъ и паст.), „перебѣгала“ (Русл. и Людм., п. V, 442).

Особенно красиво поэтъ отмѣтилъ свободный бѣгъ луны въ поэмѣ „Цыганы:“

„Взгляни: подъ отдаленнымъ сводомъ  
Гуляетъ вольная луна;  
На всю природу мимоходомъ  
Равно сіянье льетъ она;  
Заглянетъ въ облако любое,  
Его такъ пышно озаритъ,  
И вотъ ужъ перешла въ другое,  
И то не долго посѣтитъ.  
Кто мѣсто въ небѣ ей укажетъ,  
Примолвя: тамъ остановись!“

Луна у Пушкина не всегда бываетъ одинокой въ небесной обители. Онъ создаетъ вокругъ нея различныя обстановки. Окружаетъ ея плѣнительный ликъ новыми и новыми рамками. Луна рисуется иногда поэтомъ въ сочетаніи съ облаками:

„Луна въ воздушную обитель  
Спѣшитъ на темныхъ облакахъ“ (Кольна).

Въ другомъ произведеніи:

„И лучъ свой погасила  
За облакомъ луна“. (Фавнъ и паст.).

Въ балладѣ „Женихъ“:

„Чуть луна свѣтила изъ-за тучи“.

Или уже цитированное въ другомъ мѣстѣ:

„И тихая луна, какъ лебедь величавый,  
Плыветъ въ сребристыхъ облакахъ“ (Восп. въ  
Царск. Селѣ).

Но этотъ вѣнокъ изъ облаковъ вокругъ луны смѣняется у поэта ея образомъ, смутно выступающимъ изъ-подъ накинутого покрывала тумана:

„Сквозь волнистые туманы  
Пробирается луна“. (Зимн. дорога).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Луна плыветъ въ ночномъ туманѣ“. (Кавк. Плѣн., ч. I).

Или, въ стихотвореніи „Русалка“

„Туманъ надъ озеромъ дымился.

И красный мѣсяцъ въ облакахъ

Тихонько по небу катился“.

Здѣсь интересно замѣтить, что черезъ покрывало тумана ликъ луны принимаетъ красный цвѣтъ. Можно привести аналогичный примѣръ изъ Батюшкова:

„Лишь мѣсяцъ сквозь туманъ багряный ликъ уставишь  
Въ недвижныя моря...“ (Вечеръ).

Поэтъ не ограничивается небесной обстановкой для луны. Онъ создаетъ причудливое сплетеніе луны съ блескомъ морской пѣны:

„И блещетъ пѣна при лунѣ...“ (Вадимъ).

У Лермонтова мы встрѣчаемся съ этимъ же сочетаніемъ. Русалка плыветъ по рѣкѣ.

„И старалась она доплеснуть до луны

Серебристую пѣну волны...“ (Русалка).

Въ минутномъ капризѣ настроенія, поэтъ рисуетъ общій фонъ, на которомъ сплетены въ одно луна, и вечернее небо:

„Справа—западъ темнокрасный,

Слѣва—блѣдная луна“. (Отр. 1824 г.).

Иногда, поэтъ приближаетъ луну къ человѣку, отрывая ее отъ обычной обстановки. Таково соединеніе луны съ поединкомъ:

„Три дня мы билися: луна

Надъ боемъ трижды подымалась“ (Русл. и Людм.

п. VI, 106—107).

Или же поэтъ повторяетъ нѣсколько разъ одинъ и тотъ же мотивъ—луна и сидящая у окна дѣвушка:

„Въ облакахъ луна сребрила

Дальні небеса;

Подъ окномъ сидитъ уныла  
Дѣвица краса“ (Кавказъ).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Одна печальна подъ окномъ,  
Озарена лучомъ Діаны,  
Татьяна блѣдная не спитъ  
И въ поле чистое глядитъ“. (Ев. Он., гл. VI, II).

Въ „Домикѣ въ Коломнѣ“:

„Блѣдная Діана  
Глядѣла долго дѣвушкѣ въ окно“. (XXXII гл.).

Такъ представилъ поэтъ луну. Она носитъ у него черты и богини, и волшебницы, и гордой царицы, и капризной красавицы. Она не застывшій мертвый ликъ. Она живетъ. Принимаетъ причудливые образы. Мѣняетъ цвѣта своихъ яркихъ одеждъ. Переживаетъ тонкіе оттѣнки переходныхъ настроеній. То—она таинственна. То—ясна. То—она блѣдна, какъ переживающая болѣзнь. То—она блеститъ въ полномъ расцвѣтѣ силъ и здоровья. Ея свѣтокъ яркъ. Тогда она сіяетъ въ обаяніи своей золотой красоты, своихъ опьяняющихъ чаръ.

*Звѣзды* Пушкинъ изображаетъ чуждыми міровой жизни. Мертвымъ лучамъ ихъ не звенятъ въ отвѣтъ струны человеческой души. Всѣ упоминанія о звѣздахъ въ поэзіи Пушкина носятъ бѣглый и холодный характеръ.

Наряду съ солнцемъ и луною, поэтъ называетъ звѣзды „свѣтилами“:

Я помню твой восходъ, знакомое свѣтило...“ (Рѣдѣетъ  
облаковъ летуч. гряда).

Пушкинъ однообразно изображаетъ звѣзды въ видѣ сверкающаго хора или хоровода въ синей вышинѣ неба:

„На блѣдномъ небосклонѣ  
Звѣздъ исчезаетъ хороводъ“ (Ев. Он. гл. II,  
XXVIII).

У Лермонтова среди разнообразныхъ описаній звѣздъ встрѣчается подобное же изображеніе ихъ хороводомъ:

„Проснулся день, и хороводъ  
Свѣтилъ напутственныхъ исчезъ  
Въ его лучахъ...“ (Мцыри).

Въ видѣ хора звѣзды появляются у Пушкина два раза:  
„За хоромъ звѣздъ луна восходитъ“ (Бахчис.  
фонтанъ).

И въ „Ев. Онѣгинъ“:

„Свѣтилъ небесныхъ дивный хоръ  
Течетъ такъ тихо, такъ согласно“. (гл. V, IX).

У Лермонтова въ поэмѣ „Демонъ“ мы встрѣчаемся съ  
этимъ же изображеніемъ:

„Тихо плаваютъ въ туманѣ  
Хоры стройные свѣтилъ“.

Особенно же часто употребляетъ этотъ образъ Фетъ въ  
своихъ стихотвореніяхъ. Пушкинъ дѣлаетъ звѣзды небесными  
подругами луны:

„Ярче всѣхъ подругъ небесныхъ  
Луна въ воздушной синевѣ“. (Ев. Он., гл. VII, LII).

Луна отличается своей красотой въ кругу подругъ. Она  
„ярче“ каждой изъ нихъ. Ея красотою любятъ звѣзды:

„И обычай твой любя,  
Звѣзды смотрять на тебя“. (Ск. о Мертв.  
Цар.)

Изъ звѣздъ Пушкинъ отмѣчаетъ Венеру. Она—первая за-  
жигается въ наступающихъ сумеркахъ. И послѣдняя исчезаетъ  
на небосклонѣ утромъ, въ блескѣ разгорающейся зари. Ве-  
черней звѣздѣ поэтъ посвящаетъ трогательное обращеніе:

„Звѣзда печальная, вечерняя звѣзда!  
Твой лучъ осеребрилъ увядшія равнины,  
И дремлющій заливъ, и черныхъ скалъ вершины.  
Люблю твой слабый свѣтъ въ небесной вышинѣ...“  
(Рѣдѣеть облаковъ летуч. гряда).

Поэтъ отмѣчаетъ ея блѣдный свѣтъ, родственнѣй свѣту  
луны. Онъ „осеребрилъ“ равнины. „Серебрить“ болѣе сла-

бая степень блеска, чѣмъ „золотить“, что примѣняется для выраженія силы солнечнаго свѣта. Вечерняя звѣзда упоминается еще разъ поэтомъ, гдѣ онъ называетъ ее *Vesper*:

„Одинъ ночной гребецъ, гондолой управляя,

При свѣтѣ Веспера, по взморію плыветъ“ (Изъ Шенье)

Эта же звѣзда описывается поэтомъ и утромъ, при чемъ онъ называетъ ее эпитетомъ Афродиты—Венеры—Кипридой:

„Прекрасны вы, брега Тавриды.

. . . . .

При свѣтѣ утренней Киприды...“ (Отр. изъ стр. Ев. Он.).

Или же, утреннюю звѣзду поэтъ называетъ по мѣсту ея появленія „восточною“:

„Восточная звѣзда играла въ океанѣ“. (Напол. на Эльбѣ).

Говоря о лунѣ и звѣздахъ, Пушкинъ часто употребляетъ глаголь „плыть“, уподобляя небо—океану:

„...Звѣздъ ночныхъ, при блѣдномъ свѣтѣ  
Плывущихъ въ дальней вышинѣ“. (Къ Батюшкову).

Или въ другомъ мѣстѣ:

„Свѣтлые цари смеркающей ночи  
Плывутъ по небесамъ“. (Городокъ).

Падучая звѣзда отмѣчается поэтомъ въ связи съ ея таинственной примѣтой:

„Когда жъ падучая звѣзда  
По небу синему летѣла  
И разсыпалась, тогда  
Въ смятенѣ Таня торопилась,  
Пока звѣзда еще катилась,  
Желанье сердца ей шепнуть“. (Ев. Он., гл. V, VI).

Иногда поэтъ рисуетъ на небосводѣ звѣзды и облака:

„И слабо въ блѣдныхъ облакахъ  
Звѣзда пустынная сіяла“. (Наѣздники).

У Пушкина встрѣчается оригинальное сопоставленіе вечерней звѣзды и дѣвушки, подобно тому, какъ раньше мы видѣли вариацию этого же мотива — дѣвушка и луна:

„И дѣва юная во мглѣ тебя искала  
И именемъ своимъ подругамъ называла...“ (Рѣдѣть  
облаковъ летуч. гряда).

О звѣздахъ поэтъ больше не говоритъ ничего. Ихъ гармонія была нѣма для поэта. Душа звѣзды не раскрывается передъ душою человѣка. Душа человѣка не сливается въ одно стихійное цѣлое съ душою звѣзды.

У Лермонтова, пророкъ изгнанный людьми и лишенный ихъ общества, въ пустынѣ бесѣдуетъ со звѣздами:

„И звѣзды слушаютъ меня, лучами радостно играя...“  
(Пророкъ).

У Пушкина звѣзды безжизненными блестками украшаютъ блѣдно-синій пологъ небесъ.

*Облака* не нашли себѣ живого отраженія въ поэзіи Пушкина. Они, какъ солнце и звѣзды, непричастны къ шумной, окружающей человѣка, жизни.

Облака въ непогоду поэтъ называетъ эпитетами: „черныя“ (Аквилонъ), мрачныя“ (Зимн. утро), у нихъ „темныя сѣни“ (Напол. на Эльбѣ), они „бурныя“ (Аквилонъ), „громовыя“ (Кавк. Плѣн., ч. I).

Послѣ бури облака мѣняютъ свой видъ. Они—или „усталыя“ (Мѣдн. Всад., ч. II ч.), или „печальныя“ (Примѣты). Въ тихіе дни облака „блѣдныя“ (Мѣдн. Всадн., ч. II), „серебристыя“ (Восп. въ Царск. Селѣ), „сѣрыя“ (Осень), „сѣренькія“ (Стр. Ев. Он.), по своей окраскѣ. Или, если они освѣщены зарей „багровыя“ (Осгаръ). По своему качеству они получили отъ поэта эпитетъ „зыбкія“ (Окно).

Поэтъ часто описываетъ облака идущими грядою или полосой:

„Рѣдѣть облаковъ летучая гряда...“ (Рѣдѣть облаковъ  
летуч. гряда).

Въ стихотв. „Сраж. рыцарь“:

„Лѣнливой грядою идутъ облака...“

Въ стихотв. „Аквилонъ“:

„Недавно черныхъ тучъ грядой  
Сводъ неба глухо облекался“.

Въ стихотв. „Осень“:

„Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса...“

Или же, тучи изображаются въ видѣ пелены, окутавшей какой-либо предметъ:

„Одѣлись пеленою тучъ  
Кавказа спящія вершины...“ (Кавк. Плѣн., ч. I).

И въ бурю, и въ тихую погоду у поэта облака не мѣняютъ своего образа. Они застыли въ одномъ и томъ же поэтическомъ выраженіи. Пушкинъ не подмѣчаетъ въ нихъ живыхъ перемѣнъ, какъ это дѣлаетъ Лермонтовъ.

Въ спокойную погоду и у Лермонтова облака идутъ цѣпью:

„Цѣпью жемчужною  
Мчитесь вы, будто какъ я же изгнанники...“ (Тучи).

Совершенно иной видъ облаковъ у него въ бурю:

„Съ воемъ мимо,  
Подобно стаѣ скачущихъ звѣрей  
Толпою рѣзвыхъ, жадныхъ псовъ гонимой,  
Неслися другъ за другомъ облака,  
„Косматыя, какъ перья шишака“. (Аулъ Бастунджи).

Тучи у Пушкина или „идутъ“ (Сраж. рыц.), или „дымятся“ (Кавк. Плѣн. ч. I), или „виснутъ“ (Вадимъ), или „мчатся“ (Бѣсы), или „блуждаютъ“ (Анчаръ). Въ стихотв. „Туча“ поэтъ описываетъ печальный бѣгъ одинокой тучи послѣ бури:

„Послѣдняя туча разсѣянной бури!  
Одна ты несешься по ясной лазури,  
Одна ты наводишь унылую тѣнь,  
Одна ты печалишь ликующій день“.

Это повтореніе „Одна ты“ придаетъ удивительную живость облику одиноко несущейся тучи.—И рядомъ съ этимъ образомъ, полнымъ безсилія, поэтъ ставитъ другой—въ ореолъ могущества:

„Ты небо недавно кругомъ облежала,  
И молнія грозно тебя обвивала,  
И ты издавала таинственный громъ,  
И алчную землю почла дождемъ“ (Туча).

Иногда поэтъ соединяетъ съ тучами и другія вещи въ природѣ. У него—зефиръ играетъ облаками:

„И облакомъ зефиръ играетъ“ (Аквилонъ).

Или поэтъ, чтобы рѣзче выразить тѣсноту кавказскаго ущелья, сдавленнаго каменными стѣнами горъ, пользуется сочетаніемъ тучи и снѣга. Ущелье—каменный ящикъ. Наверху чуть видна полоса тучъ. Внизу—лежитъ полоса снѣга:

„Тѣсно и душно  
Въ дымномъ ущельѣ:  
Тучи да снѣгъ...“ (Отр. 1829 г.).

Въ стихотв. „Анчаръ“ блуждающая дождевая туча соединяется на общемъ фонѣ знойной пустыни съ Анчаромъ:

„И, если туча ороситъ,  
Блуждая, листь его дремучій,  
Съ его вѣтвей ужъ ядовитъ  
Стекаетъ дождь въ песокъ горючій“.

Въ другихъ освѣщеніяхъ тучи не встрѣчаются у поэта.

*Вѣтеръ* у Пушкина не разсматривается, какъ элементъ многосложной жизни міроваго космоса. Поэтъ не вскрываетъ его сущности. Онъ только описываетъ его, какъ явленіе, подмѣченное въ пестромъ потокѣ другихъ явленій.

У Пушкина вѣтеръ носитъ разнообразныя имена, зависящія отъ степени его силы: „вѣтерочекъ“, „вѣтерокъ“, „зефиръ“, „вѣтеръ“, „Борей“, „Эоль“, „вихоръ“, „аквилонъ“.

„Вѣтерочекъ“ и „вѣтерокъ“ часто встрѣчаются въ лицейскихъ стихотвореніяхъ поэта:

„Вѣтерочекъ  
Ранней порой  
Гонить листочекъ  
Съ рѣзвой волной. (Измѣны).

Въ посланіи „Къ Юдину“:

Въ воздухѣ кружить и вьется  
Съ дыханьемъ тихимъ вѣтерка“.

Въ стихотв. „Фавнъ и пастушка“:

„И нѣжна грудь открылась  
Лобзаньямъ вѣтерка“.

У Пушкина „зефиръ“ употребляется въ смыслѣ тихаго ласкающаго вѣтерка. Въ одномъ изъ своихъ произведеній, поэтъ упоминаетъ о „шопотѣ зефира:

„Зефиры прошептали“... (Фавнъ и паст.).

Въ стихотв. „Блаженство“ о зефирѣ поэтъ говоритъ:

„И колышетъ павиликой  
Тихо— вѣющій зефиръ“.

Въ другомъ мѣстѣ:

„Ночной зефиръ  
Струитъ эфиръ“ (Испанск. романсъ).

Въ стихотв. „Земля и море“ мы снова встрѣчаемся съ зефиромъ:

„По синевѣ море  
Зефиръ скользить и тихо вѣетъ  
Въ вѣтрила гордыхъ кораблей  
И чолны на волнахъ лелѣетъ“.

Батюшковъ постоянно пользуется словомъ „зефиръ“, въ смыслѣ легкаго вѣтерка. Онъ даетъ зефиру „тихія крылья“.

„Но я не къ счастью пробужденъ  
Зефира тихими крылами...“ (Пробужденіе).

Аквилонъ у Пушкина употребляется въ двоякомъ значеніи: и въ смыслѣ тихаго вѣтерка, и въ смыслѣ бурнаго вѣтра. Въ значеніи тихаго вѣтерка, онъ встрѣчается въ подражаніи „Пѣснѣ Пѣсней Соломона:

„Нардъ, алой и киннамонъ  
Благовоніемъ богаты:  
Лишь повѣтъ аквилонъ  
И закаплютъ ароматы“.

При характеристикѣ легкаго вѣтерка поэтъ всюду употребляетъ выраженія: „тихо вѣтъ“ (Земля и море), „чуть дышетъ“ (Восп. въ Царск. Селѣ), „прошепталъ“ (Фавнъ и паст.), „струить эфиръ“ (Испанск. романсъ), „скользить“ (Земля и море), „лелѣтъ челны“ (Земля и море), у него „дыханье тихое“ (Къ Юдину), „лобзанья“ (Фавнъ и паст.), „легкій шумъ“ (Русл. и Людм., п. V, 310). „легкій звукъ“ (Кавк. Плѣн., ч. I), и поэтъ называетъ его „тихо-вѣющимъ“ (Блаженство).

Такъ же часто встрѣчаются у Пушкина описанія „вѣтра“ — вторая степень по силѣ:

„Стоишь подъ ивою густою,  
И вѣтеръ сумраковъ, рѣзвись,  
На снѣжную грудь прохладой дуетъ,  
Играетъ локономъ власовъ,  
И ногу стройную рисуетъ  
Сквозь бѣлоснѣжный твой покровъ“ (Къ  
Юдину).

Иногда, у поэта вѣтеръ мчится въ аллегорическомъ образѣ древняго вѣтра — Эола (Æolus), при чемъ поэтъ даетъ ему эпитетъ „небесъ жилецъ“:

„Мчится лишь Эоль,  
Небесъ жилецъ“. (Обваль).

Сѣверный холодный вѣтеръ появляется у Пушкина въ ледяныхъ одеждахъ бога Борея (Boreas):

„Два только деревца, и то изъ нихъ одно  
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено;  
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,  
Чтобъ лужу засорить, ждуть перваго Борея...“ (Осень).

Вѣтеръ рисуется поэтомъ болѣе энергичными чертами. Онъ „дуетъ“ (Къ Юдину), „рѣзвится“ (Къ Юдину), „мчится“ (Обваль).

Бурный вѣтеръ у Пушкина является подѣ двумя названіями: вихорь и аквилонъ. Въ стихотв. „Аріонъ“ на корабль налетаетъ бурный вѣтеръ:

„Вдругъ лоно волнъ

Измязь съ налету вихорь шумный...“

Въ стихотв. „Анчаръ“:

„Лишь вихорь черный

На древо смерти набѣжить...“

Или въ другомъ мѣстѣ:

„И силенъ, воленъ былъ бы я,

Какъ вихорь, роющій поля,

Ломающій лѣса“

(Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума“).

Второе значеніе Аквилона (Aquila) у Пушкина — бурный сѣверный вѣтеръ. Поэтъ ему посвящаетъ отдѣльное стихотвореніе:

„Зачѣмъ ты, грозный аквилонъ,

Тростникъ болотный долу клонишь?

Зачѣмъ на дальній небосклонъ

Ты облака столь гнѣвно гонишь?

Недавно черныхъ тучъ грядой

Сводъ неба глухо облакался;

Недавно дубъ надъ высотой

Въ красѣ надменно величался.

Но ты поднялся, ты взыгралъ,

Ты прошумѣлъ грозой и славой,

И бурны тучи разогналъ

И дубъ низвергнулъ величавый“. (Аквилонъ).

Вѣтеръ, достигшій своей интенсивности, поэтъ называетъ эпитетами: „грозный“ (Аквилонъ), „черный“ (Анчаръ), „шумный“ (Аріонъ), „ломающій лѣса“, „роющій поля“ (Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума). Онъ „гнѣвно гонитъ“ облака, „низвергаетъ“ дубъ, онъ „взыгралъ“, „прошумѣлъ грозой“

(Аквилонъ), „измялъ“ лоно морскихъ волнъ (Аріонъ). Онъ „бунтуетъ“ (Русл. и Людм., ч. II 288), онъ „бился“ (Буря).

Вѣтеръ представляетъ грозную стихію. Въ словѣ „О полку Игоревѣ“ его заклинаетъ Ярославна. Въ сказкѣ „О Мертвой Царевнѣ“ королевичъ Елисей, отыскивая невѣсту, обращается къ вѣтру съ просьбой—заклинаніемъ, наравнѣ съ солнцемъ и луной:

„Вѣтеръ, вѣтеръ! Ты—могучъ,  
Ты гоняешь стаи тучъ,  
Ты волнуешь сине море,  
Всюду вѣешь на просторѣ,  
Не боишься никого,  
Кромѣ Бога одного...“

Вѣтеръ — могучій царь воздушнаго пространства. Въ его власти—тучи. Зеленое море. А потому — и жизнь человѣка Вѣтеръ независимъ. Всѣ пути воздушнаго царства открыты передъ нимъ. Вотъ почему орелъ зоветъ узника умчаться въ страны, недоступныя человѣку. Во владѣнія вѣтра, гдѣ нѣтъ рабства и темницъ:

„Давай улетимъ!

. . . . .  
. . . . .

Туда, гдѣ гуляемъ лишь вѣтеръ да я“ (Узникъ).

Шумъ, производимый вѣтромъ, переданъ въ цѣломъ рядѣ звуковъ. Это — или вой, или визгъ, или плачь, или заунывное пѣніе.

*Вой вѣтра:*

„Вѣтеръ дулъ, печально воя“. (Мѣдн. Всадн., ч. I).

И въ этой же поэмѣ снова повторяется тотъ же мотивъ:  
„Мрачно было.

Дождь капалъ. Вѣтеръ вылъ уныло“. (Мѣдн. Всад., ч. II).  
Въ другомъ мѣстѣ:

„Грустенъ вѣтра дальній вой...“ (Отр. 1833 г.).

Въ стихотв. „Зимній вечеръ“ поэтъ говоритъ о бурѣ:

„То, какъ звѣрь, она завоетъ...

*Визгъ* вѣтра:

„Мчатся бѣсы рой за роемъ  
Въ безпредѣльной вышинѣ,  
Визгомъ жалобнымъ и воемъ  
Надрывая сердце мнѣ“ (Бѣсы).

*Плачь* вѣтра сравнивается съ плачемъ беспомощнаго ребенка:

„То заплачетъ, какъ дитя...“ (Зимн. вечерь).

*Шелестъ* бурнаго вихря:

„То по кровлѣ обветшалою  
Вдругъ соломой зашумить“. (Зимн. вечерь).

*Стукъ* вѣтра сравнивается въ двухъ мѣстахъ со стукомъ въ окно запоздалаго путника:

„И будто путникъ запоздалый,  
Стучится буря къ намъ въ окно“. (Черн. наб. 1830 г.).

И въ другомъ стихотвореніи:

„То, какъ путникъ запоздалый  
Къ намъ въ окошко застучить“. (Зимн. вечерь).

*Свистъ* вѣтра встрѣчается много разъ:

„Слышится мгновенный вѣтра свистъ“. (Осеннее утро).

Въ поэмѣ „Русл. и Людм.“:

„Лишь изрѣдка съ унылымъ свистомъ  
Бунтуетъ вихорь въ полѣ чистомъ“... (п. II, 287—288).

И тамъ же:

„Въ лѣсахъ осенній вѣтра свистъ  
Пѣвицъ пернатыхъ заглушаетъ“ (п. IV, 202—203).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Бури слышенъ зимній свистъ“. (Я пережилъ свои желанья).

*Заунывное пѣніе* вѣтра представлено поэтомъ въ видѣ жалобной пѣсни демоновъ вьюги:

„Что такъ жалобно поють?  
Домового ли хоронятъ?  
Вѣдьму-ль замужъ выдають?“ (Бѣсы).

Въ „Подражаніяхъ Корану“ поэтъ даетъ управление вѣтрами въ руки Бога—Творца міра:

„Творцу молитесь; онъ могучій:  
Онъ править вѣтромъ“...

Это представленіе близко къ византійскому христіанству. По апокалипсису вѣтрами управляютъ ангелы, приставленные Богомъ:

„Видѣлъ я четырехъ ангеловъ, стоящихъ на четырехъ углахъ земли; держащихъ четыре вѣтра земли, чтобы не дулъ вѣтеръ ни на землю, ни на море, ни на какое дерево“.

(VII, 1).

Вѣтеръ поэтъ охотно вплетаетъ въ причудливыя гирлянды со многими предметами. Широко распространенный мотивъ— вѣтеръ въ сочетаніи съ паруснымъ кораблемъ нашель граціозное выраженіе у Пушкина. Оно дышетъ наивною прелестью дѣтской рѣчи:

„Вѣтеръ на морѣ гуляетъ  
И корабликъ подгоняетъ.  
Онъ бѣжитъ себѣ въ волнахъ  
На раздутыхъ парусахъ“ (Ск. о царѣ Салтанѣ).

Рисую будничную картину русской природы, поэтъ на общемъ фонѣ изображаетъ вѣтряную мельницу, работающую при вѣтрѣ:

„По брегамъ отлогимъ  
Разсѣяны деревни; тамъ за ними  
Скривилась мельница, насилу крылья  
Ворочая при вѣтрѣ“... (Вновь я посѣтилъ)...

Пушкинъ пользуется очень красивымъ мотивомъ — игра вѣтра съ легкими женскими одеждами:

„И вѣтеръ бился и летальъ  
Съ ея летучимъ покрываломъ“ (Буря).

Этотъ мотивъ понравился поэту. Онъ повторяетъ его еще разъ въ поэмѣ „Кавказскій Плънникъ“. При грустномъ прощаніи черкешенки съ русскимъ плѣнникомъ:

„Вѣтеръ шумный,  
Свистя, покровъ ея клубилъ“ (II ч.).

Вариацию этого популярнаго мотива мы встрѣчаемъ у Батюшкова, какъ и у многихъ другихъ. Онъ описываетъ бѣгъ вакханки, во время котораго развѣвались вѣтромъ ея волосы и небрежныя складки короткаго хитона:

„Эвры волосы взвѣвали,  
Перевитые плющомъ;  
Нагло ризы поднимали  
И свивали ихъ клубкомъ“ (Вакханка).

Мотивъ игры вѣтра съ женскими одеждами часто сопровождается и сосѣднимъ мотивомъ—игры его съ волосами, какъ это мы видѣли у Батюшкова.

У Пушкина онъ встрѣчается въ поэмѣ „Русланъ и Людмила“. Русланъ спящую Людмилу несетъ на рукахъ изъ замка черномора. Вѣтеръ развѣваетъ ея волосы:

„Власами, свитыми въ кольцо,  
Пустынный вѣтерокъ играетъ“. (п. V).

Есть у Пушкина и третій, родственнй этимъ двумъ, мотивъ игры вѣтра съ листьями деревьевъ. Въ стихотвореніи „Туча“ ласковый вѣтеръ колеблетъ зеленую листву:

„И вѣтеръ, лаская листочки древесъ,  
Тебя съ успокоенныхъ гонить небесъ“.

Въ другомъ стихотвореніи зимній вѣтеръ даритъ свои холодныя ласки одинокому листу обнаженнаго дерева:

„Одинъ на вѣткѣ обнаженной  
Трепещетъ запоздалый листъ“.

(Я пережилъ свои желанья).

У Лермонтова встрѣчается иной вариантъ этого же мотива:

„У Чернаго моря чинара стоить молодая,  
Съ ней шепчется вѣтеръ, зеленыя вѣтви лаская“...

(Дубовый листокъ).

Пушкинъ много сказалъ о вѣтрѣ. Но онъ только описываетъ его, не объясняя. Онъ подошелъ къ нему, какъ человекъ, спокойно наблюдающій явленіе со стороны. Не какъ вскрывающій его сущность философъ. Тютчевъ даетъ намъ ключъ къ пониманію стихійнаго начала вѣтра:

„О чемъ ты воешь, вѣтръ ночной,  
О чемъ такъ сѣтуешь безумно?  
Что значить странный голосъ твой,  
То глухо-жалобный, то шумный?  
Понятнымъ сердцу языкомъ  
Твердишь о непонятной мукѣ  
И ноешь и взрываешь въ немъ  
Порой неистовые звуки!  
О, страшныхъ пѣсенъ сихъ не пой  
Про древній хаосъ, про родимый!“

Вѣтеръ поетъ о міровомъ хаосѣ. Хаосъ, который является причиной и возникновенія и гибели всѣхъ вещей.

Въ такихъ чертахъ отразилась въ поэзіи Пушкина воздушная стихія.

### Водная стихія.

Воздушная стихія имѣетъ въ поэзіи Пушкина всѣхъ своихъ представителей: рѣка, озеро и море. Пушкинъ даетъ намъ рядъ пейзажей, оживленныхъ бѣгущей рѣкой.

Но онъ не подмѣчаетъ трепета жизни ни въ ропотѣ ея тихихъ струй, ни въ шумѣ ея бурныхъ волнь.

*Рѣки* Пушкина текутъ своимъ шумнымъ, но механически безжизненнымъ путемъ въ зеленой рамкѣ береговъ.

Рѣки поэтъ раздѣляетъ на нѣсколько категорій по степени ихъ величины: ручеекъ, ключъ, источникъ, ручей, рѣчка, рѣка, потокъ.

Въ лицейскихъ стихотвореніяхъ поэта ручеекъ часто бѣжитъ въ густыхъ заросляхъ роши:

„Въ рощѣ сумрачной, тѣнистой,  
Гдѣ, журча въ травѣ душистой,  
Свѣтлый бродитъ ручеекъ“... (Блаженство).

Въ другомъ мѣстѣ:

„И ручейки въ тѣни лѣсной  
Чуть выются сонною волной“ (Русл. и Людм.,  
п. II, 325—326).

Поэтъ нерѣдко упоминаетъ о ключѣ:

„Вдали сверкаетъ горный ключъ,  
Сбѣгая съ каменной стремнины“ (Кавк. Плѣн., ч. I).

Или, еще примѣръ:

„Чистый ключъ у ней съ горы  
Не бѣжитъ запечатлѣнный“. (Подраж. Пѣснѣ Пѣсней).

Ручей, подобно ручейку, много разъ повторяется въ связи съ рощей:

„Чуть слышится ручей, бѣгущій въ сѣнь дубравы“  
(Воспом. въ Царск. Селѣ).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Люблю я въ полдень воспаленный  
Прохладу черпать изъ ручья  
И въ рощѣ тихой, отдаленной  
Смотрѣть, какъ плещеть въ брегъ струя“ (Вода и вино).

Въ посланіи „Къ Юдину“:

„Вблизи ручей шумитъ и скачетъ,  
И мчится въ влажныхъ берегахъ,  
И свѣтлый токъ съ досадой прячетъ  
Въ сосѣднихъ рощахъ“...

Ручей не всегда окружается поэтомъ зеленымъ хороводомъ деревьевъ. Иногда онъ заставляетъ ручей бѣжать съ журчаньемъ вблизи гробницы:

„И вокругъ безчувственной гробницы  
Ручей журчитъ“... (Гробъ юноши).

Это сочетаніе журчащаго ручья съ молчаливой могилой повторяется поэтомъ при описаніи могилы Ленскаго:

„Тамъ у ручья, въ тѣни густой,  
Поставленъ памятникъ простой“ (Ев. Он., гл. VI, XV).

Мирное теченіе ручья нарушаетъ иногда человѣкъ. Поэтъ сплетаетъ въ одномъ поэтическомъ наброскѣ холодныя струи ручья съ дѣвушкой:

„За малиной  
Къ ручью красавица съ корзиной  
Идетъ, и въ холодъ ключевой  
Пугливо ногу опускаетъ“... (Гробъ юноши).

Ручеекъ и ручей въ своемъ движеніи или „бѣжитъ“ (Подр. Пѣснѣ Пѣсней), или „чуть вьются“ (Русл. и Людм., п. II, 326), или „бродитъ“ (Блаженство), или „плещетъ“ (Вода и вино), и только изрѣдка „шумитъ и скачетъ“ (Вода и вино).

О своей жизни ручей даетъ знать или потому—что онъ „лепечетъ“ (Городокъ), или „чуть слышится“ (Воспом. въ Царск. Селѣ), или „журчитъ“ (Гробъ юноши).

Рѣки по своему характеру дѣлятся на двѣ группы: рѣки съ медленнымъ и тихимъ теченіемъ и рѣки съ бурнымъ теченіемъ.

Рѣку съ тихимъ теченьемъ поэтъ называетъ „тихоструйная“ (Ск. о Мертв. Цар.), „тихая“ (Городокъ), „волнистая“ (Къ Юдину), „лоно тихихъ водъ“ (Примѣты). Волны такихъ рѣкъ или „сонныя“ (Русл. и Людм., п. V, 308), или „тихо-спящія“ (Къ Юдину).

Цвѣтъ водъ ихъ: „синія“ (Напол. на Эльбѣ), „прозрачныя“ (Желаніе), „ясныя“ (Гробъ юноши), „свѣтлыя“ (Вадимъ), „серебрянныя“ (Русл. и Людм., п. VI, 278).

Ихъ медленное теченіе поэтъ выражаетъ глаголами—или „журчатъ“:

Рѣка „едва журчала“ (Русл. и Людм., п. V, 309).

Или „струитъся“:

„Воды струились тихо“ (Ев. Он., гл. VII, XV).

Или „тихонько увлечь“:

„Его тихонько увлекаетъ

Къ заливу свѣтлая рѣка“ (Вадимъ).

Или „литься“:

„Вонъ онъ льется! Здравствуй, Донъ!“ (Донъ).

Или же шумъ тихо-бѣгущей рѣки поэтъ называетъ „ропотомъ“:

„Полетъ синицы, ропотъ водъ—

Его бросали въ жаръ и потъ“ (Русл. и Людм., п. II, 124—126).

Въ одномъ изъ произведеній струя рѣки названа „звонкой“, издающей металлическій звукъ при паденіи на камни:

„Тамъ...,

Гдѣ сладко-звонкія струи“ (Сцена изъ Фауста).

Воды медленно-текущихъ рѣкъ поэтъ любитъ изображать зеркаломъ, въ которомъ отражаются прибрежные предметы:

„Кедровъ гордыя вершины,

И золотыя апельсины—

Зерцаломъ водъ отражены“. (Русл. и Людм., п. II, 305—307).

Въ другомъ произведеніи:

„Здѣсь, вижу, съ тополемъ сплелась младая ива

И отразилась въ кристалѣ зыбкихъ водъ“ (Воспом. въ Царск. Селѣ).

Въ посланіи „Къ Юдину“:

„Мнѣ видится мое селенье,

Мое Захарово; оно

Съ заборами—въ рѣкѣ волнистой—

Съ мосткомъ и рощею тѣнистой

Зерцаломъ водъ отражено“.

Въ „Евг. Онѣгинѣ“:

„И водъ веселое стекло

Не отражаетъ ликъ Діаны“.

Поэтъ описываетъ одну изъ медлительно текущихъ рѣкъ „тихий“ Донъ:

„Блеща средь полей широкихъ  
Вонъ онъ льется!.. Здравстуй, Донъ!“ (Донъ).

Отмѣченъ поэтомъ блескъ его тихихъ водъ. Его мѣсто-положеніе „средь полей широкихъ.“ Встрѣчаются у Пушкина картины рѣкъ и въ зимнемъ уборѣ:

„И рѣчка подо льдомъ блеститъ“  
(Зимн. утро).

Это же описаніе почти дословно повторяется и въ „Евг. Онѣгинъ“:

„Опрятнѣй моднаго паркета  
Блится рѣчка подо льдомъ“ (гл. IV, XVII).

На фонѣ зимняго пейзажа, поэтъ рисуетъ застывшую рѣку и гуся, который по старой привычкѣ собирается плыть:

„На красныхъ лапкахъ гусь тяжелый,  
Задумавъ плыть по лону водъ,  
Ступаетъ бережно на ледъ,  
Скользитъ и падаетъ“ (Ев. Он. гл. IV, XVII).

Во всѣхъ этихъ описаніяхъ рѣка одѣта въ ледяную броню. Есть у поэта одинокое изображеніе ея подъ снѣгомъ:

„Брега съ недвижною рѣкою  
Сравняла пухлой пеленою“ (Ев. Он., гл. VII,  
XXX.).

Весною рѣка представляетъ иной видъ. Поэтъ описываетъ весенній ледоходъ, послѣ зимняго сна:

„Или, взломавъ свой синій ледъ,  
Нева къ морямъ его несетъ,  
И, чуя вешни дни, ликуетъ“ (Мѣдн. Всадн., вступл.).

Поэтъ иногда покрываетъ рѣку съ ея берегами туманами:

„Туманы надъ Днѣпромъ глубокимъ“ (Русл. и  
Людм., п. I.)

И еще разъ въ другомъ мѣстѣ:

„Въ туманѣ пустынномъ клубится рѣка“ (Сраж.  
рыцарь).

Лоно тихоструйныхъ рѣкъ поэтъ украшаетъ часто рыбац-  
кимъ челнокомъ или парусомъ:

„Предъ нимъ широко  
Рѣка неслася; бѣдный челнъ  
По ней стремился одиноко“ (Мѣдн. Всадн.,  
вступл.)

Въ поэмѣ „Русланъ и Людмила“:

„И вдругъ онъ видитъ предъ собою  
Смиранный парусъ челнока,  
И слышитъ пѣсню рыбака  
Надъ тихоструйною рѣкою“ (п. V, 323—326).

Или въ отрывкѣ „Вадимъ“:

„онъ парусъ развиваетъ  
Плыветъ по волѣ вѣтерка;  
Его тихонько увлекаетъ  
Къ заливу свѣтлая рѣка“...

Кромѣ рыбацкаго паруса, у поэта нерѣдко спокойная  
поверхность рѣки украшается плывущимъ лебедемъ:

„И вотъ, пернатый царь изъ-подъ  
склоненной ивы,  
Расправя крылья горделивы,  
Къ красавицѣ плыветъ: веселья полна  
грудь;  
Съ шумящей пѣною отважно волны гонить,  
Крылами воздухъ бьетъ,  
То въ кольца шею вьетъ,  
То гордую главу, смирясь, предъ Ледой  
клонить“... (Леда).

Этотъ мотивъ—рѣки съ лебедемъ—не звучитъ одинокимъ  
звукомъ. Онъ варьируется. Поведеніе лебеда на лонѣ водъ  
служитъ вѣрной примѣтой для предсказанія погоды:

„Такъ, если лебеди, на лонѣ тихихъ водъ,  
Плескаясь вечеромъ, окличуть твой приходъ...

. . . . .  
Знай: завтра сонныхъ дѣвъ разбудить дождь  
ревучій

Иль бьющій въ окна градъ...“ (Примѣты).

Лоно рѣки поэтъ оживляетъ или парусомъ или бѣлымъ  
силуэтомъ лебедя. Берега рѣкъ оживляются молодымъ лицомъ  
дѣвушки, склоненнымъ надъ сплетаемымъ вѣнкомъ:

„Передо мной шумѣлъ потокъ;  
Одна, красавица младая  
На берегу плела вѣнокъ“ (Русл. и Людм., п. I,  
293—295).

Жизнь бьетъ ключомъ не только на поверхности водъ.  
Живетъ своеобразною жизнью и рѣчное дно. Рѣки поэтъ  
населяетъ русалками:

„...Рогдая

Тѣхъ водъ русалка молодая  
На хладны перси приняла,  
И, жадно витязя лобзая,  
На дно со смѣхомъ увекала“ (Рус. и Людм.  
п. II, 496—500).

Русалки всплываютъ на верхъ въ лунныя ночи. Онѣ  
устраиваютъ шумныя игры на берегахъ:

Любо намъ порой ночью  
Дно рѣчное покидать,  
Любо вольной головою  
Высь рѣчную разрѣзать,  
Подавать другъ дружкѣ голосъ,  
Воздухъ звонкій раздражать,  
И зеленый влажный волосъ  
Въ немъ сушить и отряхать“ (Русалка).

Поэтъ раскрываетъ передъ нами подводную жизнь рѣки,  
ея темнаго дна. Передаетъ живой разговоръ двухъ рыбокъ:

„Въ быстрой рѣчкѣ гуляютъ двѣ рыбки,  
Двѣ рыбки, двѣ малыя плотицы.  
—А, слышала ль ты, рыбка сестрица,  
Про вѣсти-то наши, про рѣчныя?  
Какъ вечеръ у насъ красна дѣвица утопилась,  
Утопая, мила друга проклинала“... (Русалка).

Такъ описалъ поэтъ тихо—текущія рѣки и ихъ жизнь. Въ иномъ родѣ—рѣки бурныя.

Рѣки съ быстрымъ теченіемъ, по цвѣту ихъ сердитыхъ водъ, поэтъ называетъ: „сѣдой потокъ“ (Кавк. Плѣн., ч. I) „мутный“ (Кольна), у нихъ „мрачный валь“ (Мѣдн. Всадн., ч. I), или „черный“ (Кольна), или „мятежный“ (Вадимъ). Ихъ бурное теченіе отмѣчено эпитетами: „глубь кипящая“ (Кавк. Плѣн., ч. I), „могучій токъ“ (Кавк. Плѣн., ч. I), „разъяренныя воды“ (Мѣдн. Всадн., ч. I), „возмущенная глубина“ (Мѣдн. Всадн., ч. I), „пучина“ (Напол. на Эльбѣ).

Шумъ, производимый бурнымъ бѣгомъ рѣки, нашель себѣ выраженіе въ эпитетахъ: „воющій потокъ“ (Осгаръ), „шумныя воды“ (Русл. и Людм., п. II, 349), „гремучій валь“ (Кавк. Плѣн., ч. II). Поэтъ часто примѣняетъ къ бурно-текущей рѣкѣ глаголь „реветъ“:

„Глухая ночь. Рѣка реветъ.“ (Кавк. Плѣн. ч. I).

Въ стихотв. „Обваль“:

„Вдругъ, истошась и присмирѣвъ,  
О Терекъ, ты прерваль свой ревъ!“

Въ другомъ мѣстѣ:

„Нева вздувалась и ревѣла“. (Мѣдн. Всадн., ч. I)

Или глаголь „выть“:

„Гдѣ Терекъ...  
Играеть и воеть...“ (Кавказъ).

Въ другомъ произведеніи:

„Онъ любить по крутымъ скаламъ  
Скользить, ползти тропой кремнистой,

Внимая бурѣ голосистой  
И въ безднѣ воющимъ волнамъ“ . (Галубъ).

Или глаголь „свирѣпѣть“:

„Ты затопиль, освирѣпѣвъ,  
Свои берега...“ (Обваль).

Въ стих. „Кавказъ“:

„Гдѣ Терекъ играетъ въ свирѣпомъ весельѣ...“  
Или глаголь „злиться“:

„Вставали волны тамъ и злились“. (Мѣдн. Всадн., ч. I).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Кипѣли злобно волны“. (Мѣдн. Всадн., ч. II).

Бурное теченіе рѣкъ объясняется ихъ гнѣвнымъ состояніемъ: „гнѣвная“ (Мѣдн. Всадн., ч. I), „злыя волны“ (Мѣдн. Всадн., ч. I), „Терекъ своенравный“ (Странствіе Ев. Он.), „Терекъ злой“ (Обваль).

Для выраженія крайняго гнѣвнаго возбужденія рѣки поэтъ пользуется многими сравненіями. Въ поэмѣ „Мѣдный Всадникъ“ онъ сравниваетъ рѣку въ бурю съ больнымъ, который въ жару мечется на своей постели, обступаемый со всѣхъ сторонъ кошмарными видѣніями бреда:

„Нева металась, какъ больной  
Въ своей постели безпокойной“. (ч. I).

Или, разбушевавшаяся рѣка сравнивается съ котломъ, въ которомъ кипитъ вода и подъ которымъ разложенъ огонь:

„Нева вздувалась и ревѣла,  
Котломъ клокоча и клубясь“. (Мѣдн. Всадн., ч. I).

И тамъ же:

„Еще кипѣли злобно волны,  
Какъ бы подъ ними тлѣлъ огонь“. (Мѣдн. Всадн., ч. II).

Поэтъ сравниваетъ бьющуюся о берегъ бурную волну рѣки съ челобитчикомъ, умоляющимъ судей о милости:

„Мрачный валъ  
Плескалъ на пристань, ропща пени  
И бясь о гладкія ступени,

Какъ челобитчикъ у дверей

Ему не внемлющихъ судей“. (Мѣдн. Всадн., ч. I).

Сравненіе выдержано строго. Такъ человекъ, просящій о милости, въ мольбахъ бьется головой о каменныя ступени закрытыхъ дверей.

Поэтъ употребляетъ еще и другія сравненія. Онъ два раза пользуется сравненіемъ бурной рѣки съ остервѣнѣвшимъ звѣремъ:

„Играетъ и воетъ, какъ звѣрь молодой,  
Завидѣвшій пищу изъ клѣтки желѣзной:  
И бьется о берегъ въ враждѣ бесполезной,  
И лижетъ утесы голодной волной. (Кавказъ).

Здѣсь сравненіе проводится съ молодымъ голоднымъ звѣремъ, заключеннымъ въ клѣтку. Онъ воетъ и бьется о желѣзныя прутья, увидѣвъ пищу.

Въ „Мѣдомъ Всадникъ“ берется при сравненіи другой моментъ. Рѣка сравнивается съ звѣремъ, который только что бросился на безпомощную жертву:

„И вдругъ, какъ звѣрь остервенясь,  
На городъ кинулась“ (ч. I).

Лермонтовъ также воспользовался этимъ красивымъ образомъ рѣки—звѣря:

„И разъяренною тигрицей  
Косматый Терекъ въ глубинѣ  
Ревѣлъ...“ (Демонъ).

Въ поэмѣ „Кавк. Плѣн.“ поэтъ рисуетъ смѣлую борьбу человека съ бурнымъ теченіемъ горной рѣки:

„Сѣдой потокъ предъ нимъ шумить,  
Онъ въ глубь кипящую несетъ.  
И путникъ, брошенный ко дну,  
Глодаетъ мутную волну;  
Изнемогая, смерти проситъ  
И зритъ ее передъ собой.

Но мощный конь его стрѣлой  
На берегъ пѣнистый выносить“. (ч. I).

Здѣсь интересно прослѣдить стройную послѣдовательность переправы черезъ потокъ. Всадникъ сначала „несется“ въ кипящую глуть. Бурнымъ натискомъ волнъ онъ „брошенъ ко дну“. Сила побѣдителя растеть. Сила побѣжденнаго слабѣть. Всадникъ „глотаеть“ волну. Черезъ нѣсколько мгновений, онъ уже „изнемогаетъ“ въ борьбѣ. „Просить смерти“. „И зрить ее“. Но сильный конь выносить истомленнаго всадника на другой берегъ.

Пушкинъ изображаетъ рѣки, не отгнѣняя ихъ своеобразной стихійной жизни. Иногда онъ населяетъ ихъ или миеологическими, или сказочными существами. Но эти образы являются лишь символическими фигурами.

Рѣзкою чертою отграничена душа человѣка, полная трепета жизни, отъ бездушнаго воднаго пространства, застывшаго на однообразномъ ритмѣ механическаго движенія.

У Лермонтова ручей „лепечеть“ человѣку „таинственную сагу“ (Когда волнуется желтѣющая нива).

У Пушкина шумъ рѣки звучитъ для человѣка музыкой безъ словъ, неразгаданной слухомъ.

Душа человѣка не пріобщается нигдѣ къ стихійной жизни рѣкъ.

*Озеро* своими покойными волнами даетъ поэту право на эпитеты „тихое“ (Воспом. въ Царск. Селѣ), „пустынное.“ (Ев. Он., гл. I, LX), у него волна или „лѣнивая“ (Воспом. въ Царск. Селѣ), или „сонная“ (Русалка).

По цвѣту своей воды, оно называется „сѣдое“ (Любовь — одна веселье жизни хладной), „лазурное“ (Деревня). Оно стелется вдали, „синѣя“ (Вновь я посѣтилъ).

Поэтъ рисуетъ зимній нарядъ озера:

„Едва прозрачный ледъ, надъ озеромъ тускнѣя,  
Кристалломъ покрываль недвижныя струи“ (Къ Овидію).

Обитатели озеръ навѣяны или античной мифологіей, въ образѣ наядъ: или же—славянской, въ образѣ русалокъ:

Тамъ въ тихомъ озерѣ плескаются наяды  
Его лѣнливою волной“. (Вспом. въ Царск. Селѣ).

Въ полночный часъ, когда показывается на небѣ красный ликъ луны, всплываетъ наверхъ призрачная русалка:

„И снова дѣва надъ водою  
Сидитъ, прелестна и блѣдна“ (Русалка).

Такъ же, какъ поверхность рѣкъ, лоно озеро поэтъ любить украшать плывущимъ лебедемъ:

„Люблю . . . . .  
Близъ озера сидѣтъ,  
Гдѣ лебедь бѣлоснѣжный,  
Оставя знакъ прибрежный,  
Любви и нѣги полнъ,  
Съ подругою своею,  
Закинувъ гордо шею,  
Плыветъ во златѣ волнъ“ (Городокъ).

Повторяется поэтомъ и сочетаніе лазурной дали озера съ бѣлѣющимъ парусомъ:

„Здѣсь вижу двухъ озеръ лазурныя равнины,  
Гдѣ парусъ рыбака бѣлѣетъ иногда“ (Деревня).

Или, вмѣсто паруса, поэтъ рисуетъ на фонѣ озера рыбацкій челнокъ:

„Черезъ его невѣдомыя воды  
Плыветъ рыбакъ и тянетъ за собою  
Убогій неводъ...“ (Вновь я посѣтилъ).

У Пушкина озеро отразилось только въ этихъ блѣдныхъ очертаніяхъ.

Пушкинъ море, какъ и вообще водную стихію, описываетъ только съ внѣшней стороны, какъ красивое явленіе. Но не обнажаетъ его неизмѣняемой сущности.

*Море* и небо родственны по своимъ краскамъ. Поэтъ отмѣчаетъ тѣ же цвѣта моря, какъ и неба. Начиная отъ свѣт-

лыхъ и кончая темными: „ясная влага“ (Нереида), „моря блескъ лазурный“ (Желаніе), „волны голубыя“ (Къ морю), „зеленяя волны“ (Нереида), „зеленѣющая влага“ (Бахч. фонт.), „синее“ (Ск. о рыбахъ и рыбкѣ), „темная глубина“ (Вадимъ).

Переливы этихъ красокъ соотвѣтствуютъ измѣнчивому цвѣту морскихъ волнъ, переходящихъ всѣ ступени отъ блѣдно-голубыхъ до темно-синихъ и темно-зеленыхъ тоновъ.

Море въ тихую погоду „лобзаетъ“ берега (Нереида).

И его шумъ—сладкій шумъ для слуха человѣка:

„И сладостно шумятъ полуденныя волны..“

(Рѣдѣтъ облаковъ летуч. гряда).

Морской шумъ поэтъ называетъ „грустнымъ шумомъ“, „гуломъ“, „отзывомъ“, „глухимъ звукомъ“ и „гласомъ бездны“, „говоромъ волнъ“ (Къ морю).

„Какъ я любилъ твои отзызы,

Глухіе звуки, бездны гласъ..“ (Къ морю).

Или шумъ моря поэтъ называетъ „воемъ“:

„Море вздуется бурливо,

Закипитъ, подыметъ вой..“ (Ск. о Царѣ Салт.).

Поэтъ сравниваетъ морской шумъ со скорбной красотой прощальныхъ словъ друга. Съ его горестнымъ призывомъ въ послѣдній мигъ разлуки. Такія же печальныя ноты звучать въ ропотѣ морскихъ волнъ:

„Какъ друга ропотъ заунывный,

Какъ зовъ его въ прощальный часъ,

Твой грустный шумъ, твой шумъ призывный

Услышалъ я въ послѣдній разъ“ (Къ морю).

Или же поэтъ улавливаетъ въ шумѣ моря иную гармонию. Въмѣсто грустныхъ человѣческихъ словъ онъ слышитъ торжественный гимнъ природы—Творцу міра:

„Глубокой, вѣчный хоръ валовъ—

Хвалебный гимнъ Отцу міровъ“. (Ев. Он., гл. VIII, IV).

У Жуковскаго въ одномъ стихотвореніи подчеркивается эта же мысль:

„И ты, обитель чудъ, бездонная пучина,  
Гремите пѣснь тому, Чей бурь звучнѣйшій гласъ  
Велить—и зыбь горой; велить—и зыбь равнина“ (Гимнъ).

Или же сладкую музыку морскихъ волнъ Пушкинъ представляетъ въ видѣ неумолчнаго говора рѣзвящихся nereидъ.

Онѣ собираются въ зеленыхъ гротахъ моря и рассказываютъ другъ другу о любви къ нимъ боговъ:

„Какъ часто по берегамъ Тавриды  
Она меня во мглѣ ночной  
Водила слушать шумъ морской,  
Немолчный шопоть Нереиды...“ (Ев. Он., гл. VIII IV).

Пушкинъ любитъ рисовать свѣтло-голубыя дали спокойнаго моря. Онѣ изображаетъ его въ видѣ раскинувшейся вдали лазурной равнины:

„По равнинамъ океана  
Ѣдетъ флотъ царя Салтана“. (Сказ. о Царѣ Салт.).

Или же тихое море представляется поэту въ видѣ наброшенной тяжелой и роскошной ткани:

„Тамъ море движется роскошной пеленою  
Подъ голубыми небесами...“ (Ненастный день потухъ).

Море въ ясные дни „не шумить“, „не хлещетъ“, а только лишь „едва-едва трепещетъ“:

„Подъ окномъ Гвидонъ сидитъ,  
Молча на море глядитъ;  
Не шумитъ оно не хлещетъ,  
Лишь едва-едва трепещетъ...“ (Сказ. о Царѣ Салт.).

Въ тихую погоду морская волна тиха и послушна желаніямъ человѣка. Она „лобзаетъ“ берегъ. Она въ образѣ зеленоволосой Нереиды любитъ навѣщать берега:

„Надъ ясной влагою полубогиня грудь  
Младую, бѣлую, какъ лебедь, воздымала  
И пѣну изъ власовъ струею выжимала“ (Нереида).

Въ сказкѣ „О царѣ Салтанѣ“ волна повинуется просьбѣ— заклинанію царевича:

„Не губи ты нашу душу,  
Выплесни ты насъ на сушу!“  
И послушалась волна:  
Туть же на берегъ она  
Бочку вынесла легонько,  
И отхлынула тихонько“.

Но морю нельзя вѣрить. Оно полно обманчивыхъ улыбокъ. Поэтъ отмѣчаетъ непостоянство морской стихіи въ отношеніяхъ къ человѣку:

„Невѣрная пучина“ (Русл. и Людм., п. I, 318), „слѣпая пучина“ (Земля и море), у моря „обманчивый валъ въ часы роковой непогоды“ (Пѣснь о Вѣщ. Олегѣ). Море въ бурную погоду враждебно человѣку. Поэтъ даетъ эпитеты бурному морю: „угрюмый океанъ“, „мрачное“ (Къ морю), „черная пучина“ (Напол. на Эльбѣ). Въ чудной сказкѣ „О рыбацѣ и рыбацѣ“ выражено постепенное возрастаніе гнѣва морского царя параллельно съ возрастаніемъ капризовъ старухи. Постепенный переходъ черезъ тонкіе оттѣнки тихаго состоянія моря въ гнѣвное возбужденіе.

Первый разъ пошелъ рыбацъ къ морю просить у золотой рыбки корыта:

„Видить: море слегка разыгралось“.

Второй разъ пошелъ старикъ къ морю—просить избу:

„Вотъ пошелъ онъ къ синему морю:  
Помутилося синее море“.

Третій разъ посылаетъ его старуха просить у рыбки дворянства:

„Пошелъ старикъ къ синему морю:  
Неспокойно синее море“.

Четвертый разъ съ бранью гонить старуха рыбака—просить ей царства:

„Старичекъ отправился къ морю:  
Почернѣло синее море“.

Въ пятый разъ идетъ старикъ къ золотой рыбкѣ. Не хочетъ быть старуха царицей, а хочетъ быть владычицей морской и имѣть на посылкахъ ее—золотую рыбку:

„Вотъ идетъ онъ къ синему морю  
Видить: на морѣ черная буря,  
Такъ и вздулись сердитыя волны,  
Такъ и ходятъ, такъ воемъ и воютъ“.

Есть у Пушкина и рѣзкое противопоставленіе тихаго моря бурному, въ связи съ настроеніями человѣка:

„Когда по синевѣ морей  
Зефиръ скользить и тихо вѣетъ  
Въ вѣтрила гордыхъ кораблей  
И челны на волнахъ лелѣетъ“... (Земля и море).

Тогда спокойное море влечетъ къ себѣ успокоенную душу человѣка:

„Заботъ и думъ слагая грузъ,  
Тогда лѣнюсь я веселѣе  
И забываю пѣсни музъ:  
Мнѣ моря сладкій шумъ милѣе“.

Когда тишина царить въ морѣ. Когда зефиръ тихо колеблетъ бѣлый неподвижно-висящій парусъ. Когда волны набѣгаютъ на берегъ съ ласкающимъ шопотомъ.—Тогда человѣкъ усыпленъ чарами этой нѣжной вкрадчивой ласки. Онъ забываетъ землю ради моря. И даже мелодичные голоса Музъ звучатъ менѣе пѣвуче, менѣе музыкально, менѣе нѣжно, чѣмъ ласковый шумъ моря. Оно убаюкиваетъ его душу своими зелеными сказками.

Пушкинъ рядомъ съ картиной тихаго моря ставитъ картину разгнѣваннаго:

„Когда же волны по брегамъ  
„Ревутъ, кипятъ и пѣной блещутъ,  
„И громъ гремитъ по небесамъ,  
„И молніи во мракѣ блещутъ,  
„Я удаляюсь отъ морей

„Въ гостепріимныя дубровы:  
„Земля мнѣ кажется вѣрнѣй.  
„И жалокъ мнѣ рыбакъ суровый:  
„Живетъ на утломъ онъ челнѣ,  
„Игралище слѣпой пучины,  
„А я въ надежной тишинѣ  
„Внимаю шумъ ручья долины“ (Земля и море).

Наступаетъ буря. Исчезла нѣжная и пѣвучая ласка. Въ человѣкѣ пробуждается стихійный страхъ. Онъ бѣжитъ въ „гостепріимныя дубровы“. Море негостепріимно.—Поэтъ проводитъ рѣзкую грань между моремъ и сушей. Земля покорна человѣку. Она имъ изучена. Онъ знаетъ законы, по которымъ она живетъ. И умѣетъ властвовать надъ ними, предвидя ихъ. Земля неизмѣнна въ своихъ отношеніяхъ къ человѣку. Сегодня она такова. Будетъ таковою и завтра. Сегодня „гостепріимныя дубровы“ принимаютъ человѣка подъ свои зеленые своды. И завтра примутъ такъ же. Иное—море. Оно внѣ власти человѣка. Онъ не знаетъ его законовъ. Можетъ только о нихъ гадать. Сегодня—море тихо. И ласково зоветъ человѣка въ свою блѣдно-синюю даль. Сегодня оно дружелюбно. Но завтра—налетаетъ буря. Человѣкъ, довѣрившійся гостепріимству моря—гибнетъ. Море названо „слѣпой пучиной“. Оно безъ глазъ въ своемъ яростномъ гнѣвѣ. Ему все равно, кто гибнетъ въ его волнахъ: прибрежный-ли тростникъ, или человѣкъ. Оно не постоянно въ своихъ отношеніяхъ къ человѣку. Вотъ почему во время бури на морѣ—человѣкъ устрашенъ, и подавленъ, и бѣжитъ отъ него. Поэтъ отмѣчаетъ въ морѣ его главную черту—могущество и независимость отъ воли человѣка. Онъ называетъ его „могучимъ“, „неодолимымъ“, ничѣмъ неукротимымъ“, и „свободной стихіей“ (Къ морю). Человѣкъ зависитъ отъ моря, отъ его прихоти:

„Смиранный парусъ рыбарей,  
Твоею прихотью хранимый,

Скользить отважно средь зыбей,  
Но ты взыгралъ неодолимый—  
И стая тонетъ кораблей“... (Къ морю).

Мотивъ кораблекрушенія поэтъ часто повторяетъ:

„Пучина подъ челномъ  
Кипитъ, подъемяется, клокочетъ;  
Напрасно къ вѣрнымъ берегамъ  
Несчастный возвратиться хочетъ,  
Челнокъ трещитъ—и пополамъ“ (Вадимъ).

Тихое море „почиваетъ“. Въ бурю оно „кипитъ, подъемяется, клокочетъ“. Снова повторяется этотъ мотивъ въ стихотвореніи „Аріонъ“:

„Вдругъ лоно волнь  
Измялъ съ налету вихорь шумный...  
Погибъ и кормщикъ, и пловецъ“...

Море иногда изображается вмѣстѣ съ берегами. Поэтъ на одномъ полотнѣ рисуетъ море и вѣнокъ дикихъ скалъ, окружающихъ его:

„И зеленѣющая влага  
Предъ нимъ и блещетъ, и шумитъ  
Вокругъ утесовъ Аю-Дага“ (Бахч. фронт.).

Поэтъ иногда море покрываетъ пеленою тумана:

„На море синее вечерній палъ туманъ“... (Погасло  
дневное свѣтило).

Этотъ мотивъ заимствованъ изъ народныхъ пѣсенъ:

„Ужъ какъ палъ туманъ на сине море“.

Море у Пушкина нигдѣ не принимаетъ антропоморфическаго образа. Морская волна съ ея зеленымъ цвѣтомъ и бѣлымъ гребнемъ пѣны на мигъ принимаетъ лишь божественный обликъ Нереиды. Ея тѣло имѣетъ такой же молочно-бѣлый цвѣтъ, какъ морская пѣна. Ея волосы, разсыпанные по блѣднымъ плечамъ, отливаютъ такимъ же прозрачно-зеленымъ оттѣнкомъ, какъ блещущая изумрудомъ, морская волна. Но Нереида не олицетвореніе моря во всемъ его цѣ-

ломъ. Пушкинъ не даетъ морю опредѣленнаго человѣческаго лица, какъ это дѣлаеть Лермонтовъ, представляя море старикомъ:

„И старикъ во блескѣ власти  
Всталъ могучій, какъ гроза“ (Дары Терека).

Пустыннаго моря нѣтъ у Пушкина. Онъ не представляетъ его безъ связи съ живымъ существомъ. Часто въ синей дали моря бѣлѣеть парусъ, что также составляетъ характерную черту поэзіи Лермонтова:

„Бѣлѣеть парусъ одинокій  
Въ туманѣ моря голубомъ“ (Парусъ).

Или же, подобно тому, какъ озеро и рѣки сочетаетъ поэтъ съ плавающимъ лебедемъ, онъ украшаетъ имъ и поверхность моря:

„Снова князь у моря ходить,  
Съ синя моря глазъ не сводить;  
Глядь—поверхъ текучихъ водъ  
Лебедь бѣлая плыветь“ . (Ск. о Царѣ Салтанѣ).

Въ отрывкѣ „Вадимъ“, описывая Варяжское море, поэтъ рисуетъ на его фонѣ блѣдный обликъ лебедя:

„Качаясь, лебедь на волнѣ заснулъ“...

Или же на морскомъ берегу виднѣется бѣлый силуэтъ одинокой женской фигуры:

„Ты видѣлъ дѣву на скалѣ,  
Въ одеждѣ бѣлой, надъ волнами?“ (Буря).

Въ другомъ мѣстѣ:

„По горѣ теперь идетъ она  
Къ брегамъ, потопленнымъ шумящими волнами“.  
(Ненастный день потухъ).

Живое существо придаетъ жизненную теплоту безбрежно раскинувшемуся морскому пространству. Пушкинъ любитъ его шумъ въ тихіе безвѣтренные дни. Но когда поднимается

буря—море устрашает поэта. Онъ видитъ въ немъ только слѣпую разрушительную силу.

Пушкинъ не отмѣчаетъ въ немъ, какъ въ тихомъ, такъ и въ бурномъ одного и того же элемента мірового космоса, обладающаго бытіемъ, какъ это видятъ мистическіе глаза Тютчева:

„Сладокъ мнѣ твой тихій шопоть,  
Полный ласки и любви,  
Внятенъ мнѣ и буйный ропоть,  
Стоны вѣщіе твои“ (Mobile comme l'onde).

Тютчевъ улавливаетъ въ механическомъ движеніи моря біеніе стихійной жизни. Жизненная сила моря родственна жизненнымъ элементамъ души человѣка. Вотъ почему ему „внятны“ голоса моря и въ „тихомъ шопотѣ“ морскихъ волнъ и въ „вѣщихъ стонахъ“ морской бури. Эти голоса говорятъ о странѣ вѣчнаго бытія, откуда пришелъ человѣкъ и куда онъ долженъ возвратиться.

Въ такой рѣзкой антитезѣ нашло себѣ отраженіе море у Тютчева и у Пушкина.

Перейдемъ теперь къ рассмотрѣнію растительнаго царства.

### Растительное царство.

Оно представлено Пушкинымъ въ лицѣ лѣса, отдѣльныхъ породъ деревьевъ, цвѣтовъ и плодовъ.

Пушкинъ описываетъ растительную жизнь, какъ декоративную обстановку, среди которой проходитъ яркая жизнь человѣка.

Поэтъ отмѣчаетъ постепенную послѣдовательность лѣса по величинѣ: рощица, роща, садъ, дубрава, боръ, лѣсъ.

*Рощи* поэтъ называетъ „боговъ пристанища святыхъ“.

(Конрадъ Валленродъ).

Поэтъ любить рисовать рощу въ своихъ юныхъ произведеніяхъ. Вообще, онъ тогда предпочитаетъ холмъ—горамъ, ручеекъ—рѣкѣ, рощу—лѣсу. Роща или изображается на одномъ фонѣ съ ручьемъ, бѣгущимъ въ ея тѣни. Или рощи изображаются усыпленными ночной темнотой:

„Въ безмолвной тишинѣ почилъ долъ и рощи“...  
(Восп. въ Царск. Селѣ).

Или:—„И дремлютъ рощей сѣни“... (Пѣсня).

И въ другомъ произведеніи:

„Роща спитъ  
Надъ отуманенной рѣкою“ (Ев. Он., гл. VII, XX).

Поэтъ населяетъ рощу нимфами:

„И вдругъ изъ рощи вѣковой,  
Красою дѣвственной блистая,  
Въ одеждѣ легкой и простой  
Явилась нимфа молодая“ (Черн. набр. 1829 г.).

Въ стихотвореніяхъ поэта нѣсколько разъ мелькаетъ картина веселаго деревенскаго сада, гдѣ все запущено и предоставлено естественному ходу вещей. Тамъ цвѣтеть душистая черемуха. Шумятъ липы. Качаются блѣдно-зеленыя березки и бѣжить ручей:

„Окошки въ садъ веселый,  
Гдѣ липы престарѣлы  
Съ черемухой цвѣтуть.  
Гдѣ мнѣ въ часы полдневны  
Березокъ своды темны  
Прохладну тѣнь даютъ,  
Гдѣ ландышъ бѣлоснѣжный  
Сплелся съ фіалкой нѣжной,  
И быстрый ручеекъ  
Въ струяхъ неся цвѣтокъ,  
Невидимый для взора,  
Лепечеть у забора“ (Городокъ).

Есть у поэта чудное переложение отрывка из „Пѣсни Пѣсней“ Соломона, гдѣ въ краскахъ знойнаго юга развертывается передъ нами панорама сада. Вертоградъ, собственно, означаетъ плодовый садъ, виноградникъ:

„Вертоградъ моей сестры,  
Вертоградъ уединенный.  
Чистый ключъ у ней съ горы  
Не бѣжитъ запечатлѣнный.  
У меня плоды блестятъ  
Наливные, золотые;  
У меня бѣгутъ, шумятъ  
Воды чистыя, живыя.  
Нардъ, алой и киннамонъ  
Благовоніемъ богаты,  
Лишь повѣтъ аквилонъ  
И закаплютъ ароматы“.

Поэтъ наполняетъ библейскій садъ прянымъ благоуханіемъ южныхъ растений. Краски въ немъ ярче по сравненію съ русскимъ деревенскимъ садомъ. Здѣсь „блестятъ золотые плоды“. Тамъ „темные“ своды березокъ. Роща скрываетъ въ своихъ таинственныхъ уголкахъ звонкоголосыхъ нимфъ. Въ запущенныхъ заросляхъ большихъ садовъ лѣсныя дріады:

„И сѣни расширялъ густыя  
Огромный запущенный садъ—  
Пріютъ задумчивыхъ дріадъ“ (Ев. Он., гл. II, I).

Кромѣ рощи и сада, особенно часто поэтъ упоминаетъ о дубравѣ. Названіе лѣса дубравой близко соотвѣтствуетъ нашей сѣверной природѣ. По Далю, дубрава, въ собственномъ смыслѣ, означаетъ чернолѣсье, лиственный лѣсъ: дубнякъ, березнякъ, осинникъ. Въ народной поэзіи нерѣдко встрѣчается названіе лѣса—дубравой. Въ лѣснѣ Ваньки-Каина поется:

„Не шуми, мати, зеленая дубрава!“

Пушкинъ даетъ дубравамъ прекрасный эпитетъ:

„Хранители священной тишины“. (Осеннее утро).

Въ одномъ изъ стихотвореній красиво отмѣчается поэтомъ дрожащій лиственный кровъ дубравы:

„Ужъ полемъ всадники летятъ,  
Дубравы кровъ оставя зыбкій“ (Наѣздники).

Подобно тому, какъ часто повторяетъ поэтъ мотивъ роши въ соединеніи съ ручьемъ,—онъ сочетаетъ въ одной картинѣ нерѣдко и дубраву съ ручьемъ:

„Брожу ль надъ тихими водами  
Въ дубравѣ темной и глухой“ (Къ моему Аристарху).

Въ дубравахъ спасается отъ мірскаго соблазна суровый анахоретъ:

„Надъ озеромъ, въ глухихъ дубравахъ  
Спасался нѣкогда монахъ“... (Русалка).

Но больше, чѣмъ о дубравѣ, поэтъ говоритъ о лѣсѣ. *Лѣсъ* описывается посредствомъ многихъ эпитетовъ. По цвѣту, поэтъ называетъ его: „зеленый“ (Ев. Он., гл. I, XLVII), „синій“ (Вишня), „темный“ (Пѣснь о Вѣщ. Ол.), „мрачный“. (Русл. и Людм., п. V, 59). По своему виду, лѣсъ бываетъ „дремучимъ“ (Женихъ), „кудрявымъ“ (Къ сестрѣ). По своимъ настроеніямъ, лѣсъ или „дремлющій“ (Кольна), или „печальный“ (Черн. набр. 1830 г.), или „глухой“, или „таинственный“ (Элегія), или „священный“ (Черн. набр. 1820 г.).

Лѣсъ въ зимнее время года поэтъ называетъ „въ зимнемъ серебрѣ“ (Ев. Он., гл. V, I), „обнаженнымъ“ (Русл. и Людм., п. II, 290) и „прозрачнымъ“ (Зимнее утро).

Лиственный лѣсъ въ осеннюю пору одѣвается въ иные уборы:

„Въ багрець и въ золото одѣтые лѣса“ (Осень).

Лѣсъ иногда изображается поэтомъ покрытымъ дымными волокнами тумановъ:

„И лѣсъ, невѣдомый лучамъ  
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,  
Кругомъ шумѣлъ“... (Мѣдн. Всадн., вступленіе).

Описание туманного лѣса еще разъ повторяется поэтомъ:

„Въ сѣдомъ туманѣ дальній лѣсъ“ (Восп. въ  
Царск. Селѣ).

Въ лѣсу господствуетъ или „прохладный сумракъ“ (Русл. и Людм., п. V, 303), или „пустынная тьма“ (Пѣвецъ), или „мертвый мракъ“ (Элегія).

Поэтъ въ „Евг. Онѣгинѣ“ изображаетъ лѣсъ въ снѣжномъ уборѣ, освѣщеннымъ трепетнымъ мерцаніемъ звѣздъ:

„Предъ ними лѣсъ: недвижны сосны  
Въ своей нахмуренной красѣ;  
Отягчены ихъ вѣтви всѣ  
Клоками снѣга; сквозь вершины  
Осинъ, березъ и липъ нагихъ.  
Сіяетъ лучъ свѣтилъ ночныхъ“ (гл. V, XIII).

Поэтъ иногда замѣняетъ это освѣщеніе лѣса другимъ. Лѣсныя пустыни освѣщаются негрѣющимъ свѣтомъ луны:

„Зашла я въ лѣсъ дремучій  
И было поздно; чуть луна  
Свѣтила изъ-за тучи.  
Съ тропинки сбилась я: въ глуши  
Не слышно было ни души;  
И сосны лишь да ели  
Вершинами шумѣли“. (Женихъ).

Лѣсной шумъ передается поэтомъ или глаголомъ „шептать“:

„Шепчетъ лѣсъ кудрявый“ (Къ сестрѣ).

Въ другомъ стихотвореніи:

„Ручей журчитъ, и шепчетъ лѣсъ“... (Гробъ юноши).

Или глаголомъ „роптать“:

„И ропщеть боръ“ (Обваль).

Или глаголомъ „шумѣть“:

„Сосны лишь да ели  
Вершинами шумѣли“ (Женихъ).

Въ поэмѣ „Мѣдн. Всадн.“:

„И лѣсъ...  
Кругомъ шумѣлъ“.

Или же лѣсной говоръ выражаетъ поэтъ словомъ „шорохъ“:

„И шорохъ по лѣсамъ“ (Городокъ).

Лѣсъ полонъ своеобразной жизни. Среди тишины шелестятъ вѣтви подъ чьими-то косматыми руками. Хрустятъ безжалостно сломанные сучья. Никнутъ смятыя копытами травы. Вянутъ сорванные цвѣты. Въ зелени густыхъ кустарниковъ мелькаетъ уродливое лицо сатира:

„Нагнулась межъ цвѣтами  
Косматая нога;  
Надъ грустными очами  
Нависли два рога,  
То фавнъ—угрюмый житель  
Лѣсовъ...“ (Фавнъ и паст.).

Поэтъ называетъ сатира, какъ обитателя лѣса, „богомъ лѣсовъ“ (Блаженство), „жителемъ лѣсовъ“ (Фавнъ и паст.) и „богомъ лѣснымъ“ (Фавнъ и паст.).

Но къ холодному стилю хвойнаго лѣса не подходитъ страстный звѣриный обликъ античнаго сатира. Онъ можетъ лишь дышать знойнымъ воздухомъ родной Эллады. У поэта встрѣчается другой угрюмый образъ лѣснаго бога—лѣшаго. Лѣшій соотвѣтствуетъ угрюмому характеру сѣвернаго лѣса. Лѣшій блуждаетъ по лѣсамъ. Заводитъ путника въ заколдованный кругъ, откуда нѣтъ выхода на вѣрную дорогу:

„Тамъ лѣшій бродитъ“... (Русл. и Людм., п. 1, 7).

Въ этой же поэмѣ Фарлафъ рассказываетъ о своемъ похищеніи Людмилы изъ рукъ враждебнаго лѣшаго:

„Я такъ нашель ее недавно  
Въ пустынныхъ Муромскихъ лѣсахъ  
У злого лѣшаго въ рукахъ“ (п. VI, 102—104).

Но не одни лѣшіе нарушаютъ вѣчную тишину лѣса. На вѣтвяхъ деревьевъ, смѣясь, качаются блѣдныя русалки:

„Русалка на вѣтвяхъ сидитъ“ (Русл. и Людм., п. I, 8).

Онѣ влекутъ на гибель случайныхъ путниковъ чарами зеленыхъ глазъ, чарами яркихъ губъ, чарами дѣвичьей улыбки.

Такова жизнь лѣса.

Лѣсъ знаетъ тайны природы болѣе, чѣмъ кто-либо. Его столѣтніе корни глубоко уходятъ въ глубь земли. Онѣ сплетены съ землей неразрывными вѣчными связями. Шелестъ листьевъ шепчетъ о тайнѣ земли. Въ древней Элладѣ по шороху листьевъ додонскаго дуба предсказывали будущее. Знать о будущемъ есть высшая сверхчеловѣческая мудрость. Будущее знаетъ только молчаливая земля. На загадочномъ языкѣ рассказываетъ о тайнѣ, неумолкая, говорливый лѣсъ.

У Фета душа человѣка ищетъ затерянные слѣды къ зеленой душѣ лѣса. Феть проситъ лѣсъ „распахнуть объятія“ своихъ влажныхъ рукъ. Онѣ хочетъ въ стихійномъ порывѣ слиться съ природой. Потерять свой обликъ человѣка, растворивъ свою душу въ таинственной, близкой къ землѣ душѣ лѣса:

„Чтобъ и я въ этомъ морѣ исчезъ,  
Потонулъ въ той душистой тѣни,  
Что раскинулъ твой пышный навѣсъ“... (Изд.  
Маркса, т. I, стр. 220).

Лѣсъ—живой носитель стихійныхъ тайнъ природы. У Пушкина лѣсъ покоится въ мертвомъ снѣ:

„Иду въ лѣса, въ которыхъ жизни нѣтъ,  
Гдѣ мертвый мракъ“... (Уныніе).

Лѣсное царство полно молчанія и мрака.

Изъ отдѣльныхъ сѣверныхъ породъ лѣса поэтъ упоминаетъ о тополѣ, дубѣ, ивѣ, липѣ, ракиѣ, елкѣ и соснѣ.

Встрѣчаются бѣглыя упоминанія и о нѣкоторыхъ другихъ.

*Отдѣльныя породы деревьевъ.* Тополь чаще другихъ встрѣчается у поэта. Онъ отмѣчаетъ его стройный стволъ, легко поднимающійся къ небу:

„Гдѣ стройно тополи въ долинахъ вознеслись“.  
(Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда).

Въ поэмѣ „Полтава“ стройный станъ Маріи сравнивается съ легкою стройностью тополя:

„Какъ тополь Кіевскихъ высотъ,  
Она стройна“... (п. I).

Поэтъ называетъ тополь эпитетомъ „сребристый“ — по цвѣту его листьевъ, облитыхъ свѣтомъ луны:

„Чуть трепещуть  
Сребристыхъ тополей листы“ (Полтава, п. II).

Дубъ—любимое дитя былевого эпоса—описывается часто поэтомъ. Онъ называетъ его „патріархомъ“ лѣсовъ за его столѣтнюю величественную красоту:

„Гляжу ль на дубъ уединенный,  
Я мыслю: патріархъ лѣсовъ  
Переживетъ мой вѣкъ забвенный,  
Какъ пережилъ онъ вѣкъ отцовъ“ (Стансы).

Поэтъ надъ послѣднимъ жилищемъ человѣка, надъ его печальной могилой разстилаетъ шумящія вѣтви склоненнаго дуба:

„Стоитъ широкій дубъ надъ важными гробами,  
Колеблясь и шума“... (Черн. набр. 1836 г.).

Лермонтовъ повторяетъ этотъ мотивъ въ стихотвореніи „Выхожу одинъ я на дорогу“:

„Надо мной чтобъ, вѣчно зеленѣя,  
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ“...

Но не всегда дубъ связывается со скорбнымъ видомъ одинокой могилы.

Его развѣсистыя вѣтви иногда слышать вмѣсто погребальныхъ пѣсенъ—горячія слова любовника. Въ драмѣ „Ру-

салка“ князь послѣ своей свадьбы вновь посѣщаетъ старую мельницу. Видитъ знакомый дубъ. И сейчасъ же изъ тумана воспоминаній встаетъ передъ нимъ, какъ живой, блѣдный ликъ далекой, покинутой женщины:

„Ахъ, вотъ и дубъ завѣтный, здѣсь она,  
Обнявъ меня, поникла и умолкла“...

У Жуковского дубъ также связывается съ любовными воспоминаніями. Подъ дубомъ происходятъ условленные встрѣчи:

„Густой согбенный дубъ съ дерновою скамьей,  
. . . . . любовникамъ знакомъ“ (Опустѣвшая  
деревня).

Ива, прославленная Шекспиромъ, у Пушкина встрѣчается въ трогательномъ сочетаніи съ ветхимъ домикомъ героини—Параши въ поэмѣ „Мѣдный Всадникъ“ (ч. I):

„Почти у самага залива,  
Заборъ некрашенный, да ива  
И ветхій домикъ: тамъ онѣ,  
Вдова и дочь, его Параша,  
Его мечта“...

Въ другомъ мѣстѣ поэтъ рисуетъ темныя тѣни ивъ, осѣняющихъ деревенскій прудъ:

„Прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ—  
Раздолье утокъ молодыхъ“. (Странствіе Ев. Он.).

Липа шумитъ у поэта надъ ранней могилой юноши:

„Тамъ на краю большой дороги,  
Гдѣ липа старая шумитъ,  
Забывъ сердечныя тревоги,  
Нашъ бѣдный юноша лежитъ“ (Гробъ юноши).

Поэтъ изображаетъ ракиту, подъ тѣнью которой лежитъ убитый богатырь:

„Въ чистомъ полѣ, подъ раkitой,  
Богатырь лежитъ убитый“ (Шотландская пѣсня).

Это описаніе ракиты навѣяно былинами. Тамъ часто упо-

минаются и образъ убитаго богатыря и чистое поле. Раки-  
товый кустъ въ былинахъ играетъ значительную роль.  
Микула Селяниновичъ за „ракиновъ кустъ“ бросаетъ свои  
земледѣльческія орудія при встрѣчѣ съ Вольгой Свято-  
славичемъ. Изъ хвойныхъ породъ лѣса, поэтъ упоминаетъ  
объ елкѣ. Онъ называетъ ее чуднымъ эпитетомъ „тонковер-  
хая“ (Сестра и братья). Поэтъ рисуетъ ее въ морозный день:

„Ель сквозь иней зеленѣетъ“ (Зимнее утро).

Сказочную бѣлку, грызущую золотые орѣхи, поэтъ помѣ-  
щаетъ подъ развѣсистой елкой:

„Ель въ лѣсу, подъ елью бѣлка;

Бѣлка пѣсенки поетъ

И орѣшки все грызетъ“... (Ск. о Царѣ Салт.).

Изъ ряда отдѣльныхъ породъ съ особенною любовью  
поэтъ останавливается на родной ея сестрѣ—соснѣ. На общемъ  
фонѣ сѣренькой русской природы поэтъ рисуетъ три сосны,  
зеленѣющія вдали:

„На границѣ

Владѣній дѣдовскихъ, на мѣстѣ томъ,

Гдѣ въ гору подымается дорога,

Изрытая дождями, три сосны

Стоять: одна поодаль, двѣ другія

Другъ къ дружкѣ близко. Здѣсь когда ихъ мимо

Я проѣзжалъ верхомъ при свѣтѣ лунной ночи,

Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вершинъ

Меня привѣтствовалъ“... (Вновь я посѣтилъ).

Три сосны запечатлѣлись въ памяти поэта, озаренныя  
призрачнымъ свѣтомъ лунной ночи. Онъ воспроизводитъ ихъ  
шелестъ въ знаменитомъ звукоподражательномъ стихѣ:

„Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вершинъ

Меня привѣтствовалъ“...

Стеченіе шипящихъ звуковъ создаетъ слуховую иллюзію  
лѣсного шума:

„По той дорогѣ  
Теперь поѣхаль я и предѣ собою  
Увидѣль ихъ опять; онѣ все тѣ же,  
Все тотъ же ихъ знакомый слуху шорохъ;  
Но около корней ихъ устарѣлыхъ,  
Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,  
Теперь младая роща разрослась;  
Зеленая семья кругомъ тѣснится  
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти“...

Поэтъ старое дерево, окруженное нѣжными молодыми побѣгами сравниваетъ со старымъ человѣкомъ, вокругъ котораго рѣзвятся дѣти! И рядомъ съ этимъ сравненіемъ поэтъ одиноко-стоящую третью сосну изображаетъ угрюмымъ старымъ холостякомъ:

„А вдали  
Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ,  
Какъ старый холостякъ, и вокругъ него  
По прежнему—все пусто“ (Вновь я посѣтилъ).

Знакомый намъ мотивъ сочетанія могилы съ деревомъ повторяется поэтомъ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ дубъ и липу поэтъ замѣняетъ сосной—близъ печальной гробницы Ленскаго:

„Тамъ виденъ камень гробовой  
Въ тѣни двухъ сосенъ устарѣлыхъ“ (Ев. Он.,  
гл. VII, VI).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Въ тѣни густой угрюмыхъ сосенъ  
Воздвигся памятникъ простой“ (Восп. въ Царск.  
Селѣ).

Образъ своей любимой няни поэтъ помѣщаетъ въ рамку сосноваго лѣса:

„Одна въ глуши лѣсовъ сосновыхъ  
Давно, давно ты ждешь меня“ (Къ нянѣ).

Пушкинъ съ теплотою всюду говоритъ о соснахъ. Совершенно иное отношеніе къ соснѣ Фета:

„Я видѣть не могу надменныхъ этихъ сосенъ:  
Онѣ смущаютъ рой живыхъ и сладкихъ грезъ,  
И трезвый видъ мнѣ ихъ несносенъ.  
Въ кругу воскреснувшихъ сосѣдей лишь онѣ  
Не знаютъ трепета, не шепчутъ, не вздыхаютъ  
И, неизмѣнная, ликующей веснѣ  
Пору зимы напоминаютъ“... (Сосны).

Пушкина плѣняла стройно бѣгущая вверхъ сосна простою своего наряда. Но Феть „не можетъ видѣть“ этого „трезваго“ вида. Его взоръ оскорбляетъ неизмѣнно—зеленый ея уборъ. Ея иглы не знаютъ старости; но вѣдь онѣ не знаютъ и радости юныхъ дней. Вѣчно зеленая онѣ гордятся своей мертвой надменной красотой.

Изъ деревьевъ южныхъ странъ поэтъ называетъ оливы, мирты, лавры, кедры, кипарисы... Но всѣ упоминанія о нихъ мимолетны. Олива напоминаетъ поэту образъ забытой, когда-то любимой женщины:

„Ты говорила: въ день свиданья  
Подъ небомъ вѣчно—голубымъ,  
Въ тѣни оливъ, любви лобзанья  
Мы вновь, мой другъ, соединимъ“ (Для береговъ  
отчизны дальной).

На фонѣ мертвой пустыни поэтъ рисуетъ зловѣщій Анчаръ. Знойное небо. Желтые пески. Горячій вѣтеръ:

„Въ пустынь чахлой и скупой,  
На почвѣ, зноемъ раскаленной,  
Анчаръ, какъ грозный часовой,  
Стоитъ одинъ во всей вселенной“.

Пустыня названа „чахлой“, болѣзненной, неспособной произростать плодоносныя растенія. Она названа „скупой“. Она дрожитъ надъ своей внутренней энергіей, какъ скупой надъ золотомъ. Кое-гдѣ лишь произвела она жалкую зелень.

„Природа жаждущихъ степей  
Его въ день гнѣва породила,

И зелень мертвую вѣтвей  
И корни ядомъ напоила“ (Анчаръ).

Пустыня породила Анчаръ „въ день гнѣва“. Оригинальное сопоставленіе явленія гнѣва съ ядовитостью растенія. Какъ въ день радости совершаются дѣла, клонящіяся ко всеобщему благу, счастью, радости, такъ въ день гнѣва совершаются дѣла разрушительнаго свойства, клонящіяся ко вреду, насилію, убійству.

Анчаръ, порожденный „въ день гнѣва“ устрашающимъ часовымъ стережетъ входъ въ пустыню. Поэтъ любитъ изображать деревья одной породы или въ видѣ лѣса:

„Предъ нею.....

Лѣсъ лавровый“. (Русл. и Людм., п. II, ст. 301, 303).

Няня его ждетъ:

„Въ глуши лѣсовъ сосновыхъ“ (Къ нянѣ).

Или рощами:

„Кипарисныя благоухають рощи“... (Черн. набр. 1829 г.).

Или же идущими аллеями, рядами:

„Зыблются, шумять

.....

Аллеи пальмъ“... (Русл. и Людм., п. II, 300, 303).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Аллеи древнихъ липъ открылись предъ очами“  
(Воспом. въ Царск. Селѣ).

Въ поэмѣ „Полтава“:

„И тополи, стѣснившись въ рядъ,  
Качая тихую главою,  
Какъ судьи, шепчуть межъ собою“ (п. II).

Въ поэмѣ „Русланъ и Людмила“:

„И благовонныхъ миртовъ рядъ“... (п. II, 304).

Въ посланіи „Къ Юдину“:

„Старыхъ кленовъ темный рядъ  
Возносится до небосклона“.

Или поэтъ изображаетъ деревья по ихъ числу, два, три:  
„Двѣ сосны корнями срослись“ (Евг. Он., гл. VI, XL).

Или еще примѣръ:

„Передъ избушкой двѣ рябины“ (Странствіе Евг. Он.).

Въ стихотв. „Осень“:

„На дворѣ у низкаго забора  
Два бѣдныхъ деревца стоятъ“.

Кромѣ этого, мы видѣли уже описаніе трехъ сосенъ: двѣ вмѣстѣ, третью—стоящую въ одиночествѣ. Лермонтовъ употребляетъ этотъ же пріемъ въ стихотвореніи „Отчизна“. Онъ любитъ:

„На холмѣ, средь желтой нивы  
Чету бѣлѣющихъ березъ“.

Но онъ пользуется не однимъ этимъ пріемомъ. Онъ разнообразитъ свои описанія и другими. Лермонтовъ употребляетъ красивое сравненіе деревьевъ съ пляшущимъ хоро-  
водомъ:

„Холмы, покрытые вѣнцомъ  
Деревъ, разросшихся кругомъ,  
Шумящихъ свѣжею толпой,  
Какъ братья въ пляскѣ круговой“ (Мцыри).

У Пушкина нѣтъ такихъ изображеній, полныхъ жизни. Его рисунокъ застылъ на однообразно идущихъ линіяхъ. Онъ не даетъ образа дерева, трепещущаго жизнью.

Изъ растительнаго царства, кромѣ деревьевъ, рассмотримъ еще цвѣты, травы и плоды.

*Цвѣты.* Пушкинъ изъ цвѣтовъ чаще остальныхъ упоминаетъ о розѣ. Изъ другихъ встрѣчаются бѣглыя описанія лиліи, ландыша, мака. Розу поэтъ называетъ по цвѣту: „румяная“ (Отрыв. 1827 г.) и „алая“ (Къ Н.). Красоту ея поэтъ выражаетъ въ эпитетахъ: „прекрасная“ (О дѣва—роза), „дивная“, „пышная“ (Отрыв. 1827 г.), „гармоническая“ (Е. Н. Ушаковой). Ея аромать отмѣченъ эпитетомъ „душистая“ (Къ Батюшкову).

Роза мѣняетъ свои настроенія: иногда она бываетъ „tendre“ (Stances), иногда „милой“ (Бахч. фонт.), иногда „гордою“ (О дѣва—роза).

По времени года поэтъ называетъ розу „вешнею“ (Черн. набр. 1830 г.) и „младою“ (Измѣны).

Роза—цвѣтокъ дня, любящій солнце. Поэтъ называетъ ее „l'aimable fille d'un beau jour“ (Stances).

Интересно, что и Жуковский розу связываетъ съ солнцемъ:

„Солнце блестящее  
Любить меня.  
Мнѣ ли, красавицѣ,  
Тѣни искать?“ (Пѣсня).

Роза у Пушкина—цвѣтокъ любви, символъ любовныхъ настроеній. Поэтъ даетъ розѣ эпитетъ „l'image de l'amour“ (Stances). Любовныя переживанія у всѣхъ народовъ стояли въ тѣсной связи съ ароматомъ цвѣтовъ. Въ „Пѣснѣ Пѣсней“ Соломона воспѣта знойная любовь среди лилій. Въ античной миеологии цвѣты вплетались въ миѣы о любви боговъ.

Пушкинъ посвящаетъ розу богинѣ любви Афродитѣ. Онъ называетъ розы „амуромъ насажденными“ (Красавицѣ, кот. нюхала табакъ), соединяя ихъ съ именемъ любимаго сына Афродиты. Кромѣ того, роза непосредственно дѣлается цвѣткомъ Афродиты: богиня „благословила“ розу. И этимъ сакральнымъ актомъ посвятила ее себѣ:

„Есть роза дивная: она  
Предъ изумленною Киѳерой  
Цвѣтетъ румяна и пышна,  
Благословенная Венерой“ (Отрыв. 1827 г.).

Афродита, царица наслажденій, неразлучна съ ароматомъ свѣжихъ розъ:

„Кругомъ висѣли розы,  
Зеленый плющъ и мирты,

Сплетенные рукою  
Царицы наслаждений“. (Фіаль Анакреона).

Обстановка любовныхъ свиданій окружается благоухающимъ вѣнкомъ изъ розъ:

„Здѣсь розы наклонились  
Надъ вами въ темный кровь,

. . . . .  
Гдѣ царствуетъ любовь“. (Фавнъ и паст.).

Прекрасный образъ любимой женщины связывается въ пестромъ потокѣ воспоминаній съ увядшею на ея груди розой:

„Не розу паѳосскую,  
Росой оживленную,  
Я нынѣ пою.  
Не розу ѳеосскую,  
Виномъ окропленную,  
Стихами хвалю:  
Но розу счастливую,  
На персяхъ увядшую  
Элины моей“...

Поэта не трогаютъ прославленные розы. Ни розы острова Патоса, гдѣ онѣ цвѣли, обрызганныя утренней росой, у храма Афродиты. Ни розы острова Теоса, славящіяся по всей Элладѣ своей красотой. Онѣ украшали пиры, обрызганныя красными каплями вина. Любовь у Пушкина одѣвается въ благоухающія одежды, сплетенныя изъ розъ. Въ трогательной сербской народной пѣснѣ объ „Йово и Марѣ“ — любовь ихъ обвѣяна прянымъ ароматомъ розъ. Мара поетъ о любимомъ юношѣ:

„Пахнетъ розою, мать дорогая,  
Пахнетъ розой у нашего дома.  
Не душа ли то носится Йовы?  
Пахнетъ розой: идетъ ко мнѣ милый!“ (Перев.  
Щербины).

Цвѣты уже съ древнихъ временъ сдѣлались символами. Языкъ цвѣтовъ былъ широко распространенъ въ средніе вѣка. И сохранился до нашего времени. У Пушкина розѣ приписывается нѣсколько разнообразныхъ символическихъ значеній.

На древнихъ пирахъ на головы пирующихъ одѣвались вѣнки изъ розъ. Этотъ образъ пира и человѣка, увѣнчаннаго розовымъ вѣнкомъ, употребляется поэтомъ часто для выраженія веселья, радостнаго настроенія:

„Нашъ праздникъ молодой  
Сіяль, шумѣль и розами вѣнчался“ (19 окт. 1836 г.).

Здѣсь роза принимаетъ символъ шумнаго веселья. Въ другомъ мѣстѣ поэтъ, чтобы ярче отгнѣнить картину торжествующаго бѣга Діониса, пользуется розами для обстановки пьянящаго восторга:

„Вино струится, брызжетъ пѣна,  
И розы сыплются кругомъ“ (Торжество Вакха).

Или роза является символомъ женской красоты. Женское начало имѣетъ высшее свое проявленіе въ красотѣ. Такъ розовый кустъ проявляетъ породу и мощь своихъ корней въ пышно-расцвѣтшемъ цвѣткѣ:

„Для тебя ли,  
Юный пѣвецъ,  
Прелесть Елены  
Розой цвѣтеть?“ (Измѣны).

Поэтъ любитъ сравнивать образъ красивой женщины съ розой:

„Но тотъ блаженнѣй, о Зарема,  
Кто, миръ и нѣгу возлюбя,  
Какъ розу, въ тишинѣ гарема  
Лелѣеть, милая, тебя“ (Бахч. фонт.).

Въ „Альбомѣ Евг. Онѣгина“ приводится то же сравненіе:

„И съ розой схожи вы, блеснувшюю весной;

Вы такъ же, какъ она, предъ нами  
Цвѣтете пышною красой“.

Нѣсколько разъ поэтъ употребляетъ выраженіе „дѣва—роза“. Здѣсь слито въ одно и юная прелесть дѣвушки и юная прелесть розы:

„Розы—дѣвы красоты,  
Лѣтнимъ вечеромъ страшитесь  
Въ темной рощицѣ воды“ (Леда).

Въ драмѣ „Пиръ во время чумы“:

„И дѣвы—розы пьемъ дыханье,  
Быть можетъ, полное чумы“...

Въ стихотв. „Роза“ сплетаются въ граціозную гирлянду эмблемы розы и лиліи. Роза, какъ эмблема уже отцвѣтшей жизни. Лилія, означающая невинность, какъ эмблема только что расцвѣтшей жизни:

„Гдѣ наша роза,  
Друзья мои?  
Увяла роза—  
Дитя зари.  
Не говори:  
„Такъ вянетъ младость!“  
Не говори:  
„Вотъ жизни сладость!“  
Цвѣтку скажи:  
„Прости, жалѣю!“  
И на лилею  
Намъ укажи“.

Нѣтъ болѣе розы. Опали ея лепестки. Но ты не печалься. Видишь, какъ распускается бѣлая лилія. Развѣ она не столь же прекрасна, какъ и роза?

Роза не всегда цвѣтеть въ одиночествѣ. Часто надъ нею поетъ влюбленный въ ея красоту соловей:

„Соловей въ кустахъ лавровыхъ,  
Пернатый царь лѣсныхъ пѣвцовъ,

Близь розы гордой и прекрасной  
Въ неволѣ сладостной живетъ,  
И нѣжно пѣсни ей поетъ  
Во мракѣ ночи сладострастной“ (О, дѣва—роза).

Этотъ мотивъ поэтъ варьируетъ еще нѣсколько разъ, плѣ-  
нившись его граціозной прелестью:

„Въ безмолвіи садовъ, весной, во мглѣ ночей  
Поетъ надъ розою восточный соловей;  
Но роза милая не чувствуетъ, не внемлетъ  
И подъ влюбленный гимнъ колышется и дремлетъ“.  
(Соловей).

Въ поэмѣ „Бахч. фонтанъ“:

„И, съ милой розой неразлучны,  
Во мракѣ соловьи поютъ“.

Кромѣ любви соловья къ розѣ, поэтъ рассказываетъ о  
милолетней любви зефира и розы:

„Только весною  
Зефиръ молодую  
Розой плѣненъ“ (Измѣны).

Иногда надъ розою слышится жужжаніе золотыхъ пчелъ.  
Пчела любитъ нѣжный ароматъ розъ:

„Внемлешь ты

Журчанью пчель надъ розой алой“ (Къ Н.).

У Фета роза и пчела сплетаются въ брачную пару:

„И тебѣ, царица роза,  
Брачный гимнъ поетъ пчела“.

Въ такихъ краскахъ поэтъ рисуетъ намъ образъ царицы  
цвѣтовъ. Лилія встрѣчается рѣдко у Пушкина. Онъ называетъ  
ее „царицей средь полей“, „горделивой“, она растётъ въ  
„роскошной красотѣ“ (Воспом. въ Царск. Селѣ). Лилія, по-  
добно розѣ, сравнивается съ дѣвушкой:

„Съ пятнадцатой весною,  
Какъ лилія съ зарею,  
Красавица цвѣтетъ“ (Фавнъ и паст.).

Ландышъ называется поэтомъ „душистымъ“ (Красав., кот. нюхала табакъ), „бѣлоснѣжнымъ“ (Городокъ) и „потаеннымъ“ (Евг. Он., гл. II, XXI). Поэтъ говоритъ о любви ландыша и фіалки:

„Ландышъ бѣлоснѣжный  
Сплелся съ фіалкой нѣжной“ (Городокъ).

Ландышъ своей невинной чистотою сравнивается съ дѣвушкой:

„Въ глуши, подъ сѣнію смиренной,  
Невинной прелести полна—  
Въ глазахъ родителей она  
Цвѣла, какъ ландышъ потаенный,  
Незнаемый въ травѣ глухой  
Ни мотыльками, ни пчелой“ (Евг. Он., гл. II, XXI).

Макъ, какъ живой цвѣтокъ, не встрѣчается у Пушкина. Всюду поэтъ употребляетъ его, какъ символъ сна. Снотворное зелье, приготовляемое изъ мака, даетъ окраску всему характеру цвѣтка:

„И въ часъ безмолвной ночи,  
Когда лѣнивый макъ  
Покроетъ томны очи...“ (Городокъ).

Въ другомъ мѣстѣ:

„На макахъ лѣни въ тихій часъ  
Онъ сладко засыпаетъ“. (Мечтатель).

Богъ сна рисуется поэту, увѣнчанный краснымъ вѣнкомъ изъ маковъ и склоненный на посохъ въ сладкой истомѣ:

„въ зимній вечеръ сладкій сонъ  
Приходитъ въ мирны сѣни,  
Вѣнчанный макомъ и склоненъ  
На посохъ томной лѣни“. (Мечтатель).

Пушкинъ, какъ мы видимъ, любитъ упоминать о цвѣтахъ. Но въ своихъ изображеніяхъ онъ не отражаетъ ихъ живого облика. Онъ или только ихъ называетъ, или сопровождаетъ краткимъ эпитетомъ, или же пользуется цвѣтами, какъ мер-

твыми символами. Нигдѣ у поэта цвѣтокъ не живетъ своей индивидуальной жизнью, какъ ландышъ у Лермонтова:

„Когда росой обрызганный душистой,  
Румянымъ вечеромъ, иль въ утра часъ златой,  
Изъ-подъ куста мнѣ ландышъ серебристый  
Привѣтливо киваетъ головой“... (Когда волнуется  
желтѣющая нива).

Передъ нами раскрывается своеобразная жизнь лѣсного уголка. Кругомъ красные отблески зари. Одинокій кустъ. Подъ его тѣнью бѣлые колокольчики ландыша, полные серебряныхъ слезъ. Онъ радуется вмѣстѣ съ человѣкомъ и солнцу, и холодной росѣ, и аромату золотистыхъ травъ. Ландышъ живетъ, дышетъ и чувствуетъ радость бытія. Цвѣты Пушкина— не живые цвѣты садовъ, лѣсныхъ полянъ и степей. Они искусно сдѣланы изъ бархата и шелка опытной рукой мастерицы. И выставлены на показъ въ зеркальномъ окнѣ магазина. Они прекрасны въ своей мертвой холодной красотѣ безъ жизни, безъ аромата, безъ увяданья.

*Травы* представлены Пушкинымъ болѣе блѣдно, чѣмъ цвѣты. Онъ упоминаетъ о ковыль-травѣ въ „Пѣснѣ о Вѣщемъ Олегѣ“:

„Не ты подъ сѣкирой ковыль обагришь...“

Въ былинахъ часто встрѣчается ковыль. Такъ въ былинѣ „Добрыня и Змѣй“ рассказывается:

„Да ударилъ онъ змѣинища Горынища;  
Еще пала то змѣя да на сыру землю,  
На сыру то землю пала во ковыль-траву“ . (Гильферд.,  
т. II).

Павилика теперь рѣдко упоминается поэтами. Но до Пушкина ее любили вплетать въ граціозныя сочетанія и Батюшковъ и Жуковский. У Жуковского есть музыкальный стихъ въ связи съ павиликой:

„И крестъ поверженный обвить  
Листами павилики“ . (Двѣнадцать спящихъ дѣвъ).

У Пушкина павилика встрѣчается мелькомъ въ лицейскихъ произведеніяхъ:

„Кривой бродящей павиликой  
Завѣшенъ брегъ тѣнистыхъ водъ“, (Изъ Аріостова  
Orlando Furioso, гл. 106).

Въ другомъ произведеніи павиликой играетъ зефиръ:

„И колышетъ павиликой  
Тихо вѣющій зефиръ“ (Блаженство).

Изрѣдка поэтъ упоминаетъ о тростникѣ:

„И тихо зыблется тростникъ“ (Аквилонъ).

Въ былинахъ крапива употребляется для картины запустѣнія:

„Ай ты, батюшко, король литовскій!  
Стоквалось по родимой мни сторонушки,  
Захотѣлось посмотрѣть мнѣ на отцовско, на  
помѣстыцо:

Тамъ не выросло ль зеленое крапивушко?“

(Молодецъ и худая жена. Гильферд., т. II).

Интересно, что и у Пушкина обиліе крапивы создаетъ обстановку, полную разрушенія:

„Онъ видитъ Новгородъ великій,  
Знакомый теремъ съ давнихъ поръ.  
Но тынъ обросъ крапивой дикой,

. . . . .

Въ травѣ заглохъ широкій дворъ“. (Вадимъ).

О травахъ въ поэзіи Пушкина больше сказать нечего. Изъ *плодовъ* встрѣчаются у Пушкина упоминанія объ апельсинахъ, лимонѣ, яблокѣ и виноградѣ. Апельсины названы „золотыми“ (Русл. и Людм., п. II, 306). Лимонъ красиво опредѣленъ эпитетомъ „влажнозернистый“ (Пуншева пѣсня).

Яблоку посвящается нѣсколько стиховъ:

„Подъ окно за пряжу сѣла  
Ждать хозяевъ, а глядѣла  
Все на яблоко. Оно

Соку спѣлаго полно,  
Такъ свѣжо и такъ душисто,  
Такъ румяно, золотисто,  
Будто медомъ налилось,  
Видно сѣмячки насквозь“. (Ск. о Мертв. цар.).

Съ большею любовью поэтъ останавливается на виноградѣ.

Изъ всѣхъ плодовъ онъ наиболѣе любимъ поэтомъ, какъ роза изъ цвѣтовъ:

„И въ листьяхъ винограда  
Виситъ янтарь—ночныхъ пировъ отрада“ (Желаніе).

Темно-золотая окраска янтаря походить на темно-золотой цвѣтъ нѣкоторыхъ сортовъ винограда. Сравненіе винограда съ драгоценными камнями повторяется еще разъ:

„Все живо тамъ, холмы, лѣса,  
Янтарь и яхонтъ винограда“ (Бахч. фонт.).

Красный виноградъ своимъ измѣнчивымъ цвѣтомъ напоминаетъ переливы огней въ яхонтѣ.

По цвѣту виноградъ еще называется „пурпурнымъ“:

„На скиѣскихъ берегахъ переселенецъ новый,  
Сынъ юга, виноградъ блистаетъ пурпуровый“  
(Къ Овидію).

Виноградъ награждается у поэта эпитетомъ „переселенецъ новый“. Это названіе винограда указываетъ на его иноземное происхожденіе. Онъ не туземное растеніе, а вывезеное съ юга.

Въ минутномъ капризѣ настроенія поэтъ сплетаетъ въ пышный вѣнокъ любимые цвѣты съ любимыми плодами:

„Не стану я жалѣть о розахъ,  
Увядшихъ съ легкою весной.  
Мнѣ милъ и виноградъ на лозахъ,  
Въ кистяхъ созрѣвшій подъ горой;  
Краса моей долины злачной,  
Отрада осени златой...“

Розы расцвѣтають въ солнечные дни весны. Виноградъ созрѣваетъ въ дни „золотой“ осени. Розы прекрасны. Но ихъ красота мимолетна. Онѣ уже увяли. На мѣсто весны пришла осень. Нѣтъ печали о розахъ въ душѣ поэта. Виноградъ—„краса долины“, „отрада осени“ замѣняетъ поэту отцвѣтшія розы. Послѣ ласкательныхъ именъ, даваемыхъ по этому винограду, идетъ сравненіе виноградныхъ ягодъ съ пальцами молодой дѣвушки. Здѣсь уже окраска не играетъ главной роли. Другой признакъ принять въ немъ за существенный—его форма. Каждая изъ его ягодъ такой же формы, какъ стройные пальцы красавицы. Имѣетъ такой же прозрачно-бѣлый оттѣнокъ, какъ цвѣтъ ея кожи:

„Продолговатый и прозрачный,  
Какъ персты дѣвы молодой“. (Виноградъ).

Въ рамкѣ изъ золотистыхъ кистей винограда поэтъ рисуетъ безумное лицо вакханки:

„Вѣнчанны гроздемъ, обнаженны  
Бѣгутъ вакханки по горамъ“. (Торжество Вакха).

О плодахъ упоминаній больше не встрѣчается.

Такой пестрой панорамой развертывается передъ нами растительное царство.

## Г о р ы.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію царства *горъ*.

Пушкинъ описываетъ ихъ, какъ и другія явленія природы внѣшнимъ образомъ, не отвѣчая на вопросъ объ ихъ скрытой сущности.

Горное царство у Пушкина отмѣчено степенью высоты, оттѣнками названій: холмъ и гора. Чѣмъ горы, у Пушкина встрѣчаются описанія холмовъ и холмистой мѣстности. Это и понятно. До своей ссылки на югъ Россіи поэтъ не зналъ горъ. Онъ былъ знакомъ лишь съ природой средней полосы Россіи. Ему была близка и понятна ея однообразная

равнина, изрѣдка прерываемая небольшими возвышенностями. При описаніи этихъ возвышенностей поэтъ пользуется синонимами, едва отличающимися другъ отъ друга: холмъ, курганъ, косогоръ.

Холмы поэтъ нерѣдко описываетъ лежащими рядами:

„За ними рядъ холмовъ...“ (Деревня).

Или идущими грядою:

„Тамъ холмовъ тянутся грядой

Однообразныя вершины“ (Кавк. Плѣн., ч. I),

Поэтъ иногда рисуетъ холмъ освѣщеннымъ луннымъ свѣтомъ:

„Луна во мглѣ перебѣгала

Изъ тучи въ тучу, и курганъ

Мгновеннымъ свѣтомъ озаряла“. (Русл. и Людм.,  
п. V, 442—444).

Иногда же холмъ рисуется обвитый туманами:

„Тяжелый, пасмурный туманъ

Нагіе холмы обвиваетъ...“ (Русл. и Людм., п. IV,  
204—205).

Часто поэтъ украшаетъ вершину холма шумящимъ дубомъ.

„Недавно дубъ надъ высотой

Въ красѣ надменной величался“ (Аквилонъ).

Этотъ мотивъ повторяется:

„Видятъ холмъ въ широкомъ полѣ,

Море синее кругомъ,

Дубъ зеленый надъ холмомъ“. (Ск. о Царѣ Салт.).

Интересно отмѣтить вариантъ этого мотива въ популярномъ романсѣ Мерзлякова, передѣланномъ изъ народной пѣсни:

„Среди долины ровныя,

На гладкой высотѣ

Цвѣтеть, растеть высокій дубъ

Въ могучей красотѣ“.

За холмами высятся горы. На описаніе горъ у Пушкина вліялъ, главнымъ образомъ, Кавказъ, подобно тому, какъ на

описаніи моря сказалось вліяніе Крыма. Эпитеты горъ распа-  
даются на нѣсколько категорій. По своему наружному виду  
горы бывають „пустынныя“ (Русл. и Людм., п. II, 286) „не-  
приступныя“ (Кавк. Плѣн., ч. I), „крутыя“ (Фавнъ и Паст.),  
„дикія“ (Русл. и Людм., п. V, 59), „высокія“ (Желаніе), „уте-  
систыя“ (Вадимъ). По своей формѣ горы встрѣчаются „ле-  
жащія полукругомъ“ (Евг. Он., гл. VII, VI). По своей окраскѣ  
горы или „свѣтлоснѣжныя“ (Кавк. Плѣн., ч. II), или „сѣдыя“,  
или „румяныя“, или „синія“ (Кавк. Плѣн., ч. I), или „темныя“  
(Русл. и Людм., п. V). По своему матеріалу онѣ бывають  
„кремнистыя“ (Кавк. Плѣн., Посвященіе). По своему мѣсто-  
положенію—„приморскія“ (Бахч. фонт.), „полнощныя“ (Русл.  
и Людм., п. III, 31), „окрестныя“ (Евг. Он., гл. VII, I) и  
„окружныя“ (19 окт. 1826 г.). По своему состоянію горы  
иногда „спящія“ (Кавк. Плѣн., ч. I), иногда „нѣмыя“ (Кавказъ),  
иногда „угрюмыя“ (Кавк. Плѣн., ч. I) и „мрачныя“ (Вадимъ).

Поэтъ часто изображаетъ горы въ видѣ массивной гро-  
мады или груды:

„неприступныхъ горъ

Надъ нимъ воздвигнулась громада“ (Кавк. Плѣн., ч. I).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Вперяль онъ неподвижный взоръ

На отдаленныя громады

Сѣдыхъ, румяныхъ, синихъ горъ“

(Кавк. Плѣн., ч. I).

Въ этомъ же произведеніи:

„Въ дали прозрачной означались

Громады свѣтлоснѣжныхъ горъ“ (Кавк. Плѣн., ч. II).

Въ стихотвореніи „Кавказъ“:

„Тѣснятъ его грозно нѣмыя громады“.

Въ отрывкахъ изъ „Странствія Евг. Онѣгина“:

„Вдали—кавказскія громады“.

Описаніе горъ „громадою“ смѣняется „грудю“:

„На небѣ синемъ и прозрачномъ

Сіяли груди вашихъ горъ“ (Странствіе Евг. Он.).

Пушкинъ при описаніи горнаго пейзажа употребляетъ свой любимый приѣмъ: начиная изображеніе сверху, постепенно спускать его къ низу стройными кругами. Рельефно выражень этотъ приѣмъ въ стихотвореніи „Кавказъ“. Описаніе начинается съ головокружительной высоты, гдѣ стоитъ одинокая фигура человѣка.

И, описывая широкіе круги, поэтическое изображеніе горнаго ландшафта оканчивается на долинахъ, лежащихъ внизу.

Круги, описываемые поэтомъ, совпадаютъ съ различными поясами горной природы. Сначала идутъ ледники. Вѣчные снѣга. Холодныя тучи. Ниже—открываются голыя скалы. Еще ниже—жалкій мохъ и низкорослые кустарники. Дальше—начинается поясъ листовеннаго лѣса. Параллельно съ кругами поясовъ растительнаго царства идутъ поясы животнаго царства въ томъ же нисходящемъ порядкѣ. Въ недосыгаемой высотѣ, наравнѣ со стоящимъ человѣкомъ, паритъ орелъ. Ниже появляются голосистыя птицы. Еще ниже—въ зеленой чащѣ мчится пугливый олень. И еще ниже—бродятъ стада съ пастухами.

Въ одномъ изъ отрывковъ „Странствія Евг. Онѣгина“ поэтъ снова повторяетъ это же описаніе:

„Передъ нимъ паритъ орелъ державный,  
Стоитъ олень, склонивъ рога,  
Верблюды стоятъ въ тѣни утеса,  
Въ лугахъ пасется конь черкеса,  
И вокругъ кочующихъ шатровъ  
Пасутся овцы калмыковъ“.

Здѣсь круги описанія спускаются внизъ лишь только по представителямъ животнаго царства.

Встрѣчаются у Пушкина описанія отдѣльныхъ вершинъ кавказскаго хребта. Два раза описывается Бештау.

„пасмурный Бешту, пустынный величавый,  
Ауловъ и полей властитель пятиглавый.  
Быль новый для меня Парнасъ...“ (Кавк. Плѣн.,  
Посвященіе).

Горная вершина сравнивается съ отшельникомъ величавой наружности. Онъ, какъ анахоретъ, стоитъ одиноко, вдали отъ міра. Послѣ этого сравненія, поэтъ отмѣчаетъ его „пятиглавую“ форму. Въ отрывкахъ изъ „Странствія Евг. Он.“ опять изображается Бештау:

„Уже, пустыни сторожъ вѣчный,  
Стѣсненный холмами вокругъ,  
Стоитъ Бешту остроконечный“.

Форма этой вершины здѣсь отмѣчается другимъ признакомъ: не по числу главъ, а по рисунку острыхъ очертаній.

Бештау описывается окруженнымъ кольцомъ холмовъ. Мгновенная фантазія поэта производитъ причудливыя метаморфозы. Уже исчезъ образъ „пустыни сторожъ вѣчный“. Проходятъ вѣка за вѣками. И неизмѣнно снѣжный Бештау стережетъ предверіе пустыни, раскинувшейся у его ногъ. Кромѣ Бештау, встрѣчается у поэта описаніе другой вершины Кавказскаго хребта—Эльбруса:

„колосъ двуглавый,  
Въ вѣнцѣ блистая ледяномъ,  
Эльбрусъ огромный, величавый  
Бѣлѣлъ на небѣ голубомъ“. (Кавк. Плѣн., ч. I).

Эльбрусъ отчетливо рисуется на голубоватомъ фонѣ неба строгими линіями своей снѣжной верхушки. Изломы его очертаній красиво сравниваются съ вѣнцомъ, возложеннымъ на голову.

Эпитеты, которые употребляются поэтомъ, близки эпитетамъ, характеризующимъ Бештау. Бештау названъ „пятиглавымъ“, Эльбрусъ—„двуглавымъ“. Бештау называется „величавымъ пустынникомъ“, Эльбрусъ—просто „величавымъ“. Машику описывается иначе:

„зеленѣющій Машукъ,  
Машукъ, податель струй цѣлебныхъ;  
Вокругъ ручьевъ его волшебныхъ  
Больныхъ тѣснится блѣдный рой“.

(Странствіе Евг. Он.).

Машукъ изображается въ зеленомъ уборѣ лѣсовъ. Вниманіе поэта направляется не на его внѣшній видъ, а на его скрытую внутреннюю силу, на цѣлебныя струи источниковъ. При описаніи другой вершины, Казбека, поэтъ пользуется сравненіемъ съ бѣлымъ шатромъ:

„Высоко надъ семьею горъ,  
Казбекъ, твой царственный шатеръ  
Сіяетъ вѣчными лучами“. (Монастырь на Казбекѣ).

Поэтъ въ связи съ горами упоминаетъ о пещерахъ. Въ пещерахъ „подъ дремлющими сводами, ровесниками самой природы“ (Русл. и Людм., п. I, 200—201) ютятся горныя сатиры:

„Вдругъ изъ глубины пещеры  
Чтитель Вакха и Венеры,  
Рѣзвыхъ фавновъ господинъ,  
Выбѣжалъ Эрміевъ сынъ“. (Блаженство).

Въ пещеру поэтъ помѣщаетъ колдуна Финна.

Въ одномъ отрывкѣ 1829 г. Пушкинъ набрасываетъ бѣглыми, но сильными штрихами горное ущелье:

„Тѣсно и душно  
Въ дымномъ ущельѣ,  
Тучи да снѣгъ...  
Небо чуть свѣтитъ,  
Какъ изъ тюрьмы“.

Горы у Пушкина застыли въ своей красивой неподвижности. Онъ даетъ имъ или образъ человѣка, или одного изъ предметовъ человѣческаго обихода. Онъ жадно слѣдитъ за ихъ измѣнчивой красотой, за переливами дневныхъ и вечернихъ красокъ. Онѣ являются то „синими“, то „сѣдыми“, то

„румяными“. Онъ любитъ сверкающими очертаніями ихъ снѣговыхъ вершинъ. Но—горы остаются передъ нимъ безмолвными декоративными украшеніями, чуждыми жизни. Для Тютчева горы полны божественнаго бытія. Ихъ внутренняя стихійная жизнь выше внутренней человѣческой жизни:

„Какъ божества родныя,  
Надъ усыпленною землей,  
Играють выси ледяныя  
Съ лазурью неба огневой“. (Снѣжныя горы).

Стихійное бытіе горъ отдѣляется отъ темнаго существованія человѣка и сливается съ вѣчнымъ бытіемъ боговъ.

### Смѣна дня и ночи.

Теперь рассмотримъ *смѣну дня и ночи*.

Поэтъ *утро* называетъ „золотымъ“ (Вадимъ). Утромъ человѣкъ просыпается бодрымъ и полнымъ свѣжихъ, еще не растрченныхъ силъ. Поэтъ говоритъ о немъ:

„Утро—вдохновенья часъ“ (Элегія).

И первый лучъ его и шумъ его поэтъ называетъ однимъ и тѣмъ же эпитетомъ „игривый“:

„Утра лучъ игривый“ (Русл. и Людм., п. IV, 196).

Въ поэмѣ „Полтава“:

„Раздался утра шумъ игривый“ (п. II).

Утромъ тиха и спокойна душа человѣка. Исчезаютъ безслѣдно ночныя тревоги. Утренній часъ, какъ выразился поэтъ, часъ „безмятежный“ (Бахч. фонтанъ).

Утренняя заря описывается постоянно поэтомъ. Она называется синонимомъ „денницей“. Это слово было въ почетѣ и у Батюшкова и у Жуковскаго. Описанія зари, мимолетныя и однообразныя, принимаютъ красивое выраженіе, благодаря многоцвѣтной игрѣ красокъ. — Народная поэзія одѣваетъ утреннюю зарю въ бѣлыя одежды. Поэтъ использовалъ этотъ

тонъ ея одѣяній, невинныхъ и чистыхъ, какъ свадебный нарядъ юной невѣсты:

„Какъ весенней теплой порою  
Изъ-подъ утренней бѣлой зорюшки

. . . . .  
Выходила медвѣдиха“ (Начало сказки).

Въ одной изъ сказокъ снова повторяется бѣлый цвѣтъ зари:

„инда очи  
Разболѣлись, глядючи  
Съ бѣлой зари до ночи“ (Ск. о Мертв. Цар.).

Но скромная бѣлая заря, навѣянная народными пѣснями, смѣняется блестящей соперницей. Поэтъ любитъ изображать утреннюю зарю въ ликѣ богини Авроры. Ея одежды изъ золота и пурпура. Овидій въ „Метаморфозахъ“ рассказываетъ о пробужденіи Авроры:

„Вдругъ проснувшись, Аврора раскрыла на  
свѣтломъ востокѣ  
Двери пурпурныя и всѣ, розами полныя сѣни...“  
(„Фазтонъ“, кн. II, пер. Фета).

Утромъ, завернувшись въ пурпурныя складки длиннаго хитона, Аврора появляется въ дверяхъ своего золотого чертога:

„утренней порфирой  
Аврора вѣчная блеснетъ...“ (Егип. ночи).

Пушкинъ не показываетъ намъ золотого лица богини. Передъ нами лишь ея одежды, рдѣющія краснымъ золотомъ. Въ одномъ мѣстѣ изъ „Евг. Онѣгина“ встрѣчается причудливое описаніе зари:

„Но вотъ багряною рукою  
Заря, отъ утреннихъ долинъ,  
Выводитъ съ солнцемъ за собою  
Веселый праздникъ именинъ“ (Гл. V, XXV).

Это—та же богиня Аврора. И снова она является передъ нашимъ взоромъ съ ликомъ, покрытымъ темнымъ покрываломъ. На фонѣ утренняго неба показывается лишь ея одинокая рука багряннаго цвѣта въ тонъ ея одѣяній.

Всѣми оттѣнками краснаго цвѣта одаряется поэтомъ заря:

„Денница красная выводитъ  
Златое утро въ небеса“ (Кольна).

Красныя одежды смѣняются багряными:

„Зари багряной полоса  
Объемлетъ ярко небеса“ (Полтава, п. II).

Въ другомъ мѣстѣ:

„заря багряна  
Лучами солнца возжена“ (Кольна).

Въ поэмѣ „Мѣдн. Всадн.“ описывается утро послѣ навод-  
ненія:

„Багряницей

Уже прикрыто было зло“ (ч. II).

Послѣ густыхъ красныхъ цвѣтовъ слѣдуютъ болѣе блѣдныя:

„тихая денница  
Румянитъ небеса“ (Фавнъ и Паст.).

Цвѣтъ румянца начинаетъ блѣднѣть. Красный цвѣтъ пере-  
ходитъ въ розовые оттѣнки:

„Здѣсь, розовой денницы  
Не видя никогда...“ (Къ Галичу).

Заря, подобно своенравной красавицѣ, мѣняетъ цвѣта  
своихъ нарядовъ. Бѣлыя одежды смѣняются красными. Кра-  
сныя уступаютъ мѣсто одеждамъ, сотканнымъ изъ золота:

„Въ часы денницы золотой...“ (Къ Юдину).

Или въ другомъ произведеніи:

„востокъ озолотится...“ (Мое завѣщ. друзьямъ).

Цвѣтъ золота переходитъ въ красновато-желтый цвѣтъ  
пламени:

„Покойтесь безмятежно  
До пламенной зари“ (Фавнъ и Паст.).

Эта окраска зари повторяется еще разъ:

„въ зыбкихъ облакахъ денница  
Разлита пламенной рѣкой“ (Окно).

Передъ нами проносится быстрая пляска красокъ, рдѣю-  
щихъ кровью, блистающихъ златомъ.

Поэтъ любить изображать предразсвѣтные сумерки. Когда и небо и земля покрыты однотонной блѣдно-голубой дымкой:

„Она любила на балконѣ  
Предупреждать зари восходъ,  
Когда на блѣдномъ небосклонѣ  
Звѣздъ исчезаетъ хороводъ,  
И тихо край земли свѣтлѣеть,  
И, вѣстникъ утра, вѣтеръ вѣеть,  
И всходитъ постепенно день“. (Евг. Он., гл. II, XXVIII).

Свое стройное описаніе поэтъ начинаетъ съ неба, постепенно спускаясь къ землѣ. Небосклонъ еще „блѣдень“. Звѣзды гаснутъ одна за другой. Побѣлѣлъ край земли на востокѣ. Пробѣжалъ предразсвѣтный вѣтерокъ. Описаніе обрывается на появленіи зари.

Или, въ другомъ мѣстѣ, опять встрѣчаемъ предразсвѣтные сумерки:

„Прекрасны вы, берега Тавриды,  
Когда васъ видишь съ корабля  
При свѣтѣ утренней Киприды,  
Какъ васъ впервой увидѣлъ я.  
Вы мнѣ предстали въ блескѣ брачномъ:  
На небѣ синемъ и прозрачномъ  
Сіяли груди вашихъ горъ.  
Долинъ, деревьевъ, сель узоръ  
Разостланъ былъ передо мною“. (Странствіе Евг. Он.).

Зари еще нѣтъ. Еще царить свѣтлая южная ночь, близкая къ утру. Одиноко горитъ утренняя звѣзда. Ея золотыя подружки уже погасли. Южное небо приняло прозрачно-синій цвѣтъ. Берега Крыма открываются съ моря—голубоватой панорамой. Они прекраснѣе, чѣмъ когда-либо. Ихъ красота называется поэтомъ „блескомъ брачнымъ“. Такъ невѣста наиболѣе прекрасна въ день своей свадьбы.

Утромъ, когда только что показывается золотой ободокъ солнечнаго диска, лучи его освѣщаютъ всегда сначала точки

болѣе высокорасположенныя: вершины горъ, верхушки деревьевъ. И только послѣ этого солнечный лучъ медленно спускается внизъ.

Поэтъ въ одномъ описаніи утра схватываетъ эту особенность:

„На полусвѣтлый небосклонъ  
Восходитъ утро золотое.  
Съ деревъ, съ утесистыхъ вершинъ  
Навстрѣчу радостной денницы  
Щебеча полѣтели птицы,  
И разсвѣло“... (Вадимъ).

Всюду мы видѣли или блѣдный разсвѣтъ или зарю. Есть у поэта и описаніе утра въ полномъ расцвѣтѣ:

„Подъ голубыми небесами,  
Великолѣпными коврами,  
Блестя на солнцѣ, снѣгъ лежить;  
Прозрачный лѣсъ одинъ чернѣть,  
И ель сквозь иней зеленѣть,  
И рѣчка подо льдомъ блестить.  
Вся комната янтарнымъ блескомъ  
Озарена“. (Зимнее утро).

Исчезаетъ призрачная дымка, неясность очертаній, блѣдность красокъ. Все вокругъ свѣтло, ярко, отчетливо. Солнце разогнало голубыя полутѣни рассвѣта.

И янтарнымъ блескомъ озарило и лѣсъ, и застывшую рѣчку, и комнату поэта.

Итакъ, мы видимъ, какъ описываетъ Пушкинъ утро. Онъ отмѣчаетъ ряды постепенно то густѣющихъ то блѣднѣющихъ красокъ. Онъ ловитъ умирающіе лучи звѣздъ. Онъ слышитъ трепеть пробѣжавшаго предутренняго вѣтерка. Но самый актъ наступленія утра совершается у Пушкина механическимъ, безжизненнымъ путемъ. Тютчевъ вливаетъ жизненный эликсиръ въ этотъ процессъ. Онъ не только описываетъ утро. Онъ вдуваетъ въ него живую трепещущую душу.

Спить дѣвушка въ блѣдномъ сумракѣ разсвѣта. Появляется первый солнечный лучъ:

„Вотъ тихоструйно, тиховѣйно,  
Какъ вѣтеркомъ занесено,  
Дымно-легко, мглисто-лилейно  
Вдругъ что-то порхнуло въ окно.  
Вотъ невидимкой пробѣжало  
По темно-брезжущимъ коврамъ;  
Вотъ, ухватясь за одѣяло,  
Взбираться стало по краямъ;  
Вотъ, словно змѣйка извиваясь,  
Оно на ложе взобралось,  
Вотъ, словно лента развѣваясь,  
Межъ пологами развилось!  
Вдругъ животрепетнымъ сіяньемъ  
Коснувшись персей молодыхъ,  
Румянымъ, громкимъ восклицаньемъ  
Раскрыло шелкъ рѣсницъ твоихъ“. (Соч. Тютчева.  
Изд. Маркса стр. 33).

Радостный привѣтъ солнечнаго луча пробуждаетъ спящую дѣвушку. Солнце встало. Вся природа радуется свѣтлому приходу бога. Отчего же она безмолвна? Почему она не соединяетъ и свой нѣжный голосъ къ поющему хору природы?

*Вечеръ* не такъ многоцвѣтно отразился въ поэзіи Пушкина, какъ утро. Вечеръ поэтъ называетъ „синимъ“ (Альб. Евг. Он.). Вечерняя заря сіяетъ переливами тѣхъ же красокъ, какъ и утренняя:

„Ужъ поблѣднѣлъ закатъ румяный“ (Русл. и Людм.,  
п. III, 215).

Въ этой же поэмѣ:

„Но день багряный вечерѣлъ“ (п. IV, 58).

Краски сгущаются до темныхъ оттѣнковъ:

„Справа западъ темно-красный“ (Черн. набр. 1824 г.).

Въ стих. „Городокъ“:

„на закатъ

Послѣдній лучъ зари

Потонетъ въ яркомъ златѣ“.

Въ стих. „Наполеонъ на Эльбѣ“:

„Гаснетъ день, мгновенно мгла сокрыла

Лицо пылающей зари“.

Въ одномъ описаніи вечера встрѣчается черта, которую мы уже уловили въ изображеніи утра.

Вечерняя заря, погасая, послѣдними лучами еще озаряетъ высокія мѣста, когда внизу все покрыто мглой наступающей ночи:

„потухалъ закатъ огнистый,

Злата нагорныя скалы...“ (Галубъ).

Майковъ въ стихотвореніи „Жрецъ“ особенно ярко подчеркиваетъ эту особенность зорь:

„Пустыня въ сумракѣ синѣла;

Верхушка пальмы лишь алѣла

Надъ головой его, одна

Закатомъ дня озарена“.

Въ „Евг. Онѣгинъ“ мы находимъ описаніе постепеннаго наступленія вечера:

„Былъ вечеръ. Небо меркло. Воды

Струились тихо. Жукъ жужжалъ.

Ужъ расходились хороводы.

Ужъ за рѣкой, дымясь, пылалъ

Огонь рыбацій“. (Гл. VII, XV).

Синій вечеръ незамѣтно переходитъ въ темную ночь. И это наступленіе все темнѣющихъ и темнѣющихъ сумерокъ выражено поэтомъ въ медленномъ сгущеніи красокъ и въ медленномъ замираніи звуковъ. Сначала идутъ сѣрыя сумерки: „небо меркнетъ“. Сѣрыя краски темнѣютъ. И переходятъ въ ночь. Уже такъ темно, что вдали рыбаки зажигаютъ огни. Вмѣстѣ съ темнотой кругомъ дѣлается все тише и тише.

„Воды струяся“ болѣе тихо, чѣмъ это было днемъ. Явственно слышно жужжаніе пролетѣвшаго жука.

Замолкли звонкія пѣсни веселыхъ хороводовъ. Наступаетъ темная молчаливая ночь.

Въ этомъ описаніи выдержана поэтомъ строгая постепенность перехода вечера въ ночь. Въ раннемъ стихотвореніи „Кольна“, поэтъ пользуется другимъ приѣмомъ для выраженія этого же перехода:

„Небесъ сокрылся вѣчный житель,  
Заря потухла въ небесахъ;  
Луна въ воздушную обитель  
Спѣшитъ на темныхъ облакахъ“.

Переходъ вечера въ ночь отбѣняется мгновенною смѣною солнца луною. Умираетъ солнце вмѣстѣ съ лиловыми тѣнями вечера. Рождается луна въ черныхъ тѣняхъ только что при-близившейся ночи. Этотъ приѣмъ повторяется поэтомъ и въ другомъ мѣстѣ, принявъ нѣкоторое измѣненіе. Въ стихотвореніи „Сраженный рыцарь“ рисуется пейзажъ, освѣщенный вечернимъ солнцемъ:

„Послѣднимъ сіяньемъ за рощей горя,  
Вечерняя тихо потухла заря.  
Темнѣетъ долина глухая.  
Въ туманѣ пустынномъ клубится рѣка;  
Лѣнливой грядою идутъ облака  
И съ ними луна золотая“...

Отмѣчается поэтомъ тотъ же переходъ вечерѣющаго дня въ ночь. И этотъ переходъ выраженъ быстрой смѣной сіяющей зари— луною. Солнца уже нѣтъ. На западѣ только что горѣли пурпурныя розы. Теперь же медленно всходитъ луна „золотая“.

Въ стихотвореніи „Сонъ“ поэтъ сочеталъ въ одно стройное настроеніе медленное наступленіе вечера параллельно съ возрастающимъ сномъ человѣка. Ненасытный хмурый вечеръ

двигается все ближе и ближе къ ночи. И растеть все сильнѣе и сильнѣе непреодолимое стремленіе ко сну:

„Случалось ли ненастной вамъ порой  
Дня зимняго при позднемъ тихомъ свѣтѣ,  
Сидѣть однимъ безъ свѣчки въ кабинетѣ:  
Все тихо вокругъ; березы больше нѣтъ;  
Часъ отъ часу темнѣеть оконъ свѣтъ,  
На потолокъ какой-то призракъ бродить;  
Блѣднѣеть ужъ, и синеватый дымъ,  
Какъ легкій паръ, въ трубу, віясь, уходитъ.  
И вотъ жезломъ невидимымъ своимъ  
Морфей на все невѣрный мракъ наводитъ.  
Темнѣеть взоръ: „Кандидъ“ изъ вашихъ рукъ,  
Закрывшия, упалъ въ колѣни вдругъ.  
Вздохнули вы; рука на столъ валится,  
И голова съ плеча на грудь катится.  
Вы дремлете; надъ вами мира кровь“.

Вечеръ, какъ и утро, нашелъ себѣ одинаковое выраженіе въ поэзіи Пушкина. Поэтъ плѣнился яркостью ихъ красокъ. И отмѣтилъ ихъ переливы въ букетѣ рдѣющихъ розъ. Но эти розы не дышать, не трепещуть. Не тянутся онѣ жадными устами къ солнцу. Имъ чужда радость бытія. Вечеръ смѣняется ночью.

*Ночь*, какъ и луна, нашла себѣ таинственное отраженіе въ поэзіи Пушкина. Онъ осыпаетъ ее жемчугомъ своихъ эпитетовъ. По своимъ настроеніямъ ночь называется: „тихая“ (Полтава, п. II) „спящая“ (Стихи, сочиненные во время безсонницы), „задумчивая“ (Мѣдн. Всадн., вступл.) „бездыханная“ (Странствіе Евг. Он.), „безмятежная“ (Сонъ), „нѣмая“ (Пробужденіе), „безмолвная“ (Городокъ). Или она переживаетъ таинственныя настроенія. У ней „волшебная темнота“ (Мечтатель), она „таинственная“ (Сонъ). Ночь иногда бываетъ „печальной“ (Кольна), иногда „сладострастной“ (О дѣва—роза). По отношенію къ человѣку она бываетъ „благосклонной“ (Евг. Онѣг., гл. I, XLVII). Иногда ея состояніе

мѣняется. Ночь называется поэтомъ и эпитетами: „угрюмая“ (Восп. въ Царск. Селѣ), „унылая полночь“ (Къ Юдину), она „праздная“ (Соловей и Кукушка). По цвѣту своему ночь иногда „смеркающаяся“ (Городокъ), „безлунная“ (Кавк. Плѣн.), „темная“ (Русл. и Людм., п. II, 501), „мутная“ (Бѣсы), у ней „темная краса“ (Бахч. фонт.) или, наоборотъ, „лунная“ (Русл. и Людм. п. IV, 212). Смотря по тому, къ какому времени года относится ночь,—измѣнчивы ея качества: „ненастная“ (Къ Наташѣ), „морозная“ (Евг. Он., гл. V, IX), „долгая“ (Цыганы), „теплая“ (Полтава, п. II).

Поэтъ любитъ изображать ночь въ видѣ темной тѣни, которая приближается въ сумеркахъ и, сгущаясь, покрываетъ всю землю прозрачно-чернымъ покрываломъ:

„На хижины сходила ночи тѣнь“... (Рѣдѣть облаковъ летучая гряда).

Въ другомъ мѣстѣ:

„на нѣмыя стогны града  
Полупрозрачная наляжетъ ночи тѣнь“ (Воспоминаніе).

Въ поэмѣ „Русланъ и Людмила“:

„Съ востока льется ночи тѣнь“... (п. I, 180).

Въ поэмѣ „Кавк. Плѣнникъ“:

„все въ ночной тѣни  
Объято нѣгою спокойной“ (п. I).

И тамъ же:

„на холмахъ пеленою  
Лежитъ безлунной ночи тѣнь“ (ч. I).

Или послѣдній примѣръ изъ „Евг. Онѣгина“:

„Зимой, когда ночная тѣнь  
Полміромъ долѣ обладаетъ“ (гл. II, XXVIII).

Кромѣ того, поэтъ изображаетъ ночь крылатымъ существомъ, закрывающимъ при полетѣ землю черными крыльями:  
„тихъ полетъ полнощи“. (Мечтатель).

Въ другомъ произведеніи:

„тихаго полета ночи  
Въ глубокой думѣ не слыхаль“. (Русл. и Людм.,  
п. I, 498, 499).

Ночь поэтъ часто соединяетъ съ пѣніемъ соловья:

„Въ лѣсахъ, во мракѣ ночи праздной,  
Весны пѣвецъ разнообразной  
Урчить, и свищеть, и гремитъ“. (Соловей и Кукушка).

Этотъ мотивъ повторяется еще въ нѣсколькихъ вариантахъ:

„и соловей  
Ужъ пѣлъ въ безмолвіи ночей“. (Евг. Он., гл. VII, I).

Музыкальныя ноты соловьиного пѣнія нарушаютъ тишину ночи. Но кромѣ этихъ звуковъ, поэтъ улавливаетъ еще иной шумъ въ ночной темнотѣ, который заглушается криками суетливаго дня.

Ночная тишина сочетается имъ съ шумомъ рѣки:

„Ночной зефиръ  
Струить ээиръ.  
Шумить, бѣжить  
Гвадалквивиръ“. (Испанск. романсъ).

Шумъ рѣки смѣняется шумомъ моря:

„И бездыханна и тепла  
Нѣмая ночь. Луна возшла.  
Прозрачно-легкая завѣса  
Объемлетъ небо. Все молчить,  
Лишь море Черное шумить“. (Странствіе Евг. Он.).

Въ поэмѣ „Кавк. Плѣнникъ“ встрѣчается описаніе ночи, усыпляющей своими чарами всю природу:

„померкнувъ, степь уснула;  
Вершины скалъ омрачены;  
По бѣлымъ хижинамъ аула  
Мелькаетъ блѣдный свѣтъ луны.

Олени дремлють надъ водами;  
Умолкнулъ поздній крикъ орловъ;  
И глухо вторится горами  
Далекій топотъ табуновъ“. (ч. I).

Вся природа заворожена чарованіями ночи. Степь „уснула“. Луна—сонная: ея свѣтъ „блѣденъ“. Олени „дремлють“ по берегамъ рѣки. „Умолкли“ крики орловъ. Горы, сквозь сонъ, „глухо“ повторяютъ ночные звуки.

Пушкинъ часто описываетъ ночь. Онъ изображаетъ и сѣверныя ночи и знойныя ночи юга. Иногда въ одномъ и томъ же поэтическомъ наброскѣ ставитъ ихъ рядомъ, чтобы ярче отѣнить ихъ своеобразную красоту, чтобы рельефнѣе провести грань между тою и другою. Въ поэмѣ „Мѣдный Всадникъ“ описывается бѣлая петербургская ночь:

„Твоихъ задумчивыхъ ночей  
Прозрачный сумракъ, блескъ безлунный,  
Когда я въ комнатѣ моей  
Пишу, читаю безъ лампы;  
И ясны спящія громады  
Пустынныхъ улицъ, и свѣтла  
Адмиралтейская игла.  
И не пуская тьму ночную  
На золотыя небеса,  
Одна заря смѣнить другую  
Спѣшитъ, давъ ночи полчаса“. (Вступленіе).

Поэтъ часто отмѣчаетъ „прозрачность“ и въ южныхъ ночахъ. Но тамъ эту прозрачность создаетъ луна. Здѣсь нѣтъ луны. У ночи „блескъ безлунный“. Прозрачность бѣлой ночи дѣлаетъ „ясными“ и линіи спящихъ улицъ и адмиралтейскій шпиць. Поэтъ точно опредѣляетъ время между двумя зорями. Бѣлая ночь длится лишь „полчаса“.

Въ „Полтавѣ“ передъ нами открывается лѣтняя ночь въ Малороссіи. Стройное описаніе начинается поэтомъ съ неба и звѣздъ. Потомъ идетъ воздушное пространство между

небомъ и землей. И ниже — описаніе спускается до тополей шумящихъ серебристыми верхушками:

„Тиха украинская ночь.  
Прозрачно небо. Звѣзды блещуть.  
Своей дремоты превозмочь  
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещуть  
Серебристыхъ тополей листы.  
Луна спокойно съ высоты  
Надъ Бѣлой Церковью сіяетъ  
И пышныхъ гетмановъ сады,  
И старый замокъ озаряетъ.  
И тихо, тихо все кругомъ“. (п. II).

Поэтъ отмѣчаетъ опять „прозрачность“ ночи, какъ и въ прочитанномъ отрывкѣ изъ поэмы „Мѣдный Всадникъ“. Но здѣсь эта прозрачность создается свѣтомъ луны.

Въ поэмѣ „Бахчисарайскій фонтанъ“ поэтъ рисуетъ лѣтнюю ночь въ Крыму:

„Настала ночь. Покрылись тѣнью  
Тавриды сладостной поля.  
Вдали подъ тихой лавровъ сѣнью  
Я слышу пѣнье соловья.  
За хоромъ звѣздъ луна восходитъ;  
Она съ безоблачныхъ небесъ  
На доли, на холмы, на лѣсъ  
Сіянье томное наводитъ“.

Здѣсь описаніе идетъ въ обратномъ порядкѣ по сравненію съ описаніемъ украинской ночи. Отъ низа оно подымается къ верху. Поэтъ начинаетъ съ полей. Потомъ идутъ лавровые своды съ соловьемъ. Выше — звѣзды и луна. Эта ночь полна томныхъ настроеній. Ее зачаровала томная луна. Вообще, поэтъ подчеркиваетъ сладострастную нѣгу южныхъ ночей довольно часто:

„Какъ милы темныя красы  
Ночей роскошнаго востока!

Какъ сладко льются ихъ часы  
Для обожателей Пророка!  
Какая нѣга въ ихъ домахъ,  
Въ очаровательныхъ садахъ,  
Въ тиши гаремовъ безопасныхъ,  
Гдѣ подѣ вліяніемъ луны  
Все полно тайнъ и тишины  
И вдохновеній сладострастныхъ“! (Бахч. фонтанъ).

Южная ночь навѣваетъ нѣгу. Нѣгою полны дома. Нѣгою полны сады. Нѣгою полны гаремы. Ночь отравлена чарами луны. Луна выращиваетъ въ ночной мглѣ призрачные цвѣты. Они распространяютъ пряный ароматъ, отъ котораго кружится голова въ сладкой истомѣ. Характеръ луны окрашиваетъ настроеніе ночи. Въ описаніи украинской ночи луна „спокойно“ сіяетъ. И весь колоритъ ночи дышетъ безмятежнымъ успокоеніемъ. Луна свѣтитъ „томно“. И вся ночь окутывается томными грезами. Луна полна сладострастной нѣги. И ночь дышетъ нѣгою. Въ драмѣ „Каменный гость“ поэтъ проводитъ параллель между ночью юга и ночью сѣвера:

„недвижимъ теплый воздухъ. Ночь лимономъ  
И лавромъ пахнетъ. Яркая луна  
Блеститъ на синевѣ густой и темной“.

Знойная и страстная испанская ночь. Она напоена ароматомъ лимона и лавра. Поэтъ отмѣчаетъ благовоніе ночи. Этой черты мы нигдѣ не встрѣчали раньше въ описаніяхъ ночей. Кругомъ яркія краски безъ тѣней. Краски юга. Небо окрашено въ „густой и темный“ синій цвѣтъ. И въ первый и въ послѣдній разъ поэтъ называетъ луну эпитетомъ „яркая“. Яркій тонъ ея золотого диска составляетъ полную гармонію съ красками всей природы. „Яркая“ луна обладаетъ большею силою, чѣмъ блѣдная, какъ все яркое было всегда синонимомъ сильнаго, блѣдное — синонимомъ слабого. Испанская ночь подѣ вліяніемъ „яркой“ луны дышетъ знойною лаской. И чтобы ярче синѣло испанское небо, ярче горѣла испан-

ская луна, ароматнѣе благоухалъ лимонъ, воздухъ дѣлался болѣе жгучимъ,—поэтъ рядомъ ставитъ холодную сѣверную ночь:

„А далеко на сѣверѣ, въ Парижѣ,  
Быть можетъ, небо тучами покрыто, —  
Холодный дождь идетъ и вѣтеръ дуетъ“.

Въ Мадритѣ — темносинее небо. Въ Парижѣ — небо „тучами покрыто“. Въ Мадритѣ „недвижимъ теплый воздухъ“. Въ Парижѣ — „холодный дождь идетъ“.

Подобныя параллели любить употреблять Пушкинъ. Мы этотъ пріемъ еще разъ встрѣчаемъ въ стихотвореніи „Ненастный день потухъ“. Здѣсь нѣтъ такого рѣзкаго различія между двумя ночами.

Краски блѣднѣе. И противопоставленіе сдѣлано не такъ рѣзко. Сначала идетъ описаніе сѣверной ночи:

„Ненастный день потухъ; ненастной ночи мгла  
По небу стелется одеждою свинцовой.  
Какъ привидѣніе, за рощею сосновой  
Луна туманная взошла“...

День потухъ, какъ потухаетъ факель. Наступаетъ хмурая и холодная ночь. И поэтъ вспоминаетъ другую ночь. Южную ночь, которая въ далекихъ краяхъ, теперь же, вотъ въ эти мгновенья, даритъ свои теплыя ласки:

„Далеко тамъ луна въ сіяніи восходитъ.  
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой;  
Тамъ море движется роскошной пеленой  
Подъ голубыми небесами“...

Здѣсь — мгла покрываетъ небо „одеждою свинцовой“. Тамъ — „голубыя небеса“. вмѣсто сѣрыхъ одеждъ—голубыя. Здѣсь туманная луна, „какъ привидѣнье“. Тамъ — луна „въ сіяніи восходитъ“. Ночью человѣкъ чувствуетъ сильнѣе власть природы. День слишкомъ шуменъ, чтобы слышать тихіе звуки. Слишкомъ яркъ, чтобы уловить призрачную пляску тѣней. День полонъ крикливыхъ заботъ. Ночь полна тайны.

Ночь рождает тѣни. Чуть слышимый шорохъ. Встаютъ блѣдные лики видѣній. Посредствомъ этихъ еле уловимыхъ ухомъ звуковъ, посредствомъ еле различаемыхъ глазомъ очертаній природа говорить съ человѣкомъ:

„Мнѣ не спится: нѣтъ огня.  
Всюду мракъ и сонъ докучный;  
Ходъ часовъ лишь однозвучный  
Раздается близъ меня.  
Парки бабье лепетанье,  
Спящей ночи трепетанье,  
Жизни мышья бѣготня,  
Что тревожишь ты меня?  
Что ты значишь, скучный шопоть:  
Укоризну или ропоть  
Мной утраченного дня?  
Отъ меня чего ты хочешь?  
Ты зовешь или пророчишь?  
— Я понять тебя хочу,  
Темный твой языкъ учу“.

(Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы).

День во власти человѣка. Ночью человѣкъ во власти природы, во власти ея таинственныхъ, непознанныхъ силъ. У Пушкина мы видимъ лишь темное отраженіе ночныхъ настроеній. Онъ слышитъ странные голоса. Его томятъ неясныя волненія. Онъ хочетъ понять ночной шопоть. Хочетъ разгадать скрытую причину душевнаго смятенья. Онъ учитъ темный языкъ ночи. Но неподвижно черное покрывало тайны. Нѣтъ отвѣта. Ночные звуки остаются для него непонятными іероглифами египетскихъ пустынь.

Темный языкъ ночи разгаданъ Тютчевымъ. Для него— онъ звучитъ милою рѣчью далекой отчизны. Тютчевъ объясняетъ таинственное вліяніе ночи на человѣка. Хаосъ окружаетъ весь міръ вещей своими темными волнами. День, какъ лучезарная ткань скрываетъ хаосъ отъ взора человѣка. Но

близится ночь. Сорванъ блистающій покровъ. Обнажены бездны вѣчнаго хаоса. Человѣкъ явственно ощущаетъ свою близость къ нему. Человѣкъ ночью отданъ во власть стихійнымъ силамъ:

„Но меркнетъ день, настала ночь;  
Пришла — и съ міра рокового  
Ткань благодатную покрова  
Сорвавъ, отбрасываетъ прочь...  
И бездна намъ обнажена  
Съ своими страхами и мглами,  
И нѣтъ преградъ межъ ей и нами:  
Вотъ отчего намъ ночь страшна!“ (День и ночь).

### Времена года.

Послѣ смѣны дня и ночи, рассмотримъ *смѣну времени года*: весну, лѣто, осень и зиму.

*Весну* Пушкинъ называетъ эпитетами „красная“ (Къ Юдину), „легкая“ (Виноградъ), „сладостная“ (Осеннее утро), „пора любви“ (Евг. Он., гл. VII, II), „утро года“ (Евг. Он., гл. VII, I), „гостяя дорогая“ (Только что на проталинахъ весеннихъ), „краса природы“ (Цыганы):

„Пора тепла, цвѣтовъ, работъ,  
Пора гуляній вдохновенныхъ  
И соблазнительныхъ ночей“ ... (Евг. Он., гл. VII, IV).

Въ двухъ мѣстахъ поэтъ рисуетъ таянье снѣговъ весною:

„Весной растопленного снѣга  
Потоки мутные текли  
И рыли влажну грудь земли“

(Русл. и Людм., п. II, 61—63).

Въ „Евгениі Онѣгинѣ“:

„Гонимы вешними лучами,  
Съ окрестныхъ горъ уже снѣга  
Сбѣжали мутными ручьями  
На потопленные луга“ (Гл. VII, I).

Природа радостно встрѣчаетъ весну послѣ своего зимняго сна:

„Улыбкой ясною природа  
Сквозь сонъ встрѣчаетъ утро года.  
Синѣя, блещутъ небеса;  
Еще прозрачные лѣса  
Какъ будто пухомъ зеленѣютъ;  
Пчела за данью полевой  
Летить изъ кельи восковой;  
Долины сохнутъ и пестрѣютъ,  
Стада шумятъ, и соловей  
Ужъ пѣль въ безмолвіи ночей“ . (Евг. Он., гл. VII, I).

Поэтъ при этомъ описаніи употребляетъ свой любимый приемъ. Начинаетъ рисовать картину сверху и заканчиваетъ ее внизу. Сначала идутъ радостные небеса. За ними—слѣдуютъ лѣса, едва покрытые зеленымъ пухомъ. Ниже—пестрыя долины и бродящія по нимъ стада. Природа „ясною улыбкой“ выражаетъ радость при приближеніи весны.

И растительное и животное царства вновь пробуждаются къ жизни. Поэтъ, въ другомъ мѣстѣ, изображаетъ весеннее ликование рѣки, освободившейся отъ своихъ тяжелыхъ ледяныхъ одеждъ:

„взломавъ свой синій ледъ,  
Нева къ морямъ его несетъ  
И, чуя вешни дни, ликуеть“ (Мѣдн. Всадн., вступл.).

Бѣгло упоманутая поэтомъ, въ прочитанномъ нами отрывкѣ, пчелка, вылетающая изъ кельи восковой,—вновь появляется въ другой обстановкѣ:

„Только что на проталинахъ весеннихъ  
Показались ранніе цвѣточки,  
Какъ изъ царства воскового,  
Изъ душистой келейки медовой  
Вылетаетъ первая пчелка.  
Полетѣла по раннимъ цвѣточкамъ

О красной веснѣ развѣдать:  
Скоро ль будетъ гостья дорогая,  
Скоро ли луга зазеленѣютъ,  
Распустятся клейкіе листочки,  
Расцвѣтетъ черемуха душиста?“

(Изъ пѣсенъ, запис. Пушкинымъ).

Весна—свѣтлая фея для животнаго царства. Она „гостья дорогая“. Вмѣстѣ съ весной приходитъ для животныхъ солнце и радость бытія. И, погруженные въ мертвый зимній сонъ, они грезятъ о красныхъ волосахъ весны, объ ея горячей улыбкѣ. И ждутъ ея свѣтлаго прихода. Эти праздничныя весеннія настроенія окружающей природы иногда передаются и человѣку. Онъ соблюдаетъ обычай праздника Благовѣщенья—„свѣтлаго праздника весны“, какъ называетъ его поэтъ:

„Я сталъ доступенъ утѣшенью:  
За что на Бога мнѣ роптать,  
Когда хоть одному творенью  
Я могъ свободу даровать“ (Птичка).

Но лично поэтъ не любитъ весны:

„Я не люблю весны;  
Скучна мнѣ оттепель: вонь, грязь; весной я боленъ;  
Кровь бродитъ, чувства, умъ тоскою стѣснены“.  
(Осень).

Весна возбуждаетъ поэта страннымъ образомъ. Весною онъ „боленъ“. Бродитъ кровь. Безотчетная тоска овладѣваетъ всѣмъ его существомъ. Его весеннія настроенія противоположны весеннимъ же настроеніямъ всей природы:

„Какъ грустно мнѣ твое явленье,  
Весна, весна! пора любви!  
Какое томное волненье  
Въ моей душѣ, въ моей крови!  
Съ какимъ тяжелымъ умиленьемъ  
Я наслаждаюсь дуновеньемъ

Въ лицо мнѣ вѣющей весны  
На лонѣ сельской тишины!“

Поэтъ пытается разъяснить эту загадку психологическимъ путемъ:

„Или мнѣ чуждо наслажденье,  
И все, что радуешь, живить,  
Все, что ликуешь и блестяшь,  
Наводитъ скуку и томленье  
На душу, мертвую давно,  
И все ей кажется темно?“ (Евг. Он., гл. VII, II).

Можетъ быть, его душа пережила радость? Можетъ быть, она мертва? И ее оскорбляетъ чужое ликованье, кипучая молодая жизнь, подобно тому, какъ оскорбляетъ человѣка, склоненнаго надъ мертвымъ тѣломъ близкаго, чужой веселый смѣхъ?

„Или, не радуясь возврату  
Погибшихъ осенью листовъ,  
Мы помнимъ горькую утрату,  
Внимая новый шумъ лѣсовъ“?

Или человѣкъ, видя передъ собою зеленѣющей уборъ свѣжихъ листьевъ,—чувствуетъ на днѣ души своей скрытую печаль по увядшимъ листьямъ?

„Или съ природой оживленной  
Сближаемъ думою смущенной  
Мы увяданье нашихъ лѣтъ,  
Которымъ возрожденья нѣтъ?“ (Евг. Он., гл. VII, III).

Или же человѣкъ невольно проводитъ аналогію между жизнью природы и своею? Каждую осень умираютъ листья. Каждую весну вырастаютъ новые. Одни люди умираютъ. Другіе рождаются въ міръ. Вѣчная, непрерывная пляска жизни. И это порождаетъ темную скорбь.

Иныя настроенія навѣваются весною на Фета. Весенній шумъ звучитъ для него музыкой райскихъ садовъ:

„Заговорило, зацвѣло  
Все, что вчера томилось нѣмо,

И вздохи неба принесло  
Изъ растворенныхъ вратъ Эдема“.

Нѣтъ больше смерти. Шумить вокругъ юная жизнь. Нѣтъ больше ледяныхъ цѣпей. Зеленяя вѣтви деревьевъ, свободныя и радостныя, купаются въ солнечномъ блескѣ. Душа человѣка полна плѣнительныхъ сновъ. Она, какъ и окружающая природа, на мигъ забываетъ оковы сомнѣній. На мигъ, свободная и радостная, она вѣритъ лучезарной улыбкѣ весны:

„Нельзя предъ вѣчной красотой  
Не пѣть, не славить, не молиться“.

(Изд. Маркса, т. I, стр. 287).

Такія противоположныя переживанія навѣваетъ своимъ солнечнымъ крыломъ весна. Но не только весна была нелюбима Пушкинымъ. Еще болѣе удручающе дѣйствовало на него наше сѣверное *лѣто*. Картины природы въ лѣтнюю пору года совсѣмъ нѣтъ. Лѣто обставлено поэтомъ болѣе, чѣмъ бѣдно. Для лѣта поэтъ не находитъ въ своей неисчерпаемой царской сокровищницѣ эпитетовъ болѣе выразительныхъ, чѣмъ „красное“ (Осень), „быстрое“ (Евг. Он., гл. VII, XXIX), „сѣверное“ (Евг. Он., гл. IV, XL), „знойное“ (Цыганы). На этомъ истощается его творчество для описанія лѣта. Въ „Евгени Онѣгинѣ“ поэтъ небрежно и кратко замѣчаетъ о немъ:

„наше сѣверное лѣто,  
Карриатура южныхъ зимъ,  
Мелькнетъ — и нѣтъ“ (Гл. IV, XL).

Для весны поэтъ находитъ ея недостатки въ перечисленіяхъ:

„Скучна мнѣ оттепель: вонь, грязь (Осень).

Для лѣта тоже составляется списокъ его отрицательныхъ сторонъ:

„Охъ, лѣто красное, любилъ бы я тебя,  
Когда бъ не зной, да пыль, да комары, да мухи...“

Поэтъ сравниваетъ человѣка съ жаждущимъ влаги полемъ въ лѣтній зной:

„Ты, всѣ душевныя способности губя,  
Насъ мучишь; какъ поля, мы страдаемъ отъ засухи;  
Лишь какъ бы напоить да освѣжить себя —  
Иной въ насъ мысли нѣтъ“. (Осень).

Поля жаждутъ дождя. Человѣкъ жаждетъ питья. Лѣто расслабляетъ человѣка. И чтобы поддерживать въ себѣ бодрое настроеніе, чтобы „освѣжить“ себя, человѣкъ долженъ прибѣгать къ искусственнымъ мѣрамъ.

Рѣзкою гранью отдѣляются отъ лѣтнихъ настроеній Пушкина — настроенія Тютчева:

„Какое лѣто, что за лѣто!  
Да это просто колдовство“...

Яркія краски ослѣпляютъ поэта. Знойное солнце. Густыя, темныя тѣни, отбрасываемыя деревьями. Опьяняющій аромат пестрыхъ цвѣтовъ. Въ горячей истомѣ дремлющія степныя травы:

„Гляжу тревожными глазами  
На этотъ блескъ, на этотъ свѣтъ:  
Не издѣваются ль надъ нами?  
Откуда намъ такой привѣтъ?“

(Изд. Маркса, стр. 174).

Лѣто уходитъ. На смѣну ему показывается печальное лицо осени въ красныхъ одеждахъ. Пушкинъ называетъ *осень* пестрой вереницей эпитетовъ, въ которыхъ вылились причудливыя осеннія настроенія: „гнилая“ (Евг. Он., гл. VIII, XI), „дождливая“ (Шалость), „унылая пора“ (Осень), „скучная пора“ (Евг. Он., гл. IV, XV), у ней „холодная рука“ (Осен. утро), у ней „тихая краса, блистающая смиренно“ (Осень), она „золотая“ (Евг. Он., гл. VII, XXIX), красота ея „прощальная“ (Осень) она „пышное природы увяданье“ (Осень). Поэтъ отмѣчаетъ ея короткій день:

„Короче становился день“ (Евг. Он., гл. IV, XL).

Въ стихотвореніи „Осень“:

„Гаснетъ краткій день“.

Поэтъ перечисляетъ отрицательныя качества осени, какъ это онъ дѣлалъ и по отношенію къ веснѣ и къ лѣту:

„Въ послѣднихъ числахъ сентября  
(Презрѣнной прозой говоря)  
Въ деревнѣ скучно: грязь, ненастье,  
Осенній вѣтеръ, мелкій снѣгъ,  
Да вой волковъ“... (Графъ Нулинъ).

Въ поэмѣ „Цыганы“ опять слышится знакомый мотивъ:

И туманъ и непогоды  
Осень поздняя несетъ“.

Но всѣ ея недостатки на золотыхъ вѣсахъ любви перевѣшиваются ея достоинствами. Поэтъ любитъ осень:

„Дни поздней осени бранятъ обыкновенно;  
Но мнѣ она мила, читатель дорогой:  
Красою тихую, блистающей смиренно,  
Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ родной,  
Къ себѣ меня влечетъ. Сказать вамъ откровенно:  
Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной“...  
(Осень).

Изъ всѣхъ четырехъ подругъ осень выдѣляется своимъ печальнымъ, заплаканнымъ лицомъ. Она одинока и не согрѣта лаской. Она — нелюбимый ребенокъ. Фантазія поэта не застываетъ на этомъ образѣ. Она раскрываетъ новыя формы. Подмѣчаетъ новыя краски. Улавливаетъ новые звуки:

„Въ ней много добраго, любовникъ не тщеславный,  
Умѣлъ я отыскать мечтою своенравной“ (Осень).

Осень уже потеряла обликъ нелюбимаго одинокаго ребенка. Передъ нами—подруга поэта. Она не привлечетъ къ себѣ ничьихъ суетныхъ глазъ. Она не блещетъ тою красотой, которая приковываетъ чужіе взоры, влечетъ неудержимо,

передъ которой гаснутъ всѣ желанія, кромѣ одного—созерцать въ ней красоту:

„встрѣтись съ ней, смущенный, ты  
Вдругъ остановишься невольно“... (Красавица).

Нѣтъ, такой роковою красотой не одарена его возлюбленная осень. Ея „тихую, блистающую смиренно“ красоту нельзя замѣтить сразу. Она постепенно проступаетъ сквозь блѣдныя и невидныя черты. Тщеславные любовники только одного желаютъ, чтобы ихъ избранница всѣхъ ослѣпляла красотой. Поэтъ отказывается отъ этого желанія. Его „своей нравная“ мечта отыскала много „добраго“ въ скромной подругѣ, скрытаго отъ чужого невнимательнаго взгляда. Но и этотъ образъ начинаетъ блѣднѣть передъ поэтомъ. И сквозь его тускляя линіи просвѣчиваетъ новый образъ осени:

„Мнѣ нравится она,  
Какъ, вѣроятно, вамъ чахоточная дѣва  
Порою нравится. На смерть осуждена,  
Бѣдняжка клонится безъ ропота, безъ гнѣва,  
Улыбка на устахъ увянувшихъ видна:  
Могильной пропасти она не слышитъ зѣва;  
Играетъ на лицѣ еще багровый цвѣтъ:  
Она жива еще сегодня—завтра нѣтъ“. (Осень).

Осень — больная дѣвушка. Безгнѣвная и безропотная, она близится къ могилѣ. Ея губы красны. Еще играетъ улыбка на ея лицѣ. Еще горитъ алый румянецъ. Но всѣ эти радостные красные тона—не краски жизни, не признаки молодого расцвѣтающаго существа. Они говорятъ о смерти.

Пурпуровыя краски на лицѣ умирающей дѣвушки—полная параллель къ багровымъ одеждамъ поздней осени, близкой къ умиранію:

„Унылая пора, очей очарованье,  
Пріятна мнѣ твоя прощальная краса!  
Люблю я пышное природы увяданье,  
Въ багрецъ и въ золото одѣтые лѣса,

Въ ихъ сѣняхъ вѣтра шумъ и свѣжее дыханье,  
И мглой волнистою покрыты небеса,  
И рѣдкій солнца лучъ, и первые морозы,  
И отдаленныя сѣдой зимы угрозы“. (Осень).

Осень свой путь къ смерти устилаетъ красными коврами. Она идетъ, трепещущая и блѣдная, одѣтая въ пурпурныя и золотыя ткани, какъ жертва къ кровавому алтарю:

„Настала осень золотая;  
Природа трепетна, блѣдна,  
Какъ жертва, пышно убрана“. (Евг. Он., гл. VII, XXIX).

Поэтъ много разъ подчеркиваетъ основное выраженіе осени въ медленномъ, но яркомъ умираиѣ. Въ одной изъ главъ „Евгенія Онѣгина“ есть описаніе осени, гдѣ отмѣчена поэтомъ постепенность увяданья природы осенью:

„Ужъ небо осенью дышало,  
Ужъ рѣже солнышко блистало,  
Короче становился день;  
Лѣсовъ таинственная сѣнь  
Съ печальнымъ шумомъ обнажалась;  
Ложился на поля туманъ;  
Гусей крикливыхъ караванъ  
Тянулся къ югу: приближалась  
Довольно скучная пора;  
Стоялъ ноябрь ужъ у двора“. (Гл. IV, XL).

Природа клонится къ умираию. Поэтъ свое стройное описаніе начинаетъ сверху. Блѣднѣютъ краски неба. Рѣже появляется солнце. Лѣса теряютъ свои зеленыя одѣянія. На поляхъ встаетъ туманъ. Птицы улетають на югъ. Мотивъ отлета журавлей осенью повторяется еще разъ поэтомъ въ поэмѣ „Цыганы“:

\* „Передъ зимою,  
Туманной утренней порою,  
Когда подьѣмлетъ съ полей  
Станица позднихъ журавлей

И съ крикомъ вдаль на югъ несется,—  
Пронзенный гибельнымъ свинцомъ,  
Одинъ печально остается,  
Повиснувъ раненнымъ крыломъ“.

Въ этой же поэмѣ описывается осенній отлетъ на югъ и другихъ птицъ:

✓ „Людыамъ скучно, людыамъ горе,  
Птичка въ дальнія страны  
Въ теплый край, за сине море  
Улетаетъ до весны“.

Что же дѣлаеть человѣкъ осенью? Поэтъ рассказываетъ объ его осеннемъ времяпрепровожденіи. Нѣсколько разъ повторяеть въ связи съ осенней погодой верховую ѣзду:

„Ведуть ко мнѣ коня; въ раздолии открытомъ,  
Махая гривую, онъ всадника несеть—  
И звонко подъ его блистающимъ копытомъ  
Звенить промерзлый доль и трескается ледъ“.  
(Осень).

Въ „Евгеніи Онѣгинѣ“:

„Выходитъ на дорогу волкъ.  
Его почуя, конь дорожный  
Храпитъ, и путникъ осторожный  
Несется въ гору во весь духъ. (Гл. IV, XLI).

Или его время занимаетъ охота. Осенняя охота носить своеобразный характеръ. Она—полная противоположность лѣтней, когда отъ жары и охотникъ и собака двигаются съ усиленіемъ въ лѣнливой истомѣ. Тургеневъ въ одномъ изъ „Разказовъ охотника“ даетъ изображеніе лѣтней охоты:

„Въ началѣ августа жары часто стоятъ нестерпимыя: въ это время, отъ 12 до 3 часовъ, самый рѣшительный и сосредоточенный человѣкъ не въ состояніи охотиться, а самая преданная собака начинаетъ „чистить охотнику шпоры“, т. е. идетъ за нимъ шагомъ, болѣзненно прищуривъ глаза и преувеличенно высунувъ языкъ; а въ отвѣтъ на укоризны

своего господина униженно виляетъ хвостомъ и выражаетъ смущеніе на лицѣ, но впередъ не подвигается“. (Малиновая вода).

Пушкинъ въ мимолетно-брошенныхъ словахъ характеризуетъ осеннюю охоту, когда холодъ придаетъ бодрость духу и стремительную энергію всѣмъ движеніямъ и охотника и его собакъ:

„сосѣдъ мой поспѣшаетъ  
Въ отъѣзжія поля съ охотою своей —  
И страждутъ озими отъ бѣшенной забавы,  
И будить лай собакъ уснувшія дубравы“. (Осень).

Осень плѣняла поэта. Онъ любилъ ея яркіе багряные уборы; ея осыпающіеся съ легкимъ шумомъ листья; ея туманы, встающіе дымными призраками; ея холодныя росы. Ея воздухъ, сырой и прохладный, опьянялъ его, какъ крѣпкое вино. Онъ чувствовалъ въ осенніе дни бодрость настроенія. Мысли кипѣли шумнымъ роємъ. Мелодія чуть слышныхъ напѣвовъ звучала все ближе, все явственнѣе. И вмѣстѣ съ бодростью духа росло неудержимое стремленіе къ дѣятельности:

„И съ каждой осенью я расцвѣтаю вновь;  
Здоровью моему полезень русскій холодъ;  
Къ привычкамъ бытія вновь чувствую любовь:  
Чредой слетаетъ сонъ, чредой находитъ голодъ;  
Легко и радостно играетъ въ сердцѣ кровь,  
Желанія кипятъ; я снова счастливъ, молодъ,  
Я снова жизни полнъ: таковъ мой организмъ...  
.....

И пробуждается поэзія во мнѣ“. (Осень).

Весной, когда жизнью кипитъ природа,—чужда этой жизни душа поэта. Осенью, когда вся природа полна грусти и предсмертнаго трепета,—душа поэта наполняется жизнью. Въ этомъ скрывается неразрѣшенная психофизиологическая тайна. Въ связи съ любовью поэта къ осеннимъ настроеніямъ

въ природѣ находится и его любовное отношеніе къ ея дѣтямъ — осеннимъ цвѣтамъ:

„Цвѣты послѣдніе милѣй  
Роскошныхъ первенцовъ полей.  
Они унылыя мечтанья  
Живѣе пробуждаютъ въ насъ:  
Такъ иногда разлуки часъ  
Живѣе самага свиданья“. (Послѣдніе цвѣты).

Блѣклыя умирающія краски осеннихъ цвѣтовъ ласкаютъ взоръ поэта своей печальной красотой.

Послѣ осени наступаетъ *зима*. Зиму поэтъ называетъ эпитетами: „жестокая“ (Мѣдн. Всадн., вступл.), „суровая“ (Осень), „сѣдая“ (Осень). Она „могучая“ (Пиръ во время чумы), „матушка-зима“ (Евг. Он., гл. VII, XXX). Поэтъ выдѣляетъ изъ общей массы и единичные атрибуты зимы: ея снѣгъ и ея морозъ. Снѣгъ онъ называетъ по его дѣйствию на человѣка: „благотворный“ (Примѣты). По своему виду онъ бываетъ „пушистый“ (Къ Овидію), „волнистый“, „рябой“ (Отрыв. 1833 г.), „мелкій“ (Графъ Нулинъ), „летучій“ (Бѣсы). Цвѣтъ его измѣняется въ зависимости отъ освѣщенія: днемъ онъ „блѣдный“ (Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ), во время зари онъ „розовый“ (Евг. Он., гл. V, IV). Поэтъ называетъ снѣгъ еще „хрупкимъ“ по его качеству (Евг. Он., гл. V, XIV). Часто поэтъ изображаетъ снѣгъ, лежащій ковромъ, или слоємъ:

„Снѣжныя равнины  
Коврами яркими легли“.

(Русл. и Людм., п. II, 278—279).

Въ стихотвореніи „Зимнее утро“:

„Великолѣпными коврами,  
Блестя на солнцѣ, снѣгъ лежитъ“...

Или въ „Евг. Онѣгинъ“:

„Зимы блистательный коверъ“... (Гл. V, I).

Въ стихотвореніи „Къ Овидію“:

„Ужъ пасмурный декабрь на русскіе луга  
Слоями разстилалъ пушистые снѣга“...

Летящій снѣгъ поэтъ описываетъ въ видѣ разсыпныхъ  
клочьевъ:

„клоками  
Повисла на сукахъ дубовъ“  
(Евг. Он., гл. VII, XXX).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Отягчены ихъ вѣтви всѣ  
Клоками снѣга“.  
(Евг. Он., гл. V, XIII).

Или поэтъ изображаетъ снѣгъ падающими звѣздами:

„веселый  
Мелькаетъ, вьется первый снѣгъ,  
Звѣздами падая на берегъ“.  
(Евг. Он., гл. IV, XLII).

Кромѣ этихъ описаній снѣга, имѣется еще изображеніе  
его летящимъ вихремъ:

„Буря мглою небо кроетъ,  
Вихри снѣжные крутя“.  
(Зимній вечеръ).

Другой атрибутъ зимы — морозъ поэтъ называетъ „укрѣ-  
пительнымъ“ (Черн. набр. 1830 г.) и „трескучимъ“ (Опричникъ).

Онъ два раза соединяетъ морозъ съ яркимъ солнцемъ въ  
одной картинѣ:

„Морозъ и солнце — день чудесный!“  
(Зимнее утро).

И такъ же въ „Альбомѣ Евг. Онѣгина“ повторяется почти  
дословно этотъ мотивъ:

„Морозъ и солнце — чудный день“.

Поэтъ съ любовью останавливается на двухъ неразлуч-  
ныхъ подругахъ изъ пляшущаго хора года годовыхъ временъ:  
на осени и на зимѣ. Передъ нами вихремъ проносятся по-  
этическіе образы, олицетворяющіе зиму.

Зима появляется въ сказочномъ ликѣ чародѣйки:

„и вотъ сама  
Идетъ волшебница зима.  
Пришла, рассыпалась; клоками  
Повисла на сукахъ дубовъ;  
Легла волнистыми коврами  
Среди полей, вокругъ холмовъ;  
Брега съ недвижною рѣкою  
Сравняла пухлой пеленою;  
Блеснулъ морозъ. И рады мы  
Проказамъ матушки — зимы“.

(Евг. Он., гл. VII, XXIX—XXX).

Поэтъ въ этомъ граціозномъ наброскѣ представилъ игры чародѣйки. Она „пришла“. „Рассыпалась“. „Повисла“. „Легла“. „Сравняла пеленою“. Цѣлая гамма движеній. И эта игра быстрыми движеніями начинается сверху, сообразуясь съ направленіемъ падающаго снѣга. Сначала „рассыпалась“. Потомъ „повисла клоками“. Затѣмъ „легла коврами“. И послѣднимъ движеніемъ „сравняла“ берега съ поверхностью застывшей рѣки. Чародѣйка въ шаловливомъ танцѣ производитъ рядъ быстрыхъ превращеній. Ея блѣдная улыбка навѣваетъ на природу чары холоднаго сна. За ея фантастическимъ обликомъ слѣдуетъ иной образъ зимы. Зима принимаетъ строгій военный видъ. Передъ нами сомкнутые ряды тяжело идущихъ солдатъ. Исчезаетъ улыбка чародѣйки вмѣстѣ съ легкой стройностью ея движеній. Изъ-подъ нависшихъ сѣдыхъ бровей полководца холодно смотрятъ безцвѣтные, не знающіе жалости глаза:

„могущая зима,  
Какъ бодрый вождь, ведетъ сама  
На насъ косматыя дружины  
Своихъ морозовъ и снѣговъ“.

(Пиръ во время чумы).

Мы видимъ могучаго царя-полководца. Онъ окружень

войсками. Поэтъ чудно воплощаетъ въ образы „косматыхъ дружинъ“ снѣга и морозъ. Снѣгъ самъ по себѣ пушистъ и можетъ имѣть косматый видъ. Морозъ дѣлаетъ другихъ косматыми, одѣвая колючими иглами. Но быстро скрывается и этотъ образъ зимы, уносимый волною творческой фантазіи. вмѣсто суроваго лица воина, посѣдѣлаго въ битвахъ, на поэта, смотритъ морщинистое и доброе лицо старухи. Вѣтеръ развѣваетъ пряди выбившихся сѣдыхъ волосъ. Ея лицо полно ласки:

„и жаль зимы — старухи“... (Осень).

Зимняя вьюга представлена поэтомъ фантастической игрой ея демоновъ-лѣшихъ. Дикая пляска снѣжныхъ хлопьевъ при блѣдно-желтомъ свѣтѣ мутной луны рождаетъ призрачные силуэты. Вѣтеръ кружитъ снѣжные хлопья. Они летятъ сверху. Поднимаются снизу. Переплетаются въ причудливыя гирлянды. Принимаютъ многоликія очертанія. Сплетаются въ быстрый кругъ чьи-то блѣдныя руки. Поютъ жалобно и протяжно невидимые хоры. Развѣваются чьи-то длинные безцвѣтные волосы:

„Безконечны, безобразны  
Въ мутной мѣсяца игрѣ  
Закружились бѣсы разны,  
Будто листья въ ноябрѣ...  
Сколько ихъ! Куда ихъ гонять?  
Что такъ жалобно поютъ?“ (Бѣсы).

Въ стихотвореніи „Зимній вечеръ“ зимняя вьюга выражена поэтомъ цѣлой симфоніей звуковъ. Вьюга воетъ, звѣремъ: Плачетъ ребенкомъ. Шелеститъ соломой. Стучитъ въ оконныя стекла.

Весна и лѣто ослабляютъ жизненную энергію человѣка. Понижаютъ его настроеніе. Осень и зима, наоборотъ, поднимаютъ его внутреннія силы. Возбуждаютъ въ немъ бодрость. Зима „свѣжитъ“ человѣка:



Въ одномъ изъ стихотвореній поэтъ описываетъ зимнюю охоту:

„Мы встаемъ, и тотчасъ на коня,  
И рысью по полю при первомъ свѣтѣ дня;  
Арапники въ рукахъ, собаки вслѣдъ за нами;  
Глядимъ на блѣдный снѣгъ прилежными глазами;  
Кружимся, рыскаемъ, и поздней ужъ порой,  
Двухъ зайцевъ протравивъ, являемся домой“.

(Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ).

Вся эта живая картинка обвѣяна бодримъ настроеніемъ. Въ ней много жизни, много движенія. Они несутся „рысью“. „Кружатся“. „Рыскаютъ“. Кромѣ веселаго бѣга саней, вдвоемъ съ подругой, или на тройкѣ подъ однообразный звонъ колокольчика, или въ быстромъ галопѣ на верховой лошади, поэтъ отмѣчаетъ другой, не менѣе веселый бѣгъ—на конькахъ:

„Какъ весело, обувъ желѣзомъ острымъ ноги,  
Скользить по зеркалу стоячихъ ровныхъ рѣкъ“.

(Осень).

Въ другомъ произведеніи:

„Мальчишекъ радостный народъ  
Коньками звучно рѣжетъ ледъ“

(Евг. Он., гл. IV, XLII).

Поэтъ нѣсколько разъ пользуется рѣзкимъ противопоставленіемъ зимнему морозу — домашняго уюта, озареннаго свѣтомъ затопленной печи. Этотъ мотивъ онъ любилъ повторять въ различныхъ вариацияхъ:

„Вся комната янтарнымъ блекомъ  
Озарена. Веселымъ трескомъ  
Трещитъ затопленная печь“. (Зимнее утро).

Въ драмѣ „Пиръ во время чумы“ навстрѣчу приближающейся зимѣ „трещать камины“. Въ стихотвореніи „Осень“:

„Но гаснетъ краткій день, и въ камелькѣ забытомъ  
Огонь опять горитъ; то яркій свѣтъ ліеть,  
То тлѣетъ медленно“...

Зиму поэтъ считаетъ принадлежностью всего „русскаго“:  
Полезень русскому здоровью  
Нашъ укрѣпительный морозъ“ (Черн. набр. 1830 г.).

Или еще въ одномъ мѣстѣ, уже цитированномъ нами:  
„Но бури сѣвера не вредны русской розѣ“...  
(Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ).

Онъ любитъ зиму, какъ что-то родное и близкое. Правда, у зимы нѣтъ ни пахучихъ цвѣтовъ, ни горячаго солнца, ни зеленыхъ гирляндъ. Но объ этомъ не тоскуетъ душа поэта. Онъ любилъ ея однообразно-лежащіе снѣга, ея яркое негрѣющее солнце, свистъ и вой ея метелей. Его взоръ плѣнялся свѣжимъ личикомъ дѣвушки, на которомъ морозъ навелъ алый румянецъ. Онъ любилъ быстрый бѣгъ тройки подъ унылый звонъ колокольчика. Его трогали протяжныя грустныя пѣсни ямщика. Такъ отразилась зима въ настроеніяхъ поэта.

---

Теперь, подробно изучивъ все содержаніе поэзіи Пушкина, мы можемъ поставить вопросъ: *былъ ли близокъ Пушкинъ къ природѣ?*

Онъ описываетъ ея явленія. Но не объясняетъ ихъ. Онъ видитъ передъ собой плѣнительное лицо красавицы. Но черты красиваго лица нѣмы для поэта. Его взоръ скользитъ лишь сверху, любуясь игрой яркихъ красокъ, блескомъ глазъ, ритмомъ стройныхъ движеній, гордымъ сочетаніемъ строгихъ линий. Онъ не раскрываетъ передъ нами ея глубокой внутренней жизни. Не открываетъ тайны, которая мерцаетъ въ ея нечеловѣческихъ глазахъ.

Небо—подвѣшенная надъ міромъ людей занавѣсь. И только. Взоръ поэта не находитъ въ немъ таинственныхъ видѣній. Ему не являлись на небѣ въ грозу, какъ Тютчеву, чьи-то „грозныя зѣницы“, блещущія гнѣвными молніями. (Изд. Маркса, стр. 153).

Звѣзды у Пушкина бездушны, далеки и чужды людямъ. Онъ описываетъ ихъ, какъ красивое дополненіе къ своимъ

картинамъ природы. Ихъ блескъ—блескъ мертвый. Вспомнимъ Фета, который протянулъ мистическія нити между душою человѣка и душою звѣзды:

„Я долго стоялъ неподвижно,  
Въ далекія звѣзды вглядясь.  
Межъ тѣми звѣздами и мною  
Какая-то связь родилась“.

(Изд. Маркса, т. I, стр. 264).

Солнце у Пушкина блещетъ своей сверкающей красотой вдали отъ человѣка. Въ его образѣ нѣтъ стихійной жизни. Оно катится по неизмѣнному пути въ неизмѣнномъ обликѣ. У Фета солнце дышетъ непосредственной жизненной силой. Онъ изображаетъ солнце въ видѣ большого огненнаго глаза, которымъ небо взираетъ на землю:

„Надъ безбрежной жатвой хлѣба  
Межъ заката и востока  
Лишь на мигъ смежаетъ небо

Огнедышащее око“ (Изд. Маркса, т. I, стр. 268).

Пушкинъ описываетъ облака не часто, не многоцвѣтно,— всегда идущими бѣлой или сѣрой грядюю. Но они не говорятъ съ нимъ живымъ языкомъ. Мертвыя и молчаливыя, они плывутъ въ синей дали небесъ. Для Тютчева облака полны жизни и говора. Онъ готовъ цѣлый день слѣдить за ихъ оживленнымъ и шумнымъ бѣгомъ. Онъ любитъ:

„На небѣ чистомъ и высокомъ

Порою облака слѣдить“... (Изд. Маркса, стр. 41).

Пушкинъ описываетъ вѣтеръ въ многообразныхъ сочетаніяхъ. Онъ воспроизводитъ въ музыкальной гаммѣ оттѣнки его звуковъ. Описываетъ его шумный бѣгъ и его шаловливыя игры. Но Пушкинъ не улавливаетъ въ воѣ вѣтра пѣсни о міровомъ хаосѣ, какъ это слышитъ Тютчевъ.

Воды у Пушкина не являются элементами сложной внутренней жизни природы. Ни рѣки, ни озера, ни море не вліяютъ на человѣка своею стихійною мощью, передъ которою

слабѣть власть человѣческаго настроенія. Фетъ прекрасно выразилъ это взаимоотношеніе моря и человѣка:

„И съ моря ночного, . . . . .  
Какъ будто изъ дальняго края родного,  
Цѣлебною силою вѣяло въ душу.  
Всю злобу земную, гнетущую, вскорѣ,  
По-своему каждый, мы оба забыли“... (Море и звѣзды).

У Пушкина море—лишь акварельные наброски художника, ласкающіе взглядъ мягкими тонами красокъ.

Лѣсъ у Пушкина лишень жизни. Деревья у него или „шумятъ“, или „ропщутъ“, или „шепчутъ“. Весь рядъ этихъ глаголовъ выражаетъ лишь шумъ лѣса, какъ онъ слышится человѣку. У Тютчева шумъ деревьевъ носить иной характеръ. Это не просто шумъ, который можетъ производить и неодушевленный предметъ. Нѣтъ, деревья у Тютчева, какъ живыя существа, иногда „поютъ“ (изд. Маркса, стр. 150), иногда „бредятъ“ въ полдневномъ зноѣ (изд. Маркса, стр. 186).

Горы у Пушкина плѣняютъ взоръ или причудливыми очертаніями, или переливами красокъ. Но поэту чужда самобытная дикая жизнь горнаго царства. Онъ не тоскуетъ, какъ Лермонтовъ, о томъ, что человѣкъ своимъ существованіемъ нарушитъ божественное бытіе горъ, взобравшись на недоступныя высоты;

„Въ глубинѣ твоихъ ущелій  
Загремитъ топоръ;  
И желѣзная лопата  
Въ каменную грудь,  
Добивая мѣдь и злато,  
Врѣжетъ страшный путь“. (Споръ).

Пушкинъ, разрѣшая проблему о взаимномъ соотношеніи природы и человѣка,—на первомъ мѣстѣ всегда ставитъ человѣка. Природа создаетъ лишь обстановку, лишь красочный

фонъ, на которомъ человекъ чертитъ узоры своихъ причудливыхъ настроеній.

Въ извѣстномъ стихотвореніи „Зимній вечеръ“ симфонія звуковъ, разыгранная снѣжной вьюгой, повторяется нѣсколько разъ музыкальнымъ припѣвомъ, отдѣняющимъ образъ старушки—няни.

Зимняя буря является лишь роскошной рамкой, окружающей живое лицо человека.

Въ „Испанскомъ романсѣ“ припѣвъ:

„Ночной зефиръ  
Струить ээиръ.  
Шумить бѣжить  
Гвадалквивиръ“----

рисуетъ тихую ночь и шумъ рѣки. И въ рамкѣ этого трижды повтореннаго припѣва появляется страстный обликъ испанской красавицы, которая сквозь чугунный узоръ балкона выставляетъ свою маленькую ножку.

Или передъ поэтомъ засохшій цвѣтокъ. Онъ нашель его въ старой книгѣ:

„Цвѣтокъ засохшій, безуханный,  
Забытый въ книгѣ вижу я;  
И вотъ уже мечтою странной  
Душа наполнилась моя“.

Куда же поэта поведеть его „странная мечта“: въ царство ли природы, или же въ царство человека?

„Гдѣ цвѣль? Когда? Какой весною?  
И долго ль цвѣль?“

Передъ нами пробѣгаетъ рядъ отрывочныхъ бѣглыхъ вопросовъ о самомъ цвѣткѣ.—Мечта влечетъ поэта въ царство человека:

„и сорванъ кѣмъ?  
Чужой, знакомой ли рукою?  
И положенъ сюда зачѣмъ?  
На память нѣжнаго ль свиданья?“

Или разлуки роковой?  
Иль одинокаго гулянья  
Въ тиши полей, въ тѣни лѣсной?  
„И живъ ли тотъ, и та жива ли?  
И нынче гдѣ ихъ уголокъ?  
Или уже они увяли,  
Какъ сей невѣдомый цвѣтокъ?“ (Цвѣтокъ).

Блѣдныя очертанія забытаго въ книгѣ цвѣтка оживаютъ передъ глазами поэта, окрашиваются красками, принимаютъ жизненную теплоту, постепенно обращаясь въ черты человѣческой жизни.

Или поэтъ на берегу моря. Передъ нимъ—зеленая убѣгающая даль. Но только на мигъ зачарованъ поэтъ стихійною красотою моря:

„Прощай, свободная стихія!  
Въ послѣдній разъ передо мной  
Ты катишь волны голубыя  
И блещешь гордою красой“.

Мысль поэта дѣлаетъ обычный поворотъ къ человѣку. Ассоціація по сходству помогаетъ ему быстро перейти отъ образа морской стихіи, полной мощи, къ гордому лику Наполеона, затѣмъ Байрона. Оба они были похожи на море своей внутренней энергіей:

„Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:  
Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ;  
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ“ . (Къ морю).

Въ другомъ стихотвореніи поэтъ рисуетъ теплую ночь на далекомъ югѣ:

„Далеко, тамъ, луна въ сіяніи восходитъ;  
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой;  
Тамъ море движется роскошной пеленой  
Подъ голубыми небесами“...

И сейчас же на этомъ голубовато-серебряномъ фонѣ выдѣляется блѣдный обликъ одинокой женщины:

„Тамъ, подъ завѣтными скалами  
Теперь она сидитъ, печальна и одна“... (Ненастн.  
день потухъ).

Или еще характернѣе описаніе зимы въ одной главѣ „Евгенія Онѣгина“.

Пушкинъ произноситъ лишь одно слово:  
„Зима“.

И дальше говоритъ намъ о крестьянинѣ, ѣдущемъ на дровняхъ; о кибиткѣ, взрывающей пушистыя борозды; о красномъ кушакѣ ямщика; о мальчикѣ, играющемъ съ Жучкой. Онъ отморозилъ уже палець. И мать ему грозитъ въ окно. Вся эта веселая вереница людей вставлена въ бѣлую рамку зимняго пейзажа (гл. V, II).

Человѣкъ занимаетъ всѣ думы поэта. Все человѣческое близко и дорого ему. Природа не существуетъ, какъ самостоятельное бытіе, если она не связана съ бытіемъ человѣка:

„Прекрасно море въ бурной мглѣ,  
И небо въ блескахъ, безъ лазури;  
Но вѣрь мнѣ: дѣва на скалѣ

Прекраснѣй волнъ, небесъ и бури“.

Пушкинъ вездѣ раскрываетъ передъ нами душу человѣка; всѣ ея тайны; ея буйныя радости; ея смятенія и тревоги; ея печали; ея сокровенныя раны.—Но нигдѣ онъ не раскрываетъ души предметовъ, души природы.

Миеологическими образами онъ пользуется лишь какъ красивыми поэтическими символами. Его изображенія природы реальны, точны, коротки.

Природа Пушкина не та, о которой сказала Тютчевъ:

„Природа  
не слѣпокъ, не бездушный ликъ.  
Въ ней есть душа, въ ней есть свобода,  
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ“.

(Изд. Маркса, стр. 94).

И только иногда какія-то странныя настроенія диссонансомъ врывались въ душу поэта.

Природа намекала ему въ темныхъ словахъ о чемъ-то своемъ, стихійномъ, властномъ, не зависящемъ отъ человѣка.

Эти слова слышались въ шопотѣ ночи, въ бѣглой игрѣ ея тѣней, въ призрачной пляскѣ ея видѣній. Эти слова слышались въ таинственныхъ примѣтахъ: въ чарахъ луны, въ золотыхъ слѣдахъ падучихъ звѣздъ, въ бѣгѣ черезъ дорогу пугливаго зайца, въ предчувствіяхъ встревоженной чѣмъ-то души.

Эти слова звали поэта въ темный хаосъ стихійныхъ силъ; подъ зеленые своды, гдѣ явственно звучитъ божественный голосъ природы:

„Когда бѣ оставили меня  
На волѣ, какъ бы рѣзво я  
Пустился въ темный лѣсъ!  
Я пѣлъ бы въ пламенномъ бреду,  
Я забывался бы въ чаду  
Нестройныхъ, чудныхъ грезъ,  
И я бѣ заслушивался волнъ,  
И я глядѣлъ бы, счастья полнъ,  
Въ пустыя небеса.  
И силенъ, воленъ былъ бы я,  
Какъ вихорь, роющій поля,  
Ломающій лѣса“.

(Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума).

Ночь говорила съ поэтомъ о природѣ. Но она длилась недолго. Полная непостижимыхъ звуковъ, ночь исчезала на Западѣ. На востокѣ въ холодныхъ слезахъ вставало солнце. Умирили голоса природы. Какъ легкой дымъ, таяли ея призрачные лики. Снова поэтъ охватывалъ реальный міръ своимъ шумнымъ потокомъ. Снова пылливо онъ наклонялся къ блѣднымъ чертамъ человѣческаго лица, пытаясь прочесть на немъ тайну жизни и смерти. Природа, онъ думалъ, не дастъ отвѣта

на этотъ вопросъ. Она далека и чужда человѣческимъ волненьямъ. Ей нѣтъ дѣла до мукъ человѣка. Она вѣчна. Человѣкъ мимолетенъ. Всюду Пушкинъ подчеркиваетъ вѣчность природы: Казбекъ сіяетъ „вѣчными лучами“ (Монастырь на Казбекѣ), Бештау— „пустыни сторожъ вѣчный“ (Странствіе Евг. Он.), небо— „вѣчно-голубое“ (Для береговъ отчизны дальней) солнце— „небесъ вѣчный житель“ (Кольна), Аврора— „вѣчная“ (Егип. ночи)—въ противоположность человѣку. Рождается человекъ въ міръ. Проходитъ своей темной стезей. Много печали принимаетъ онъ, много радости. И исчезаетъ безслѣдно въ темномъ безбрежномъ океанѣ. Вѣковѣчна только природа. И съ высоты своей вѣчности равнодушными глазами смотритъ природа на пробѣгающія человѣческія поколѣнія. Они подобны падающимъ звѣздамъ. Скользнутъ золотою нитью. И потухнутъ во мглѣ ночи:

„у гробового входа  
Младая будетъ жизнь играть,  
И равнодушная природа  
Красою вѣчною сіять“. (Стансы).

**Н. Колобова.**

## БАЙРОНЪ.

Заключительная часть реферата „Пушкинъ и Байронъ“, читаннаго въ Пушкинскомъ Семинаріи Спб. унив. (17 нояб., 1 и 8 дек. 1911 г. и 8 марта 1912 г.).

### XIII.

Гете, увѣковѣчивая во второй части Фауста въ образѣ Эвфоріона обаятельную личность Байрона, изобразилъ его неудержимо стремящимся, радостно прыгающимъ все выше и выше со скалы на скалу.

Пустите прыгать, пустите мчаться,  
Хочу на воздухъ я весь подняться,—  
Во мнѣ лишь этотъ призывъ одинъ.  
Миръ и во снѣ у васъ; снись онъ вамъ въ добрый  
часть.—

Я на борьбу иду, тамъ я побѣды жду! <sup>1)</sup>

Это аллегорическое изображеніе вѣчно дѣйствующаго, взбирающагося на опасныя высокія кручи юнаго Эвфоріона проникновенно передаетъ сущность характера Байрона, другую непреходящую и неизмѣнную черту (первой органической чертой характера Байрона мы считали скорбь; о ней идетъ рѣчь въ первыхъ двѣнадцати главахъ) его душевнаго склада—активность.

Эта черта была, несомнѣнно, врожденной, можетъ быть, унаслѣдованной отъ тѣхъ скандинавскихъ берсеркировъ, про которыхъ говоритъ Тэнъ въ своей характеристикѣ Байрона. Здѣсь, по его выраженію, сказался „инстинктъ крови; такими рождаются, какъ рождаются львомъ или бульдогомъ“. Жизнь и обще-

---

<sup>1)</sup> Фаустъ, ч. II, актъ III.

ственные условия, какъ мы уже указывали, складывались именно такъ, что дѣйствія, въ истинномъ значеніи этого слова, подходящаго для такой героической натуры, какъ Байронъ, не было и не могло быть. Отсюда мучительная неудовлетворенность и вѣчныя попытки создать хотя бы суррогатъ дѣйствія. Разумѣется, эта врожденная активность должна была и стремилась выразиться въ протестъ и борьбу, по преимуществу. Если весьма многіе способны признать за настоящее дѣйствіе свои научныя, административныя, коммерческія занятія, то личность Байрона не могла мириться и удовлетворяться подобными проявленіями активности и особенно въ ту трагическую для гордой индивидуальности эпоху, когда жилъ и мыслилъ поэтъ. Скорбь міра и скорбь за міръ, образы Манфреда и Каина взывали къ нему, къ лучшему гражданину XIX вѣка, и указывали на борьбу, какъ на единственную цѣль жизни!

Идея разумнаго протеста и потребность борьбы, какъ результатъ его врожденной активности, жили тоже изначально въ душѣ Байрона и проявлялись уже въ очень ранніе годы. Хорошо извѣстенъ и необычайно характеренъ слѣдующій рассказъ, передаваемый многими біографами его. Однажды онъ, восьми лѣтъ, присутствовалъ на представленіи комедіи Шекспира „Укрощеніе строптивой“. Во время діалога, происходящаго на дорогѣ между Катариной и Петруччіо, когда первая утверждаетъ, что свѣтитъ луна, а второй настаиваетъ на солнцѣ (IV, 5), маленькій Байронъ поднялся съ своего мѣста и громко крикнулъ: „Но я говорю вамъ, сударь, что это луна“ <sup>1)</sup>. Не менѣе типиченъ и другой случай изъ дѣтства поэта, рассказъ о которомъ также очень распространенъ: „однажды въ Гарроу старшій ученикъ тузилъ друга Байрона Пиля (впослѣдствіи министра) и, видя его упорство, билъ по рукѣ, которую скрутилъ, чтобъ усилить боль. Байронъ, тогда еще слишкомъ маленькій, чтобы справиться съ

---

<sup>1)</sup> Elze, 24.

мучителемъ своего пріятеля, подошелъ къ нему, весь красный отъ бѣшенства, со слезами на глазахъ, и спросилъ дрожащимъ голосомъ, сколько ударовъ онъ намѣренъ еще дать. „А тебѣ что за дѣло, маленькій болванъ?—А то, что я желалъ бы получить половину“, отвѣтилъ будущій поэтъ <sup>1)</sup>).

Думаемъ, что хотя бы эти два случая изъ ранняго дѣтства Байрона достаточно подчеркиваютъ жажду борьбы и дѣйствія въ его душѣ.

Когда же пришла пора самому выступить дѣятелемъ въ дѣлѣ жизни, то при первомъ соприкосновеніи съ ней ему довелось начать нешуточную борьбу, отстаивая свое право, свое достоинство. Зловѣщій и несправедливый, какъ нами было уже указано, неуспѣхъ его отроческихъ и юношескихъ произведеній заставилъ поэта приготовиться къ борьбѣ, правда, словесной. Но таковъ уже былъ удѣлъ Байрона: всегда, всю жизнь стремившійся быть борцомъ дѣла, истиннымъ выразителемъ активности, онъ всю почти жизнь оставался борцомъ слова и трагически переживалъ безпомощность своихъ стремленій.

Правда, всѣ его сатиры, отъ „Англійскихъ бардовъ и Шотландскихъ обозрѣвателей“ до „Видѣнія суда“ и „Донъ-Жуана“, ясно свидѣтельствуютъ о потребности борьбы и проявленіи той же активности; но Байронъ, самъ про себя сказавшій:

Вся жизнь моя—борьба со дня рожденья <sup>2)</sup>,

не могъ смотрѣть на нихъ и на все свое творчество, какъ на результатъ настоящей борьбы и дѣятельности, и только за неимѣніемъ иного со всею горячностью отдавался поэзіи, — ибо, по его словамъ, „единственнымъ и искреннимъ побужденіемъ писать у него являлась необходимость отвлекать себя отъ себя же“ Въ 1817 году онъ писалъ Муррею изъ

---

<sup>1)</sup> Тэнъ. Лордъ Байронъ, стр. 367.

<sup>2)</sup> Посланіе къ Августѣ, III.

Венеціи: „Если я проживу еще 10 лѣтъ, вы увидите, что на мнѣ рано ставить крестъ,—я разумѣю *не литературу*, потому что она ничего не стоитъ, и достаточно грустно и странно сказать,—я не считаю ее своимъ призваніемъ. Но вы увидите, что я что-нибудь да сдѣлаю еще, сообразно времени и обстоятельствамъ, что поразить философовъ всѣхъ временъ“. „Дѣла, дѣла, твержу я“, пишетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, „а не писаніе, въ особенности—не писаніе стиховъ“. Поэтому онъ съ радостью откликнулся на возможность принять участіе, какъ пэръ Англіи, въ засѣданіяхъ верхней палаты и, по возвращеніи изъ путешествія, трижды выступилъ въ палатѣ лордовъ. Но и это говореніе, въ которомъ слишкомъ мало было присущей ему активности, не удовлетворило Байрона. А, между тѣмъ, потребность и жажда дѣйствія оставались не утоленными и, если не въ борьбѣ, то въ другомъ какомъ-нибудь напряженіи физической силы надо было найти утоленіе своей жажды,—будь то грандіозныя путешествія, предпріятыя имъ въ теченіе всей жизни; будь то вѣчные поиски опасностей и рискованныхъ приключеній; будь то, наконецъ, постоянная любовь къ закаленію своего тѣла и духа.

Что же касается той борьбы, которую ему пришлось вынести со своей женой и съ враждебно настроеннымъ обществомъ, то это, конечно, не была въ томъ смыслѣ борьба, какъ ее понималъ Байронъ. Да и во всемъ семейномъ и общественномъ конфликтѣ ему приходилось попрежнему бороться своей жестокой сатирой и въ пѣсняхъ изливать свою скорбь. Вотъ почему съ чувствомъ извѣстнаго удовлетворенія кинулся Байронъ на нѣкоторое время въ стремительно несущійся карнавалъ Венеціи, ибо тамъ онъ видѣлъ нервно пульсирующую жизнь, тамъ онъ чувствовалъ пламенное біеніе ея бунтующаго, хотя и безидейнаго, сердца и самъ могъ отдаться быстрому движенію жизни.

Зато стоило ему только запримѣтить возможность разумной и благородной борьбы, и Байронъ былъ немед-

ленно въ первыхъ рядахъ руководителемъ и вдохновителемъ массы.

Дыша борьбой, они волненья просятъ;  
Какъ лава, въ жилахъ ихъ струится кровь;  
Ихъ цѣлый вѣкъ на крыльяхъ бури носятъ,  
Пока не сбросятъ ихъ на землю вновь.  
А все же имъ дыханье бури мило:  
Когда ихъ жизнь должна спокойно течь,  
Они, скорбя, кончаютъ дни уныло...  
Такъ пламени безъ пищи гаснетъ сила,  
Такъ губить ржавчина въ ножны вложенный мечъ!<sup>1)</sup>

Вотъ откуда тотъ энтузіазмъ, тотъ восторженный порывъ и вдохновеніе, съ которымъ Байронъ вступилъ въ разрозненные ряды карбонаріевъ, взялся впослѣдствіи за своего „Либерала“ (неудачный журналъ съ политической окраской, который поэтъ издавалъ въ Генуѣ при сотрудничествѣ благороднаго Ли Гонта и прекратившійся на четвертомъ выпускѣ) и, наконецъ, кинулся спасать и воодушевлять любимую имъ Грецію въ дѣлѣ ея освобожденія. Здѣсь онъ видѣлъ возможность широкаго проявленія своей активности, благородной и творческой, здѣсь онъ могъ въ полной мѣрѣ проявить свой истинный героизмъ. Байронъ былъ, несомнѣнно, подлиннымъ героемъ жизни, котораго постигаешь и оцѣниваешь, по преимуществу, въ дѣйстви и борьбѣ. То, о чемъ страстно и вдохновенно пѣлъ мятежный поэтъ, о чемъ мучительно скорбѣлъ и на что негодовалъ,—все было воплощено въ дѣлѣ, едва жизнь потребовала борьбы. Не его вина, что сотрудники и соратники его оказались слишкомъ малодушными и жалкими въ сравненіи съ нимъ, какъ въ Италіи, такъ и въ Греціи. Вдохновитель и вождь, онъ страдалъ отъ ничтожества и мелочности окружавшихъ его грековъ-военачальниковъ, и горестно сознавалъ, что пред-

---

<sup>1)</sup> Чайльдъ-Гарольдъ, ч. III, 44.

ставители партій имѣють намѣреніе поживиться его капиталами. „Я опасаюсь съ ихъ стороны, писалъ онъ 25 октября 1823 г., не злоупотребленій, а слишкомъ *хорошаю* ко мнѣ отношенія, такъ какъ трудно не поддаваться личнымъ своимъ впечатлѣніямъ; если эти господа въ своекорыстныхъ интересахъ угадають мою слабость, то имъ удастся меня одурачить“. Тѣмъ не менѣе, несмотря на подобное сознаніе, поэтъ, вдохновляемый идеей подвига и благородной борьбы, продолжалъ свою миссію, плохо понятый и больной, но пренебрегающій опасностями ради дѣла и съ горделивымъ равнодушіемъ готовый воспринять смерть. „Я не боюсь смерти“, говорилъ онъ графу Гамба за 10 дней до смерти, послѣ жестокихъ припадковъ лихорадки и ревматизма: „но этихъ мученій я не въ силахъ выносить“<sup>1)</sup>. Тѣ же слова звучать и въ его послѣднемъ стихотвореніи:

И если ты о юности жалѣешь,  
Зачѣмъ беречь напрасно жизнь свою?—  
Смерть предъ тобой,—и ты ли не сумѣешь  
Со славой пасть въ бою<sup>2)</sup>.

Вотъ то истинное героическое спокойствіе духа, которое и другихъ поднимаетъ на бой, зажигаетъ огонь и заставляетъ забыть малодушныя тревоги, личный страхъ:

И въ битву радостно спѣшить  
И смерть въ побѣду претворяеть!

Принимая во вниманіе этотъ исконный героизмъ, сказавшійся конечно, не только въ Италіи и Греціи, но проявлявшійся, мужественной его натурой во всѣхъ случаяхъ жизни, и его врожденную активность, мы поймемъ, какими неудачными и ограниченными кажутся попытки біографовъ (вродѣ Elze) объяснить участіе Байрона въ греческомъ возстаніи по преимуществу личною прихотью, лишенной идейнаго характера,

---

<sup>1)</sup> Elze, s. 316.

<sup>2)</sup> На 36 лѣтнюю годовщину.

желаніемъ его снова привлечь къ себѣ всеобщее вниманіе и оживить увядающую славу <sup>1)</sup>, или стремленіемъ отдѣлаться отъ наскучившей ему Терезы Гвиччіоли, какъ догадывается Спасовичъ <sup>2)</sup>, хотя самъ Байронъ писалъ изъ Греціи отъ 25 окт. 23 г., что его „сердце осталось въ Италіи“.

Надо лишиться совершенно психологическаго чутья, чтобы настаивать на указанныхъ двухъ, яко бы, первопричинахъ, и представлять слишкомъ посредственнымъ, слишкомъ ординарнымъ того, кто, по праву, сверху внизъ смотрѣлъ на все окружавшее его человѣчество, кто духомъ и волею былъ родной братъ Прометею. Благородную гордость и жажду прекраснаго подвига, имѣвшаго цѣлью великую освободительную миссію, нельзя смѣшивать съ пустымъ и достойнымъ осужденію тщеславіемъ.

Что мнѣ твои всѣ почести и слава,  
Народъ-младенецъ, прежде иль впредь?  
Всесильны ль чары, слабъ ли я предъ ними,—  
Но побѣжденъ я чарами твоими.

Такъ въ „последнихъ словахъ о Греціи“ самъ поэтъ объяснял свое сочувствіе къ греческому народу, живущему въ странѣ, полной славныхъ, обаятельныхъ преданій, и свое участіе въ его освобожденіи.

„Созерцать жизнь и не дѣйствовать было для поэта съ его темпераментомъ равносильно смерти“, замѣчаетъ Н. Котляревскій <sup>3)</sup>. Мы уже видѣли, какъ Байрону приходилось для душевнаго равновѣсія, за отсутствіемъ удовлетворявшаго его дѣла, прибѣгать къ суррогату дѣйствія. И вотъ, какъ для этого, т. е. для воплощенія, въ той или иной формѣ, своей активности, такъ и для осуществленія идеи борьбы, а равно для развитія въ себѣ силы достойно носить мучительную скорбь и не согнуться подъ ея сокрушающимъ бременемъ,

---

<sup>1)</sup> Elze, s. 282.

<sup>2)</sup> Спасовичъ. Байронъ и его предшеств., стр. 165.

<sup>3)</sup> Н. Котляревскій. Міровая скорбь, 195.

нужна была героическая, непреклонная воля. Таковая была естественнымъ слѣдствіемъ врожденной активности Байрона; ею отмѣчена вся жизнь, всѣ поступки поэта отъ самыхъ мелочей (вродѣ воздержанія и строжайшей діеты, чтобы застраховать себя отъ грозившаго ему ожирѣнія, или преодолѣніе страданій, вызываемыхъ его больной ногой) до прекраснѣйшихъ актовъ его жизни, увѣнчивающихъ его непреходящей славой. Если мы раздѣлимъ людей на двѣ большія категоріи—людей дѣйствующихъ и людей созерцающихъ, т. е. поскольку въ нихъ дѣйствіе преобладаетъ надъ созерцаніемъ и обратно, то Байронъ, какъ личность, былъ, безусловно, личностью волевой, дѣйствующей, активной, не способной къ одному пассивному созерцанію.

Будучи отъ природы таковымъ, онъ эту печать дѣйствія и воли наложилъ и на все свое художественное творчество.

#### XIV.

Какъ тема скорби оказалась вѣчной и неизмѣнной для Байрона и неутомимо разрабатывалась имъ въ каждомъ его произведеніи, такъ и активность была той атмосферой, внѣ которой не могло развиваться ни одно крупное созданіе поэта. Этой активностью проникнуты не только всѣ его герои, но, гдѣ только возможно, Байронъ старается каждую поэму или драму заполнить дѣйствіемъ, движеніемъ. И эта черта неизмѣнно свойственна каждому изъ трехъ періодовъ его творчества <sup>1)</sup>). Поэтому у Байрона такъ мало произведений чисто созерцательныхъ, разрабатывающихъ исключительно психологическую сущность дѣйствующихъ лицъ: ихъ настроенія и переживанія. Наиболѣе типичными для указанной категоріи мы считали бы „Шильонскаго узника“ и „Жалобу Тасса“. Во

---

<sup>1)</sup> Въ одной изъ первыхъ главъ этого очерка мы для удобства раздѣлили все творчество поэта на три періода, давъ каждому изъ нихъ названіе по болѣе типическому произведенію соотвѣтственнаго періода. Такъ, первый періодъ мы назвали Манфредовскимъ, второй—періодомъ Прометей и третій—періодомъ Донъ-Жуана.

всѣхъ же прочихъ герой не только активенъ по своей природѣ, о чемъ сообщаетъ намъ авторъ (ибо Бонниваръ тоже, несомнѣнно, личность по складу своему дѣятельная), но онъ, въ той или иной мѣрѣ, дѣйствуетъ на протяженіи даннаго произведенія. И причину этого обстоятельства надо видѣть, съ одной стороны, въ активности самого Байрона, а съ другой—въ томъ, что герои его суть истинные герои; послѣдніе же познаются, преимущественно, въ дѣйствіи, борьбѣ. Тамъ же, гдѣ Байронъ рисовалъ исключительно себя и не пытался особенно маскироваться,—тамъ, въ первое время его сознательной жизни, мы видимъ опять-таки не дѣйствіе, а только суррогатъ его. Къ такимъ произведеніямъ мы относимъ авторскій дневникъ,—„Чайльдъ-Гарольда“, гдѣ путешествіе, какъ постоянная смѣна картинъ и вѣчное напряженіе физическихъ силъ, замѣняло иное, можетъ быть, болѣе желаемое дѣйствіе.

Надулись паруса; какъ будто вторя  
Его желаньямъ, вѣтеръ рѣзче сталь;  
Поплылъ корабль, и скоро въ пѣнѣ моря  
Безслѣдно скрылся рядъ прибрежныхъ скалъ <sup>1)</sup>.

Это та поэма, на страницахъ которой, изображая судьбу павшаго Наполеона, Байронъ далъ проникновенную и глубоко-вѣрную характеристику сущности души своего любимаго героя, а вмѣстѣ съ нимъ и самого себя.

Онъ былъ за то неизринутъ, что съ покоемъ  
Мириться былъ не въ силахъ. Тотъ, чья грудь  
Опалена желаній бурныхъ зноемъ,  
Не можетъ, бредя славой, отдохнуть:  
Его влечетъ невѣдомая сила;  
Желанія его предѣловъ нѣтъ;  
Не можетъ охладить онъ сердца пыла;  
Ему покой ужаснѣй, чѣмъ могила.  
Тотъ къ гибели идетъ, кто тѣмъ огнемъ согрѣтъ.

---

<sup>1)</sup> Чайльдъ-Гарольдъ I, 12.

<sup>2)</sup> Ibid., III, 42.

Ранняя, преждевременная смерть поэта наглядно доказала справедливость его словъ, его прогнозъ своей будущей судьбы и лишній разъ сумѣла выявить свѣтъ этого огня, можетъ быть, губительнаго для данной личности, но благодатнаго для всего удивленнаго человѣчества.

Но, если въ „Чайльдъ-Гарольдъ“ нѣтъ еще настоящаго дѣйствія, настоящей борьбы, то уже въ непосредственно слѣдовавшихъ за нимъ „Восточныхъ поэмахъ“ элементъ активности въ герояхъ и проникающее эти поэмы движеніе на лицо. Вспомнимъ Гяура, Лару и Альпа (въ „Осадѣ Коринѳа“), живущихъ идеей мести, всѣ силы свои и энергію отдающихъ ей, или такихъ, которые находятъ приложеніе своимъ силамъ въ постоянныхъ сраженіяхъ, въ зловѣщихъ опасностяхъ, какъ Корсаръ и Селимъ (Абид. невѣста). Для нихъ, какъ и для самого Байрона, особенно радостны вѣчныя бури, борьба стихій, ревъ океана, и затишье звѣздной безоблачной ночи кажется особенно мучительнымъ для ихъ мятущагося духа.

Такъ онъ провелъ четыре дня въ неволѣ.  
На пятый, съ тьмою, взвыла надъ землею  
Гроза. О, какъ онъ жадно слушалъ вой  
Мятежной бездны! Въ сонѣ его дотолѣ  
Онъ не врывался такъ, какъ здѣсь, въ неволѣ,  
*И дикій духъ, стихіею родной*  
Разбуженный, бросалъ имъ вызовъ свой.  
И часто жилъ онъ на волнѣ косматой,  
Любя ее за бѣгъ ея крылатый.

(Корсаръ, III пѣснь, VII).

И почти каждую „восточную поэму“ сопровождаетъ грозный шумъ битвы, взрывъ осаждаемыхъ стѣнъ, конскій топотъ и мучительные стоны раненыхъ. Это усиленное движеніе, эта постоянная активность кидается въ глаза при чтеніи Байрона и не ограничивается, какъ мы сказали, первымъ періодомъ его творчества, но переходитъ и въ послѣдующіе. Въ этомъ отношеніи особенно примѣчательна и ха-

рактерна одна изъ позднѣйшихъ его поэмъ „Мазепа“, своего рода живой, движущейся экранъ, на которомъ вырисовываются разнообразнѣйшія картины, пока дикій степной конь несетъ обреченнаго, привязаннаго къ своей спинѣ героя. Эта поэма—воплощенная динамика; ее могла создать только такая неудержимо активная индивидуальность, какъ Гордонъ Байронъ. Шестъ страницъ безостановочной скачки дѣйствуютъ на читателя ошеломляюще, тѣмъ болѣе, что этотъ основной эпизодъ поэмы начинается совершенно неожиданно. Открывается поэма бѣгствомъ Карла XII послѣ Полтавской битвы въ сопровожденіи Мазепы; затѣмъ слѣдуетъ краткое описаніе привала. Надвигается ночь, и на сонъ грядущій Мазепа повѣствуетъ Карлу о своихъ юношескихъ годахъ. Сонное, ночное настроеніе покоя... Нѣсколько словъ о любви рассказчика къ молодой прекрасной графинѣ, и слѣдуетъ основной рассказъ о наказаніи, понесенномъ за эту свѣтлую, радостную любовь:

„Коня сюда!“ Конь приведенъ.  
Въ степяхъ Украины выросъ онъ.  
Бездушной челядью къ спинѣ  
Его привязанъ я ремнями...  
Конь сразу выпущень... И вотъ  
Помчались мы впередъ, впередъ! <sup>1)</sup>).

Бѣшенная скачка несчастнаго продолжалась очень долго, велики были пространства, пронесшіяся скакуномъ, и поэтъ со своей неудержимой фантазіей несетъ вмѣстѣ съ обреченнымъ Мазепой, пока измученный конь не падаетъ обезсиленнымъ и испускаетъ духъ. Рассказъ гетмана заключается нѣсколькими словами о его избавленіи отъ гибели семьей казака, а сама поэма заканчивается тѣмъ же настроеніемъ сна, которымъ и началась:

- Что жъ благодарности не слышитъ  
Старикъ отъ Карла за рассказъ?

<sup>1)</sup> Мазепа, IX.

Король спокойно, ровно дышитъ,  
Король усталый спитъ ужъ съ часъ <sup>1)</sup>.

Благодаря такой мирной, сонной оправѣ, особенно ярко и значительно выдѣляется эта безудержность движенія, стремительность дѣйствія. Мы остановились на удивительно-интересномъ въ этомъ отношеніи произведеніи, чтобы подчеркнуть, какъ тонко и хорошо постигаль Байронъ вслѣдствіе своего духовнаго склада, психологію дѣйствія, какую художественную умѣлъ придать ей форму и оправу. Полна движенія и борьбы и поэма „Островъ“, которыми запечатлѣны не только отдѣльныя личности (особенно Ньюга), но и воюющіе отряды.

Если мы теперь обратимся къ драмамъ Байрона, именно, къ „Марино Фальеро“ и „Сарданапалу“, какъ къ наиболѣе совершеннымъ и законченнымъ, то и здѣсь увидимъ ту же напряженность дѣйствія, движенія и борьбы. Непримирымый и гордый дожъ не удовлетворяется однимъ словеснымъ протестомъ противъ захвата власти сенатомъ и угнетенія народа, созерцательнымъ переживаніемъ своей обиды, но, въ силу своей исконной активности, переходитъ къ дѣлу, опасной борьбѣ, вступая въ ряды заговорщиковъ и принимая надъ ними начальствованіе. „Слова—дѣла“, провозглашаетъ дожъ въ присутствіи суда свой девизъ: „а если произносить ихъ человѣкъ, готовый умереть, то ими часто можетъ онъ жестоко отмстить за смерть свою!“ <sup>2)</sup>. Исходъ для него трагиченъ, но гибнетъ онъ за свою активность, за свою мятежность. И надъ нимъ, какъ и надъ павшимъ императоромъ Франціи, звучатъ тѣ же мудрыя слова поэта, хорошо понятныя ему самому:

Ему покой ужаснѣй, чѣмъ могила;

Тотъ къ гибели идетъ, кто тѣмъ огнемъ согрѣтъ!

Активенъ по складу своего характера и Сарданапаль. Пусть въ началѣ трагедіи мы застаемъ его, исповѣдника, эпи-

---

<sup>1)</sup> Ibid., XX.

<sup>2)</sup> Марино Фальеро V.

курейской мудрости, отдающимся пирамъ и нѣжащимъ наслажденіямъ; въ минуты боя и опасности живущая въ немъ искони склонность къ дѣйствию пробуждается; съ героическимъ спокойствіемъ мѣняетъ онъ свое пышное опахало на острый мечъ, и изнѣженный владыка внезапно преобразается въ мудраго господина битвы.

Такъ душный лѣтній день,  
Вечернею грозою весь чреватый,  
Вдругъ разрозится съ силою такой,  
Что воздуху, повидимому, съ нею  
Не сдобровать и быть землѣ потопомъ загубленной.  
(Сарданапаль, III).

. Такъ сравниваетъ своего царя, неустрашимого въ сраженіи, одинъ изъ его приближенныхъ. Въ равной мѣрѣ той же активностью и умѣнемъ любить борьбу надѣлена и поллинная героиня трагедіи прекрасная, благородная Мирра. На тревожныя заботы о ней Сарданапала она спокойно отвѣчаетъ желаніемъ послѣдовать за нимъ. „На поле битвы, ты?“—Когда бъ и такъ—я не была бы первой гречанкою, свершившей этотъ путь!“<sup>1)</sup> И если ей не удастся стать рядомъ съ любимымъ владыкой въ рядахъ сражающихся, то этому препятствуетъ смерть, слѣдующая за пораженіемъ. Рѣзкой активностью обладаютъ здѣсь и другія лица трагедіи, и врывающаяся, сражаясь, толпа. Но истинное, жуткое движеніе мятущейся толпы мы находимъ въ мистеріи „Небо и Земля“, гдѣ все живущее на землѣ человѣчество мечется и стонетъ въ предсмертной агоніи, чуя неизбежную зловѣщую гибель.

Будучи врагомъ всякаго застоя и неподвижности, Байронъ и въ творчествѣ примѣнялъ идею быстрого движенія. Въ этомъ смыслѣ первая сцена второго дѣйствія въ „Каинѣ“ является какъ-бы pendant къ отмѣченной нами поэмѣ „Мазепа“, ибо вся эта сцена происходитъ въ безднѣ пространства при безостановочномъ полетѣ Люцифера и Каина. Самъ Каинъ—наиболѣе

---

<sup>1)</sup> Сарданапаль, III.

активный изъ всѣхъ героевъ Байрона, наиболѣе глубокой и цѣль своей активности видящей въ борьбѣ, въ борьбѣ съ самой природой и ея Творцомъ.

Нѣтъ, ничто не можетъ дать мнѣ болѣе покоя.

Покоя—говорю я? Никогда

Въ моей душѣ онъ не былъ, хоть я видѣлъ

Затишье межъ стихіями <sup>1)</sup>.

Трагиченъ финалъ и Каина, великаго плакальщика за родъ человѣческой, и трагиченъ въ силу все той же мятежности и идеи борьбы, въ силу того же огня, ведущаго къ неизбежной гибели!

Наконецъ, въ „Донъ-Жуанъ“ Байроновская активность проявляется съ особой отчетливостью въ лицѣ самого героя, вѣчно стремящагося, вѣчно движущагося. По своей психологій, какъ неустанный скиталець изъ страны въ страну, Донъ-Жуанъ близокъ Чайльдъ-Гарольду. Да оно и не удивительно, ибо тотъ и другой только маски одного лица, вѣчнаго мірового скитальца—скорбнаго, мятежнаго поэта. Говорить объ активности Донъ-Жуана, значить говорить объ активности самого Байрона; тѣсно сплетены они тутъ другъ съ другомъ. Отъ своего имени поэтъ провозгласилъ въ своей сатирѣ:

„борьба—мой идеалъ“ <sup>2)</sup>,

и героя заставилъ бороться, странствовать, подвергаться жестокимъ опасностямъ и висѣть на волосокъ отъ смерти. (Особенно типична въ этомъ отношеніи вторая пѣсня, изображающая бурю и гибель судна, а также борьбу со смертью пловцовъ, цѣпляющихся за жизнь).

Такова была активность самого Байрона и отраженіе ея въ творествѣ. Лучшее и совершеннѣйшее ея воплощеніе видѣлъ поэтъ въ любимой имъ вѣчно-подвижной, вѣчно стремящейся стихіи, въ свободномъ, не вѣдающемъ оковъ морѣ, къ мыслямъ о которомъ постоянно возвращался онъ въ своей

<sup>1)</sup> Каинъ, III.

<sup>2)</sup> Донъ-Жуанъ, XV, 22.

поэзіи, чей „образъ былъ на немъ означень“, и чьимъ „духомъ онъ самъ былъ созданъ“:

Я мальчикомъ еще съ тобой сдружился.  
Любилъ волнѣ отдаться, чтобъ она  
Несла меня.—Съ прибоемъ я рѣзвился;  
Когда жъ предъ близкой бурею волна  
Вдругъ пѣнилась, бурлива и темна,—  
То, хотъ тревога въ сердце проникала,  
Она была все-жъ прелести полна—  
И, какъ ребенка, ты меня качало,  
И гриву волнъ твоихъ рука моя ласкала <sup>1)</sup>.

Что же касается воли и ея проявленія въ герояхъ Байрона, то наличность ея явствуетъ уже изъ того, что всѣмъ своимъ дѣтищамъ поэтъ прививалъ, въ той или иной мѣрѣ, свои черты, а насколько сильна и исключительна была воля въ немъ самомъ, мы уже видѣли. Создавая дѣйствующихъ лицъ своихъ поэмъ истинными героями и героинями, Байронъ долженъ былъ снабдить ихъ живоносной волей, этимъ существеннѣйшимъ и необходимымъ атрибутомъ героизма. Высшими и наиболѣе могущественными носителями воли въ творчествѣ Байрона являются Манфредъ и Прометей. Титанизмъ ея у того и другого проявляется главнымъ образомъ въ борьбѣ съ невыносимыми страданіями, отъ которыхъ обычный человѣкъ, не обладающій сверхъестественными дарами, пошатнулся бы и сломился подъ роковымъ бременемъ.

Всѣ скорби душъ непобѣдимыхъ  
Душа твоя пережила:  
Жестокость мукъ, никѣмъ незримыхъ,  
Весь гнетъ тоски, которой стонъ  
Въ груди страдальца подавлялся,  
Чтобъ Зевса вѣстникъ и шпіонъ  
Не услыхалъ. И то боялся,

---

<sup>1)</sup> Чайльдъ-Гарольдъ, IV, 184.

Чтобъ даже этотъ легкій звукъ  
Не выдалъ небу тайныхъ мукъ <sup>1)</sup>).

Въ Манфредѣ эта воля граничитъ съ божественной, хотя и „скована съ прахомъ“; благодаря ей, онъ повелѣваетъ темными силами природы, сверхчувственнымъ міромъ. Но управлять и повелѣвать *собственными* чувствами и страстями бываетъ не легче, чѣмъ править надъ этими силами, а, между тѣмъ, волю самообузданія, безпощадную волю знаютъ всѣ герои Байрона. Знаетъ ее и Конрадъ, заставляющій, ради ждущаго его подвига, замолчать чувство нѣжной любви къ покидаемой Медорѣ; знаетъ ее и преклонный, дряхлый дождь Фоскари, во имя долга заглушающій любовь къ единственному сыну и утверждающей приговоръ сената; знаетъ ее и Сарданапаль, движимый необходимостью борьбы и любовью къ родной странѣ, пренебрегающій своими страстями и своей личной любовью, подобно самому Байрону, усиленъ воли оторвавшемуся отъ Венеціанской жизни и ставшему на путь политической борьбы. Вездѣ воля заставляетъ любовь, самое интенсивное, самое сильное чувство въ человѣческой природѣ, съ которымъ борьба наиболѣе трудна и мучительна, подчиниться идеѣ долга, идеѣ свѣтлаго подвига. Ею надѣлены и активныя женщины Байрона, мужественно владѣющія собой и неуклонно преслѣдующія поставленные передъ собой цѣли: Гюльнара въ „Корсарѣ“, рискующая собственной жизнью для спасенія своего избавителя; Мирра въ „Сарданапаль“, безстрашная стойкая гречанка; Марина въ „Двухъ Фоскари“ и Аголибама въ „Небѣ и землѣ“ надолго останутся въ исторіи міровой литературы, какъ прекраснѣйшіе образцы женской воли, активности и способности къ благородному подвигу.

Воля, какъ естественный спутникъ активности, проявляется у героевъ, разумѣется, не въ одномъ самообузданіи, но и въ стремительномъ достиженіи широкихъ задачъ, любимыхъ идей своей жизни. Обладателями такой „*движущей*“ воли былъ

---

<sup>1)</sup> Прометей.

гордый, благородный дождь Фальеро и, многими духовными чертами схожий с нимъ, любимецъ мысли поэта Наполеонъ.

Обладая титанической волей и врожденной активностью, Байронъ, и его герои неудержимо стремятся къ борьбѣ, какъ къ лучшему и настоящему выраженію этой активности. Рождается вопросъ, во имя чего, во имя какой святыни должна вестись и осуществляться эта борьба. Но прежде, чѣмъ отвѣчать на поставленный вопросъ, мы должны внимательно обслѣдовать еще одну черту въ характерѣ Байрона, черту, можетъ быть, самую существенную и, во всякомъ случаѣ, такую, мысль о которой немедленно приходитъ въ голову, едва произносится имя великаго поэта.

Эта черта—его индивидуализмъ.

## XV.

### Стремись

Собою быть въ своемъ сопротивленьи.

Ничто не можетъ одолѣть души,

Когда она захочетъ быть собою

И центромъ окружающаго міра,

Гдѣ суждено ей властвовать <sup>1)</sup>.

Таковъ одинъ изъ первыхъ завѣтовъ, одно изъ первыхъ откровеній, преподанныхъ духомъ мудрымъ, духомъ всевъдушимъ, Люциферомъ, своему близкому ученику, скорбному мятежнику Каину.

Байронъ, сочетавшій въ себѣ души Люцифера и Каина, зналъ этотъ завѣтъ, издавна носилъ его въ своемъ неприступномъ сердцѣ и умѣлъ стать „центромъ окружающаго міра“ и властвовать надъ умами удивленныхъ, подавленныхъ его величіемъ современниковъ. Въ этомъ завѣтѣ Люцифера заключается сущность индивидуализма, сущность исключительной личности, божественной и прекрасной, въ силу своей исключительности и превосходства отграничивающей себя отъ толпы.

---

<sup>1)</sup> Каинъ, дѣйств. I.

Проблема индивидуализма, рѣзко поставленная въ началѣ минувшаго вѣка, неизмѣнно развивалась въ теченіе цѣлаго столѣтія, найдя подъ конецъ такого яркаго выразителя ея въ лицѣ Фридриха Ницше. Но прежде, чѣмъ дойти до этого апостола идеи „сверхчеловѣка“, развѣ не была она уже предвосхищена и геніально отображена на зарѣ XIX вѣка въ личности и творчествѣ Байрона? И развѣ указанный отрывокъ изъ „Каина“, этотъ завѣтъ Люцифера, не есть аналогичное съ мыслью, высказанною Гегелемъ, что „среди всего великаго, съ чѣмъ мы встрѣчаемся во всемірной исторіи, самое великое, это—господство одной свободной воли надъ другими“, и не есть ли это провидѣніе идеи сверхчеловѣка съ его абсолютной свободой, съ его правомъ сильнаго, съ развитіемъ воли власти, для которой хорошо все то, что происходитъ изъ власти и возвышаетъ власть, и дурно все то, что исходитъ изъ слабости и ослабляетъ власть <sup>1)</sup>, словомъ, провидѣніе Ницшеанскаго міросозерцанія? Разумѣется, Байронъ въ ту эпоху и по складу своего ума не могъ высказать всего того, что проповѣдывалъ Фридрихъ Ницше, и, раздѣляя идею власти, какъ увидимъ далѣе, долженъ былъ оговориться, какова обязана быть эта власть. Но вѣдь не слѣдуетъ забывать, что въ міровоззрѣніи Байрона мы имѣемъ только провидѣніе, только намекъ на тѣ пути, по которымъ пошло и до которыхъ достигло человѣческое творчество въ области чистой мысли и искусства, развивающее идею гордаго индивидуализма.

Въ самомъ Байронѣ индивидуализмъ, какъ сознаніе самоцѣнной, самодовлѣющей личности, былъ заложенъ изначально въ его характерѣ, тоже былъ чертой органической. Онъ сказывался въ постоянномъ проявленіи своей, даже ребяческой, личности, въ протестѣ противъ всякаго насилія надъ его волей; въ желаніи властвовать. Не лишнее припомнить замѣчаніе, высказанное однимъ изъ школьниковъ въ Гарроу про будущаго поэта: „Байронъ не хочетъ быть съ нами, потому

---

<sup>1)</sup> Виндельбандъ. Ист. нов. философій, проблема цѣнности.

что онъ нигдѣ не любитъ быть вторымъ“<sup>1)</sup>). И этотъ маленькій мальчикъ не подозрѣвалъ, какъ психологически вѣрно опредѣлилъ онъ сущность своегознаменитаго пріятеля. Этотъ индивидуализмъ заставилъ его вполсѣдствіи отодвинуться отъ толпы и искать радости въ общеніи съ природой и въ сліяніи съ ней:

Природа стала мнѣ теперъ родною;  
Я больше, чѣмъ людей, люблю ее.

(Чайльдъ-Гарольдъ, IV, 178).

Эта любовь привела Байрона къ исповѣданію пантеизма, которымъ запечатлѣны послѣднія пѣсни Гарольда: природа для него Богъ, и въ немъ самомъ заключена частица ея. Лѣсъ, ручьи, водопады, особенно—горы, покрытыя снѣгами, эти единственно достойные Духа алтари, наполняютъ его мистическимъ восторгомъ, ощущеніемъ присутствующаго тутъ Божества:

Моря, холмы и небо стали частью  
Души моей, какъ я—частицей ихъ<sup>2)</sup>.

И сколько бы мы ни слѣдили за жизнью Байрона, мы никогда зато не встрѣтимъ его, какъ члена, какъ друга общества, съ которымъ ему приходилось сталкиваться; онъ либо временный гость, душою чуждый окружающимъ его людямъ, либо глава, вождь массы; именно, глава, потому что онъ выше ея и, значить, чуждъ ей. Недаромъ же онъ въ своей Гарольдовой исповѣди сказалъ характернѣйшія для его духовнаго склада слова:

Міръ не любя, любимъ я не былъ міромъ,  
*Среди другихъ, я не съ другими былъ*<sup>3)</sup>.

Тѣ общественныя условія, о которыхъ намъ уже приходилось говорить, укрѣпляя въ поэтѣ чувство глубочайшей скорби и неудовлетворенности человѣчествомъ, содѣйствовали въ то же время и развитію крайняго индивидуализма. Ибо Байронъ

---

<sup>1)</sup> Тэнъ. Лордъ Байронъ, стр. 381.

<sup>2)</sup> Чайльдъ-Гарольдъ, III, 72, 89, 91, 75.

<sup>3)</sup> „*Among them, but not of them*“. Чайльдъ-Гарольдъ, III, 113.

долженъ былъ сознать, насколько его героическое я превосходить окружающихъ его людей, насколько онъ истинный носитель челоѣческаго начала, прекраснаго Прометеева огня! Спасать и избавлять людей этого поколѣнія врядъ ли возможно: они уже обречены на жалкую безнадежность, на долгое духовное рабство. Но живетъ мысль о грядущихъ поколѣніяхъ, людяхъ будущаго, которые въ иной, обновленной атмосферѣ способны будутъ превратиться въ достойныхъ представителей челоѣчества, въ истинныхъ героевъ жизни. Пока же этого нѣтъ, удѣлъ для современнаго Байрону общества—горделивое презрѣніе къ нему сильной, могущественной личности. Отсюда—развитіе индивидуализма до его исключительныхъ размѣровъ, до усвоенія принциповъ антисоціальности, античелоѣчности. Совсѣмъ еще молодымъ онъ сумѣлъ прочувствовать эти принципы и изобразилъ ихъ въ характерной для своихъ настроеній эпитафіи на могилѣ его ньюфаундлэндской собаки:

О челоѣкъ! смѣшной и извращенный родъ!  
Раздутый гордостью, объятый ослѣпленьемъ!  
Ты—масса, гдѣ одно ничтожество живетъ,  
Кто разъ узналъ тебя, —бѣжитъ тебя съ презрѣньемъ<sup>1)</sup>.

Насколько эти слова были не случайны, покажутъ намъ размышленія всей жизни поэта. Такой индивидуализмъ, врожденный и эволюционирующий, не можетъ подвергаться рѣзкой ломкѣ и презрѣніе къ людямъ обратить безъ всякой видимой причины въ искреннюю любовь къ нимъ. Подобный актъ долженъ противорѣчить психологіи челоѣческой природы. Однако, пламенная борьба поэта въ рядахъ итальянскихъ карбонаріевъ и на почвѣ любимой Греціи, равно какъ и весь второй, прометеевскій періодъ его творчества, свидѣтельствуютъ, какъ будто, о происшедшей ломкѣ и замѣнѣ презрительнаго антисоціальнаго индивидуалиста индивидуалистомъ глубоко-соціальнымъ, индивидуалистомъ - общественникомъ. Байронъ

---

<sup>1)</sup> Надпись на могилѣ Ньюфаундл. собаки 1808 г.

былъ, несомнѣнно, удивительно искренней личностью, „самымъ естественнымъ характеромъ, когда-либо существовавшимъ въ человѣческой исторіи“, какъ охарактеризовалъ его Дюрингъ <sup>1)</sup>, и заподозрѣть его въ столь яркой неправдивости, какъ намеренное искаженіе самого себя въ одномъ изъ періодовъ его творчества, кажется намъ несомвѣстимымъ съ обликомъ Байрона. Когда же онъ былъ наиболѣе самимъ собою? Тогда ли, когда въ уединенномъ, неприступномъ замкѣ Манфреда онъ создавалъ образъ Лары и Конрада, или когда вмѣстѣ съ дожемъ Фальеро ратовалъ за освобожденіе венеціанцевъ, или, можетъ быть, онъ въ обоихъ періодахъ оставался все тѣмъ же замкнутымъ индивидуалистомъ съ антисоціальными началами? Между тѣмъ, наличность двухъ, рѣзко отличающихся другъ отъ друга, періодовъ имѣется, и Котляревскій прямо говоритъ, что „отвернуться отъ ближняго и всецѣло замкнуться въ своемъ внутреннемъ мірѣ, не удѣляя людямъ ни своихъ помысловъ, ни своихъ чувствъ,—Байронъ былъ не въ силахъ; въ его груди билось очень гуманное сердце“ <sup>2)</sup>. Здѣсь мы, именно, и подходимъ къ выясненію того вопроса, который былъ поставленъ нами въ концѣ предшествовавшей главы: какъ и во имя чего велъ поэтъ свою страстную борьбу, къ осуществленію каковой стремился долгіе годы. Сперва посмотримъ только на выраженіе антисоціальныя принциповъ въ Манфредовскомъ періодѣ. Глубокая антисоціальность его героевъ (не антигуманность, ибо послѣдняя не уживалась въ душѣ даже наиболѣе рѣзкаго индивидуалиста: чувство снисходительнаго состраданія заставляло протянуть его гордую руку всякому забитому и страждущему, во имя его состраданій, но не во имя его принадлежности къ человѣческому роду) ярко выявляется во всѣхъ произведеніяхъ этого періода. Она чувствуется въ полной и непоправимой разобщенности героя съ людьми, даже близкими ему по духу.

---

<sup>1)</sup> Дюрингъ. Великіе люди въ литературѣ—Байронъ.

<sup>2)</sup> Н. Котляревскій, Мировая скорбь, 195, 196.

Отъ всѣхъ, кто съ нимъ былъ связанъ бытіемъ,  
Съ кѣмъ долженъ былъ дышать онъ, но не слиться,  
Добромъ иль зломъ желалъ онъ отдѣлиться.

(Лара, пѣснь I, XVIII).

Ни Конрадъ, ни Лара, ни Альпъ никогда не раскроютъ своей души окружающимъ ихъ, никогда не снизойдутъ къ единенію съ ними и не помыслятъ о ихъ благоденствіи и счастьѣ. Примѣчательно въ этомъ отношеніи то средостѣніе, которое существуетъ, напримѣръ, между Конрадомъ и его товарищами по морскимъ разбоямъ, несмотря на общность ихъ интересовъ и ежеминутной гибели. И если всѣхъ ихъ мы застаемъ въ дѣйствіи и борьбѣ, то эта борьба ведется въ силу ихъ активности или ради сведенія личныхъ счетовъ. Они знаютъ хорошо цѣну толпѣ и ея порывамъ; ничтожество людей давно уже ими опознано.

Такъ и быть должно:

Для одного трудиться суждено

Толпѣ: таковъ законъ природы властной <sup>1)</sup>.

Гордая титаническая воля индивидуалиста помыкаетъ толпою; цѣнность человѣка, слабого и раболѣпствующаго, для него ничтожна, и кровь его можетъ быть пролита легко. И въ „восточныхъ поэмахъ“ кровь эта льется обильной струею. Толпа не любитъ индивидуалиста, но трепещетъ и пресмыкается предъ нимъ.

И пресмыкаются они

Предъ нимъ затѣмъ, что искони

Передъ людьми высокихъ думъ

Смирался въ черни темный умъ <sup>2)</sup>.

Правда, Лара собираетъ вокругъ себя полчища угнетенныхъ и недовольныхъ и поднимаетъ мятежъ противъ угнетателей, но личные счета, личная месть руководятъ имъ въ

<sup>1)</sup> Корсаръ, пѣснь VIII.

<sup>2)</sup> Осада Коринеа XII.

данномъ случаѣ, и вѣщими словами опредѣляетъ эту борьбу самъ поэтъ:

Что для него рабовъ освобожденье?

Но въ силѣ ихъ—надменнымъ униженье <sup>1)</sup>.

Къ „униженію надменныхъ“, къ рѣшительной побѣдѣ надъ ними сводилась и борьба Байрона. Эпиграфъ, выставленный къ первой драмѣ другого великаго пѣвца человѣческой личности, сталъ лозунгомъ и для него. Этотъ лозунгъ: „In tyranpos“! <sup>2)</sup>; ему вѣренъ былъ поэтъ всю свою жизнь. И ненависть къ нимъ было не трудно поддерживать тому, кто самъ сказалъ:

Да, наконецъ, намъ ненависть дана;

Когда ея запало въ душу сѣмя,

То ей одною дышетъ человѣкъ.

Онъ любитъ мигъ, а ненавидитъ вѣкъ <sup>3)</sup>.

Бороться съ тиранами и ненавидѣть ихъ побуждала великая идея свободы, мелькнувшая яркимъ лучомъ на закатѣ XVIII вѣка и безнадежно затерявшаяся въ мрачныхъ сгустившихся тучахъ. Свобода міра, свобода, не ограничивающаяся данной страной и народомъ, была идеаломъ поэта и вытекала изъ его космополитической настроенности. А Байронъ былъ, дѣйствительно, типичнымъ космополитомъ. Англію онъ любилъ, но не болѣе, чѣмъ другія страны, и легко пересталъ чувствовать къ ней сыновнюю привязанность, особенно послѣ своего изгнанія. Интересъ его къ ней не затихъ до послѣднихъ дней жизни, но это не мѣшало ему Италію называть своей второю родиной и умереть въ любимой съ юношескихъ лѣтъ прекрасной Греціи, гдѣ осталось похороненнымъ его благородное сердце. „Гражданиномъ міра“ любилъ онъ на-

---

<sup>1)</sup> Лара, пѣснь II, IX.

<sup>2)</sup> Шиллеръ поставилъ эти слова въ качествѣ эпиграфа къ своимъ „Разбойникамъ“.

<sup>3)</sup> Донъ Жуанъ, XIII, 6.

зывать себя; это имя было ему свойственно болѣе, чѣмъ кому-либо другому и дѣлаетъ его близкимъ и своимъ всей вселенной. Итакъ и идея свободы во имя свободы неотходно преслѣдовала Байрона. Главнымъ препятствіемъ для ея осуществленія въ жизни были тиранны и инертная, покорная масса.

Народъ! Здѣсь нѣтъ народа. Это вамъ  
Извѣстно хорошо; иначе вы  
Не смѣли бъ обращаться такъ позорно  
Съ народомъ и со мной. Здѣсь только *чернь*,  
Которая когда-нибудь заставитъ  
Васъ тайно покраснѣть, но никогда  
Не хватить ей ни силъ, ни воли прямо  
Возстать на все иль поразить васъ клятвой <sup>1)</sup>).

Тиранамъ же поэтъ объявилъ смертную войну, говоря языкомъ поэзіи, или, какъ онъ выражался въ одномъ письмѣ. „упростилъ свою политику въ смыслѣ полной ненависти ко всѣмъ существующимъ правительствамъ“. Въ этой войнѣ онъ долженъ былъ искать опоры, какъ его Лара, въ массѣ, въ черни, рабахъ. Презрѣніе къ нимъ продолжало жить, но лучше протянуть свою гордую руку угнетаемому народу, чѣмъ терпѣть владычество тупого деспотизма.

Для Байрона никогда не важенъ народъ самъ по себѣ. Просто о народѣ, какъ коллективной силѣ, онъ говоритъ мало, но народъ попираемый живо его интересуетъ. Центръ тяжести долженъ быть перенесенъ со слова *народъ* на слово *потираемый*.

„Къ тому жъ всегда я защищаю бѣдныхъ  
И слабыхъ; но случись паденье тѣхъ,  
Что давятъ міръ теперь въ вѣнкахъ побѣдныхъ,  
Я измѣнилъ бы фронтъ; пускай мой смѣхъ  
Язвить бы сталъ позоръ пигмеевъ вредныхъ,—

---

<sup>1)</sup> Два Фоскари, V.

Ихъ защищать не счелъ бы я за грѣхъ.

Я всякой тиранніи врагъ заклятый,

Хотя бы и царили демократы! 1)“.

Борьба велась во имя свободы, отвлеченной и не оформленной ясно; ей слагались вдохновенные гимны, ради нея сокрушалась тираннія. Но чувства и сердечной склонности къ человѣчеству, во всякомъ случаѣ, къ человѣчеству современному, у Байрона не было, и антисоціальныя принципы не изгладились и въ періодѣ „Прометеевскомъ“. Однако, такой періодъ существуетъ, и мы сами дали ему соотвѣтствующее опредѣленіе, ибо онъ фактически разнится отъ перваго, только что рассмотрѣннаго нами. Дѣйствительно, въ этомъ второмъ періодѣ передъ нами проходятъ маски поэта: Дантъ, тоскующій объ угнетенномъ итальянскомъ народѣ, подавленный жестокимъ деспотизмомъ; дожъ Фальеро, поднявшій знамя бунта противъ узурпировавшаго власть патриціанства во имя освобожденія Венеціи; Каинъ, скорбящій о грядущихъ страданіяхъ рода человѣческаго и кидающій вызовъ Творцу, какъ верховному и жестокому Тирану. На страницахъ Байроновой поэзіи начинаютъ мелькать имена Леонида Спартанскаго, Кола-ди Ріенци, горячаго трибуна, и, особенно, Вашингтона; поются имъ хвалебныя пѣсни, какъ смѣлымъ насадителямъ человѣческаго счастья и свободы 2). Наконецъ, въ этотъ же періодъ мы видимъ самого Байрона среди итальянскихъ заговорщиковъ и вождемъ греческаго возстанія. Въ это же время пишется извѣстная XXI-ая строфа девятой пѣсни „Донъ Жуанъ“, на которую ссылаются обыкновенно для подтвержденія (исходящаго отъ самого уже Байрона) взгляда на соціальность и общественность поэта:

Я съ Меланхтономъ схожъ и Моисеемъ

Терпимостью и кротостью своей;

---

1) Донъ Жуанъ, XV, 23 I.

2) См. Чайльдъ-Гарольдъ, IV, 94 и 114, оду къ Наполеону Бонапарту, оду къ Венеціи.

Никто меня не назоветъ злодѣемъ,  
Хоть я порой не сдерживалъ страстей  
И ходъ давалъ всегда своимъ идеямъ,  
Но безъ причинъ не задѣвалъ людей.  
За что жъ въ поэтѣ мизантропа видятъ?

Но, тѣмъ не менѣе, если мы внимательнѣе взглянемъ въ творчество Прометеевскаго періода, то увидимъ все ту же не исчезнувшую изъ Байронова сердца антисоціальность, то же презрительное, равнодушное отношеніе къ современному человечеству. И, сопоставляя антисоціальныя мотивы этого періода съ такими же мотивами, звучавшими въ періодѣ Манфредовскомъ, мы убѣдимся, насколько исконнымъ было это чувство въ Байронѣ, насколько Байронъ былъ вѣренъ самому себѣ, оставался самимъ собою и въ томъ и въ другомъ періодѣ, *сохраняя въ себѣ антисоціальныя начала.*

Въ одномъ изъ первыхъ произведеній разбираемаго періода, именно, въ третьей пѣснѣ „Чайльдъ-Гарольда“, въ которой уже занесенъ мечъ надъ деспотизмомъ и произволомъ, раздаются глубоко антиобщественныя слова:

Не лучше ль безъ людей жить на землѣ,  
Любя ее одну? <sup>1)</sup>

Соотвѣтственныя мысли и такое же настроеніе находимъ въ общественнѣйшей поэмѣ Байрона, замыкающей его творчество,—въ „Донъ-Жуанъ“.

Лишь самодержцемъ царствовать могу я,—  
Не то пустынный островъ мнѣ милѣй <sup>2)</sup>.

Въ этихъ словахъ обнаруживается стремленіе бѣжать, оградиться отъ рода человѣческаго и, если жить, то жить въ полномъ одиночествѣ. Идея, такъ ярко выраженная въ наиболѣе антигуманной поэмѣ — „Манфредъ“, нашла отклики во время общественнаго служенія поэта. Мысли объ огражденіи отъ

---

<sup>1)</sup> Чайльдъ-Гарольдъ, III, 71.

<sup>2)</sup> Донъ Жуанъ, XI, 56.

людей не беспочвенны: онѣ исходятъ изъ порочности и обреченности человѣческаго рода. Люди—рабы, люди—звѣри; жить среди нихъ и ради нихъ невысказанно и ужасно.

Погибни жъ, родъ вдвойнѣ презрѣнный,

Что былъ врагомъ небесъ и не былъ другъ геенны <sup>1)</sup>).

А изъ устъ Данта, являющагося въ своемъ „Пророчествѣ“ носителемъ идеи мира и освобожденія, раздается уничтожающая характеристика человѣка:

Человѣчнѣе тѣ, что лижутъ раны

И трупы жрутъ: рой птицъ и злыхъ волковъ,

Насытятся тѣ уйдутъ. Но насыщенья

Звѣрь-человѣкъ не знаетъ и готовъ

Онъ безъ конца изобрѣтать мученья <sup>2)</sup>).

И если въ драмѣ „Два Фоскари“ сынъ, воплощающій въ себѣ социальныя мысли, общественную идеологию, говоритъ:

Но мнѣ ужасна мысль

Объ одиночествѣ: я родился

Для общества <sup>3)</sup>,

то старикъ дожъ, языкомъ котораго Байронъ, по преимуществу, высказываетъ свое міросозерцаніе, который въ драмѣ обрисованъ поэтомъ съ особой любовью и симпатіями, клеймить это общество суровымъ приговоромъ:

всѣ люди,

Отъ высшаго до низшаго, не больше,

Какъ жалкіе рабы! <sup>4)</sup>).

И самъ Марино Фальеро, ратующій за освобожденіе Венеціи, этотъ любимый герой Байрона во второмъ періодѣ, опредѣляетъ людей, какъ „ничтожныхъ людишекъ, негодныхъ для выполненія дѣла“, <sup>5)</sup> и роковой вопросъ, вопросъ Гамлета,

<sup>1)</sup> Небо и земля. Хоръ духовъ.

<sup>2)</sup> Пророчество Данта, II.

<sup>3)</sup> Два Фоскари, д. II.

<sup>4)</sup> Ibid.

<sup>5)</sup> Марино Фальеро, V, ст. 2.

проникнутый глубокимъ скепсисомъ, встаетъ передъ умудрен-  
нымъ опытомъ и лѣтами дожемъ:

О міръ!

О родъ людской! скажи, что ты такое  
Со сбродомъ всѣхъ пустыхъ твоихъ понятій,  
Какимъ даешь ты имя добрыхъ дѣлъ? <sup>1)</sup>

Мы еще разъ напоминаемъ то, что уже нами подчеркива-  
лось: именно, борьба и мысль, поддерживающая эту борьбу,  
направлены по волѣ поэта и осуществляются во имя отвлечен-  
ной идеи свободы; освобождаемые отходятъ на задній планъ,  
потому-то насъ не должны удивлять приведенные мнѣнія и при-  
говоры героевъ и борцовъ за освобожденіе. И если Фальеро—  
Байронъ могъ такъ рѣзко оцѣнивать человѣчество, то въ  
устахъ Байрона—Сарданапала подобная оцѣнка будетъ вполне  
естественной и послѣдовательной: „Такія же сердца у псовъ  
моихъ—нѣтъ, лучше, почестнѣе. Я обращаю въ пустыню владѣ-  
нія мои и стану въ нихъ травить звѣрей,—что были по при-  
родѣ своей людьми, но стали не людьми по своему желанью“ <sup>2)</sup>.  
Ставъ на такую точку зрѣнія, Байронъ, конечно, долженъ  
былъ бѣжать отъ современнаго ему человѣка. Но человѣческое  
начало вообще, заложенное въ нетронутыхъ, первобытныхъ  
людяхъ, сильныхъ и прекрасныхъ, было ему дорого и близко,  
можетъ быть, оттого, что въ самомъ себѣ онъ носилъ ихъ  
благородныя черты. Несомнѣнно только, что это была при-  
чина, побудившая его обратиться къ библейскимъ сюжетамъ  
и съ такой любовью изобразить первенцевъ міра, правдивыхъ  
и непосредственныхъ, обаятельныхъ въ своей первобытности.  
Это же чувство подсказало ему созданіе, непосредственно  
вслѣдъ за мистеріями, его послѣдней благоухающей поэмы  
„Островъ“, въ которой связь съ современностью порвана  
окончательно, въ которой принципъ осуществимости счастья  
и блаженства земного признается только въ идеальной перво-

<sup>1)</sup> Марино Фальеро, IV.

<sup>2)</sup> Сарданапалъ, д. I, сц. 2.

бытной древней общинѣ. Въ этомъ смыслѣ обѣ мистеріи и „Островъ“ тождественны, и созданіе ихъ относится какъ-разъ къ тому времени, когда появлялся „Донъ Жуанъ“, сатира, обрекающая нынѣшнее человѣчество, съ ея антисоціальными, уже указанными строфами, изъ которыхъ одна—въ пред- послѣдней пѣснѣ (что очень характерно, ибо является выво- домъ изъ долгихъ размышлений, руководившихъ поэтомъ во время созданія сатиры) — заканчивается уже знакомымъ мотивомъ:

На грани двухъ міровъ, средь тьмы и свѣта  
Мерцаетъ жизни тусклая звѣзда.  
Зачѣмъ на свѣтѣ люди? Нѣтъ отвѣта;  
Грядущее жъ темно. <sup>1)</sup>

Но въ темнотѣ этого грядущаго Байронъ могъ уловить мелькающія радостныя звѣзды. Онъ могъ надѣяться, что въ иной атмосферѣ, при иномъ жизненномъ укладѣ формируются другіе характеры, родятся иныя человѣческія личности. Залогъ возможности образованія такихъ лучшихъ людей, поэтъ, какъ индивидуалистъ, видѣлъ въ себѣ, въ своемъ исключительномъ я. Прошлое, правда, очень далекое, и, слишкомъ отчасти, настоящее укрѣпляло вѣру въ темное грядущее. Насажденіе благотворной свободы было прямой необходимостью для рас- цвѣта людей будущаго. Для нихъ надо было готовить почву; отсюда—радостное участіе поэта во всѣхъ освободительныхъ движеніяхъ, чтобы, хоть гдѣ—нибудь, закрѣпить и упрочить исчезнувшую изъ міра свободу. Ради этого будущаго стоило признать цѣнность жизни и міра, которая въ настоящее время была слишкомъ незначительна. Антисоціальность Байрона была безусловной по отношенію къ современности и совре- менникамъ (это мы уже подчеркивали неоднократно), но она, разумѣется, не могла имѣть мѣста при мысли обѣ истинныхъ людяхъ, грядущихъ герояхъ жизни.

<sup>1)</sup> Донъ Жуанъ, XV, 99.

„Но хочешь вѣрить, что въ героѣ  
„Пылаетъ пламя неземное,  
„Плѣняя насъ, внушая страхъ“<sup>1)</sup>.

Онъ хотѣлъ и умѣлъ вѣрить.

Много отвлеченности и неопредѣленности въ этихъ идеяхъ, но во имя идеи прекрасна борьба, тѣмъ болѣе борьба за свободу, которая очиститъ и обновитъ мѣръ.

Мужай, свобода! адрами побитый,  
Твой поднять стягъ наперекоръ вѣтрамъ;  
Печальный звукъ твоей трубы разбитой  
Сквозь ураганъ доселѣ слышенъ намъ.  
Цвѣтовъ ужъ нѣтъ. Ужъ по твоимъ вѣтвямъ  
Прошелъ топоръ, и стволъ твой обнажился,  
Но жизни сокъ еще струится тамъ,  
Запасъ сѣмянъ подъ почвой сохранился,  
И лишь весна нужна теплѣй, чтобъ плодъ развился.<sup>2)</sup>

Байрону не суждено было дожить до этой весны; вѣру же въ нее онъ могъ унести съ собою въ могилу.

Но, чтобы окончательно уяснить себѣ причину появленія въ творчествѣ и жизни поэта Прометеевскаго періода и на-ростанія видимой гуманности и человѣчности, необходимо взглядѣться въ психологическую сущность этого вопроса. Вспомнимъ, что Байронъ былъ глубоко активной натурой; допуская его исконную антисоціальность, мы должны при-знать, что эта активность настоятельно требовала дѣятель-ности, выражавшейся въ борьбѣ. Бороться съ самимъ собою, со своими переживаніями и страстями, подобно Гяуру и Ман-фреду, все время было немислимо и слишкомъ тяжело. Дѣйствиіе безъ опредѣленной цѣли, въ родѣ паломничества Чайльдъ-Гарольда или опасныхъ приключеніи Корсара, скучно и бесплодно, а главное, не можетъ удовлетворить сказавшаго про себя: „вся жизнь моя—борьба со дня рожденія“. Идеи

<sup>1)</sup> Ода Наполеону Бонапарту.

<sup>2)</sup> Чайльдъ-Гарольдъ, IV, 98.

носимъ. Отсюда, какъ прямое логическое слѣдствіе, вытекаетъ, что борьба направится противъ нея, ибо угнетенные, хотя и не достойные, малолюбимые, лучше презрѣнныхъ угнетателей, уже въ силу своихъ страданій, сблизившихъ ихъ съ поэтомъ, носителемъ тягчайшихъ скорбей. Кромѣ того, въ угнетенной массѣ есть надежда своимъ примѣромъ зажечь искру огня Прометея и совмѣстными усиліями приготовить счастливый строй жизни для грядущихъ поколѣній, уже независимыхъ и прекрасныхъ. Тираны же безнадежны и осуждены навсегда.

Однако, кромѣ массы, именуемой человѣчествомъ, и деспотовъ, существуютъ люди, сильные духомъ, волей и разумомъ, призванные къ истинному господству надъ народами и своею мудрою властью ведущіе ихъ къ счастью и благу. Это тѣ властители, которыхъ мы имѣли въ виду, сравнивая въ началѣ главы Ничшеанскую идею власти съ идеей власти Байрона; это тѣ властелины, которые являются для поэта образцомъ настоящаго человѣка, залогомъ его воплощенія въ будущемъ. Въ дневникѣ 1813 г. онъ пишетъ: „быть *первымъ* въ народѣ—не диктаторомъ, не Суллой, но Вашингтономъ или Аристидомъ—руководителемъ жизни въ силу справедливости и опираясь на талантъ—участь, равняющая человѣка съ божествомъ <sup>1)</sup>).

Такихъ сильныхъ и благородныхъ властелиновъ—Цезарей Байронъ хотѣлъ видѣть въ прошломъ—въ дождѣ Фальеро; въ римскомъ трибунѣ XIV вѣка Кола ди-Ріенци, „носителѣ римской доблести“, по выраженію поэта, и, наконецъ, въ могущественной личности Наполеона, какъ представителѣ настоящаго. Плѣнялъ поэта и образъ Вашингтона; но о немъ Байронъ говоритъ больше вскользь. По той ли причинѣ, что былъ онъ, выдвинувшійся и дѣйствующій въ сказочной и отдаленной Америкѣ, и самъ слишкомъ далекъ для европейца; или въ немъ было мало той аффектаціи, того блеска, которые сопровождали Наполеона и были любы Байрону;

---

<sup>1)</sup> Веселовскій. Байронъ, 85.

Пушкинисть, I.

или былъ онъ слишкомъ мѣстнымъ героемъ (хотя по существу героизмъ его міровой), тогда какъ слава и дѣятельность Бонапарта была, по истинѣ, міровая,—сказать затруднительно. Но въ отношеніи Байрона къ великому американцу не чувствуется той душевной созвучности, какая присуща его отношеніямъ къ Наполеону. <sup>1)</sup>

## XVI.

Наполеонъ былъ въ полномъ смыслѣ „героемъ его романа“ къ нему постоянно возвращается мысль поэта, ему было пріятно сознаніе, что начальныя буквы Noel Вугон и Napoleon Bonaparte оказывались совпадающими и словно сближали эти два имени; но въ тоже время отношеніе Байрона къ великому Императору—самое загадочное, что есть въ исторіи жизни поэта. Здѣсь не мѣсто входить въ оцѣнку генія Наполеона, но необходимо отмѣтить, что много было общихъ чертъ у двухъ изумительныхъ гражданъ начала XIX вѣка. Особенно роднили ихъ могучее проявленіе воли, необузданная активность и сила личности. Высказывая въ „Чайльдъ-Гарольдѣ“ по адресу Наполеона негодованіе и упреки, Байронъ не могъ не отмѣтить эти близкія ему черты сильнаго духа:

Онъ палъ. То были-ль мудрость, сила воли,  
Иль гордость, но онъ муку скрыть умѣлъ. <sup>2)</sup>

Это преодоленіе своихъ страданій высоко цѣнили поэтъ въ сказочномъ Прометееѣ и самъ въ большой мѣрѣ обладалъ имъ.

Что касается активности, какъ вѣчной жажды борьбы, оказавшейся трагичной для Наполеона, то она изображена въ приведенныхъ выше словахъ:

Онъ былъ за то низринуть, что съ покоемъ  
Мириться былъ не въ силахъ. <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Обращеніе къ Наполеону см. Чайльдъ-Гарольдъ I, 53; III, 18—20; 36—44; IV, 89—92., Ода къ Наполеону Бонапарту; Прощаніе Наполеона: съ французскаго; Ода съ французскаго; Бронзовый вѣкъ.

<sup>2)</sup> Чайльдъ-Гарольдъ 39, III.

<sup>3)</sup> Ibid. 42.

Сила же личности Наполеона проявилась въ исторіи его удивительной жизни.

Въ виду общности этихъ чертъ, Наполеонъ, пожалуй, былъ единственный, котораго Байронъ могъ бы назвать своимъ собратомъ. „Но мнѣ не хочется“,—писалъ Байронъ въ своемъ дневникѣ послѣ отреченія Бонапарта—„покидать его даже теперь, хотя всѣ его поклонники отпали отъ него, какъ таны отъ Макбета“. И въ то же время много строфъ, полныхъ возмущенія и желчи, раскинуто въ поэзіи Байрона, обвиняющихъ и клеймящихъ Наполеона. Наиболѣе жестокимъ выраженіемъ этихъ гнѣвныхъ выпадовъ является знаменитая „Ода къ Наполеону“, написанная по случаю отреченія. И, несмотря на ея озлобленный тонъ, чувствуется, что ненависть, звучащая въ ней, продиктована исключительно любовью поэта къ императору. Да, Байронъ любилъ его и хотѣлъ въ немъ видѣть то, чего у Наполеона не было, но чѣмъ обладалъ самъ поэтъ. Въ Наполеонѣ не было чертъ Вашингтона и, завладѣвъ міромъ, онъ не думалъ о насажденіи той свободы міра, о которой грезилъ Байронъ и которой ждалъ отъ императора, отъ его воли и которую самъ упрочилъ бы, если бъ суждено ему было принять и носить корону Греціи. За неосуществленіе этой грезы онъ клеймилъ его „побочнымъ сыномъ Цезаря“, „тираномъ ничтожнымъ“<sup>1)</sup>, такимъ,

какъ всѣ земные боги:

Изъ бронзы—лобъ, изъ глины ноги<sup>2)</sup>.

Но все же окончательно не могъ отрѣшиться отъ своей вѣры въ него, въ возможность водворенія свободы именно при помощи такой индивидуальности и, когда Наполеонъ былъ обреченъ уже на вѣчное заточеніе, Байронъ его устами высказалъ свои завѣтныя мысли:

---

<sup>1)</sup> Чайльдъ-Гарольдъ, IV, 90.

<sup>2)</sup> Ода къ Наполеону.

Прощай же, о Франція! Если жъ свободы  
Святыя призывы воскреснуть въ странѣ,  
И мертвыхъ фіалохъ завѣтныя всходы  
Опять расцвѣтутъ,—не забудь обо мнѣ <sup>1)</sup>.

Попраніе идеи свободы, актъ отреченія, какъ признакъ жалкаго малодушія, оскорбляли поэта. Въ упомянутой „Одѣ“ онъ рѣзко указалъ Наполеону, чего могла требовать отъ него благородная, героическая личность:

Былъ день, былъ часъ: вселенной цѣлой  
Владѣли Галлы; ими—ты.  
О если бъ въ это время смѣло  
Ты самъ сошелъ бы съ высоты,  
Маренго ты бъ затмилъ сіянье.  
Объ этомъ днѣ воспоминанье  
Всѣ пристыдило бъ клеветы <sup>2)</sup>.

И нужно было кровавое зарево Ватерлоо, чтобы вновь примирить Байрона съ развѣнчаннымъ императоромъ.

Въ Наполеонѣ, какъ разъ, не было того героическаго благородства, того чувства великаго достоинства, которыя были развиты въ совершенствѣ у Байрона. Гармоническую натуру поэта раздражало отсутствіе гармоніи въ императорѣ—гармоніи въ его личности, въ его жизни и дѣйствіяхъ, и это вызывало страстныя строки:

Когда бъ одинъ, сражаясь съ врагами,  
Онъ подъ напоромъ бури изнемогъ,  
Какъ башня, что ведетъ борьбу съ годами,  
Весь родъ людской онъ презирать бы могъ.  
*Но онъ престоломъ былъ обязанъ міру.*  
Предъ тѣмъ, чтобы глумиться надъ толпой,  
Какъ Діогенъ, онъ снятъ съ себя порфиру

---

<sup>1)</sup> Прощаніе Наполеона.

<sup>2)</sup> Ода къ Наполеону.

Обязанъ былъ; вѣнчанному кумиру  
Позорно циника изображать собой <sup>1)</sup>).

Байронъ имѣлъ право на мизантропію и презрѣніе къ людямъ: онъ отъ нихъ ничего не бралъ и не искалъ никогда ихъ ничтожной помощи. Не онъ, а человѣчество, враждовавшее съ нимъ, осталось его неоплатнымъ должникомъ.

Наполеонъ для Байрона былъ „маленькимъ бѣднымъ кумиромъ“, какъ онъ самъ называлъ его въ дневникѣ отъ 8 апр. 14 г. Байронъ могъ смотрѣть на него, если не сверху внизъ, то, во всякомъ случаѣ, какъ на равнаго, хотя въ томъ же дневникѣ находимъ выраженіе: „я насѣкомое въ сравненіи съ нимъ“. Но это выраженіе случайное, ибо только равный, нравственную власть и силу имѣющій, можетъ гнѣвно обличать и негодовать и сознавать въ то же время всю справедливость своихъ упрековъ и возмущеній. Недочетамъ Наполеона, какъ героической личности, Байронъ могъ противопоставить свой цѣльный, благородный характеръ, свою изумительную нравственную мощь (см. стр. 572 т. I. Байрон. примѣч.).

И вотъ, не взирая на временное раздраженіе противъ Наполеона, на сознаніе его ошибокъ и пороковъ, поэтъ испытывалъ до конца дней своихъ уваженіе и привязанность къ своему герою. Это была, такъ сказать, любовь органическая, ибо онъ все же признавалъ, насколько безпримѣрная индивидуальность Наполеона доминируетъ надъ тщедушнымъ человѣчествомъ; насколько онъ великъ въ своей силѣ и умѣньѣ господствовать надъ толпой; насколько, наконецъ, онъ можетъ приблизиться къ идеѣ „героя будущаго“.

„Бронзовый вѣкъ“—это послѣднее упоминаніе о погибшемъ императорѣ. Послѣ упрековъ, обращенныхъ къ нему за жалкое влеченіе жизни подъ надзоромъ раба, оно кончается вѣчной памятью его славы и угасшей силѣ:

---

<sup>1)</sup> Чайльдъ-Гарольдъ 41, III.

Все жъ это имя островъ освятить,  
Какъ талисманъ, чью святость міръ почитать;  
И, проходя со всѣхъ концовъ земли,  
Съ высокой мачтой въ морѣ корабли  
Пошлютъ ему ликующій привѣтъ <sup>1)</sup>.

## XVII.

Послѣдней типической чертой, отмѣченной нами въ духовномъ складѣ личности Байрона, былъ индивидуализмъ, „индивидуальная страстность“, какъ характеризуетъ ее Георгъ Брандесъ. Изъ этого индивидуализма, стремящагося къ постоянному выявленію своей личности, своего Я, къ противопоставленію ея всему міру, враждебному ему обществу, всей стихіи современной жизни, непосредственно вытекала характерная черта Байронова творчества—его субъективизмъ.

Байронъ—субъективнѣйшій изъ всѣхъ міровыхъ поэтовъ. Мало того, онъ самый идейный, самый законченный представитель того направленія въ литературѣ, которое удобнѣе всего назвать эгоцентризмомъ. „Лордъ Байронъ“,—сказалъ о немъ Маколей: „представлялъ въ самомъ себѣ начало, середину и конецъ всей своей поэзіи, былъ героемъ каждаго разсказа, главнымъ предметомъ въ каждомъ ландшафтѣ“ <sup>2)</sup>. Такъ оно и должно было быть. Во время Байрона подлинныхъ героевъ не было; ихъ приходилось или искать въ далекомъ прошломъ, или создавать собственнымъ воображеніемъ, надѣляя своими, наиболѣе подходящими для героической личности, чертами.

Субъективизмъ въ творествѣ поэта шелъ двумя путями: во-первыхъ, Байронъ подъ разными именами, въ разныхъ

---

<sup>1)</sup> Бронзовый вѣкъ, IV.

<sup>2)</sup> Маколей. Критич. и историч. опыты. 1860 г. Муръ,—Жизнь Лорда Байрона, стр. 355.

положеніяхъ создавалъ самого себя; во-вторыхъ, онъ, если изображалъ не аналогичную съ собою личность, то помѣщаль ее въ такую обстановку, которая соотвѣтствовала данному періоду его жизни, или схожая обстановка и переживанія какого-нибудь лица побуждали Байрона приняться за возсозданіе его.

Въ большинствѣ случаевъ имѣемъ дѣло съ первымъ видомъ субъективизма. Въ самомъ дѣлѣ, большинство героевъ всѣхъ трехъ періодовъ надѣлены типическими чертами самого автора, въ чемъ мы могли убѣдиться, разсматривая параллельно эти черты въ жизни поэта и дѣйствующихъ лицъ его произведеній. Это не его герои страдали и мыслили; это онъ самъ скорбѣлъ и говорилъ устами ихъ. Онъ даже сумѣлъ отождествить себя съ Дантомъ въ его „Пророчествѣ“, вложивъ въ міросозерцаніе гибелина конца XIII вѣка свои свободолюбивыя мысли, и принять на себя обликъ Тасса въ его мучительной „Жалобѣ“. Конрадъ и Лара, Гяуръ и Манфредъ до того близки къ создавшему ихъ, что недоумѣваешь, гдѣ кончается душевное переживаніе Байрона и начинается такое дѣйствующаго лица. Особенно сближаетъ поэта съ его героями чувство одинокой скорби и беспощадный индивидуализмъ, отвергающій тѣсное общеніе съ людьми.

Весьма любопытенъ для Байронова субъективизма его „Сарданапаль“, отголосокъ, какъ можно предполагать, венеціанскаго періода въ жизни поэта, когда онъ пытался усвоить, съ цѣлью забвенія, эпикурейскую мудрость. Здѣсь субъективизмъ его, выражающійся и въ нѣкоторой антисоціальности взглядовъ ассирійскаго владыки и въ отношеніи къ женщинамъ, которыхъ много, но сердце принадлежитъ одной, соприкасается съ какимъ-то мистическимъ провидѣніемъ своей грядущей судьбы. Это таинственное предчувствіе слышится въ восторженныхъ словахъ Мирры:

Тотъ человекъ, который, бывши съ дѣтства  
До зрѣлыхъ лѣтъ у женщинъ на рукахъ,

Становится внезапно Геркулесомъ  
И съ пира въ бой, какъ въ брачную постель,  
Кидается,—вполнѣ, вполнѣ достоинъ,  
Чтобъ въ дѣвушкѣ—гречанкѣ онъ нашель  
Любовницу и въ греческомъ поэтѣ—  
Пѣвца себѣ и въ греческой могилѣ—  
Свой памятникъ <sup>1)</sup>).

Мы знаемъ, въ какой мѣрѣ это пророчество сбылось.

Не стоитъ говорить о двухъ грандіозныхъ поэмахъ—дневникахъ Байрона, „Чайльдъ-Гарольдъ“ и „Донъ Жуанъ“, ибо это есть поэтическая исповѣдь мыслей и настроеній автора, а герои—только подставныя лица, центры, вокругъ которыхъ эти мысли могли бы группироваться.

Что касается субъективизма второго вида, именно, созданія аналогичной съ жизнью поэта обстановки, то здѣсь обращаетъ на себя вниманіе частый мотивъ изгнанія съ родины. Байронъ съ любовью останавливается на образахъ Данта, Джакомо Фоскари, Каина, далекихъ ему по ихъ сущности, но близкихъ въ силу ихъ обреченности, и со скорбнымъ чувствомъ слѣдитъ за ихъ трагической судьбой. И хотя свое удаление изъ родины поэтъ перенесъ довольно спокойно и впоследствии, какъ было указано, относился къ ней не болѣе задушевно, чѣмъ къ другимъ странамъ, тѣмъ не менѣе, обстановка, сопровождавшая его изгнаніе, была унижительна и тяжела, и чувство обиды оказалось углубленнымъ и не изжитымъ. „Изгнанье — худшій плѣнъ“, — сказала Байронъ устами Данта и далѣе прибавилъ: „Что сдѣлалъ я тебѣ, народъ жестокой? Ты всякой злобы перешель предѣлъ. Какъ гражданинъ, стоялъ я внѣ упрека“ <sup>2)</sup>).

Кромѣ мотива изгнанія, мы встрѣтимъ въ поэзіи Байрона другіе случаи изображенія тождественной обстановки. Такъ,

---

<sup>1)</sup> Сарданапаль, III.

<sup>2)</sup> Пророчество Данта, пѣснь IV.

въ „Беппо“ имѣемъ несомнѣнное изображеніе жизни поэта въ качествѣ „Чичисбея“; въ „Мазепѣ“ запечатлѣна любовь юнаго пажы къ молодой, прекрасной графинѣ Терезѣ, женѣ престарѣлаго графа, и, хотя въ Мазепѣ нельзя узнать Байрона, но любовная обстановка, несомнѣнно, близка поэту, и героиня „Мазепы“ носитъ имя женщины, любимой имъ въ то время (Тереза Гвичіоли); наконецъ, въ „Преображенномъ“ уродѣ находимъ отголосокъ страданій Байрона, вызываемыхъ сознаниемъ дефекта въ ногѣ, и тяжелыхъ отношеній съ матерью, попрекавшей его въ минуты гнѣва этимъ недостаткомъ.

Такъ выражался субъективизмъ творчества поэта. И если, благодаря ему, поэзія его казалась однообразной и монотонной, то на это можно отвѣтить словами того же Маколея, что „никогда не бывало такого разнообразія въ монотонности, какое встрѣчается у Байрона“ <sup>1)</sup>. Кроме того, если субъективизмъ—отрицательная сторона творчества, въ чемъ мы сомнѣваемся, то онъ съ избыткомъ искупается той красотой, тѣмъ героическимъ благородствомъ мысли и настроеній, тою, наконецъ, благостной силою, которыми одарены всѣ созданія Байрона.

### XVIII.

„Кто любь богамъ, тотъ долго не живетъ“, — пророчески сказалъ Байронъ <sup>2)</sup> и „дѣйствительно“ погибъ слишкомъ молодымъ, слишкомъ рано вступивъ въ иную полосу жизни и примѣняя свои силы къ тому, къ чему всю жизнь стремился ихъ приложить.

Не намъ судить и размышлять, что могъ бы онъ еще дать міру и чѣмъ его удивить. Достаточно уже и проявленнаго имъ, созданнаго и пропѣтаго!

Носитель непримѣрной скорби, влекущей къ нему человечество, умѣющее любить и цѣнить великія муки, претер-

<sup>1)</sup> Маколей. Ibid.

<sup>2)</sup> Донъ Жуанъ. IV, VII.

пѣваемыя его героями; ищущій исхода этой скорби въ постоянномъ дѣйстви, героической борьбѣ; одаренный титанизмомъ воли; страстный индивидуалистъ съ антисоціальнымъ настроеніемъ по отношенію къ современности, ибо онъ постигъ полное банкротство ея духа, увидѣлъ, что она, какъ андерсеновскій король, щеголяющій „якобы“ въ новомъ платьѣ, обманываетъ себя и другихъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ, нога и безнадежна,—таковъ „гражданинъ вѣчности“ Гордонъ Байронъ. Таковъ тотъ, про котораго зачарованный Ламартинъ сказалъ:

Toi, dont le monde encore ignore le vrai nom  
Esprit mysterieux, mortel, ange ou démon.

Исключительное благородство его природы увѣнчиваетъ собою его духовный обликъ. Прибавимъ къ этому искренность и естественность характера поэта, такъ ярко выразившіяся во всѣхъ его сатирахъ, въ беспощадной борьбѣ съ ханжествомъ, притворствомъ и лицемѣріемъ, а также въ его симпатіяхъ къ первобытной простодушной общинѣ (поэма „Островъ“), къ благороднымъ, нетронутымъ характерамъ первыхъ вѣковъ человѣческой жизни, мы уяснимъ вполне Байронову личность и подлинную сущность созданнаго имъ направленія. Байронизмъ важенъ, не какъ явленіе литературное, формальное, но какъ явленіе духа. Въ человѣческой природѣ искони заложено (хотя порой и притупляется) стремленіе къ мятежному, скорбному, вслѣдствіе неудовлетворенности, активному протесту и къ самоутвержденію своей личности. Въ этихъ стремленіяхъ, составляющихъ основную идею байронизма, и заключается его непреходящее живоносное значеніе для настоящихъ и грядущихъ поколѣній.

„Моей излюбленной мечтой было жить, какъ солнце, какъ оно—умереть, „говорить въ „Разбойникахъ“ Шиллера (д. III, ст. 2) Карль Мооръ. Эти красивыя слова напрашиваются на память,

когда думаешь о Байронѣ. До сихъ поръ, сквозь толщу годовъ, смотришь на его ослѣпительный образъ, прикрывъ глаза рукою.

Байронъ былъ чрезмѣрно великъ для своихъ современниковъ и не могъ быть въ должной мѣрѣ оцѣненъ ими. Если, какъ художникъ, онъ соотвѣтствовалъ своей эпохѣ, то какъ человѣкъ, онъ, несомнѣнно, человѣкъ будущаго.

Обыкновенно Байрона сравниваютъ съ Прометеемъ. Но есть образъ, болѣе подходящий для него, съ которымъ онъ самъ отождествилъ себя въ одномъ изъ очень субъективныхъ произведеній съ автобіографическими чертами. Это произведение—„Преображенный уродъ“. Герой его, хромоногій горбунъ Арнольдъ, въ которомъ можно узнать самого поэта, принимаетъ на себя, по волѣ духа, свѣтзарный обликъ храбрѣйшаго героя Троянской войны Ахилла. Байронъ со своей обаятельной красотой, неумирающей склонностью къ античной Греціи, со своимъ гордымъ мужествомъ и истиннымъ героизмомъ можетъ слиться въ сознаніи человѣчества съ немеркнувшимъ образомъ благороднаго и беззавѣтно храбраго эллина Ахилла.

Пусть царства постигаетъ распаденье,  
Забудеть міръ—настануть времена—  
Рабовъ, тирановъ, смерть ихъ и рожденье,  
Но не умрутъ такія имена.  
И доблесть, горней высотъ равна,  
Переживетъ въ безсмертіи страданье  
И встрѣтитъ солнце чистою она,  
Какъ на вершинахъ Альпъ снѣговъ блистанье,  
Не тающихъ во вѣкъ, чистѣйшихъ въ мірозданьѣ <sup>1)</sup>.

**В. Красновъ.**

<sup>1)</sup> Чайльдъ-Гарольдъ, III, 67.



Лѣтопись Пушкинскихъ  
Семинаріевъ.



# ОБЩІЙ ОБЗОРЪ ЗАНЯТІЙ

въ Пушкинскомъ Семинаріи при С.-Петербургскомъ Университетѣ за пятилѣтіе 1908—1913.

№ по порядку.	День засѣданія.	Докладчикъ.	Предметъ доклада и занятій.	Секретарь засѣданія.
<b>1908 г.</b>				
1	6 марта	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина.	А. Яковлевъ.
2	14 марта	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина (продолженіе).	В. Соловьевъ.
3	21 марта	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина (продолженіе) и разъясненіе темъ для рефератовъ.	А. Семёновскій.
4	28 марта	С. А. Венгеровъ.	Разъясненіе темъ для рефератовъ (продолженіе).	В. Бушъ.
5	4 апрѣля	С. А. Венгеровъ.	Разъясненіе темъ для рефератовъ (продолженіе).	Г. Голоскевичъ.
6	25 апрѣля	С. А. Венгеровъ.	Разъясненіе темъ для рефератовъ (продолженіе).	А. Поздѣвъ.
7	12 сентября	С. А. Венгеровъ.	Задачи Пушкинскаго семинарія.	В. Красновъ.
8	24 октября.	И. В. Егоронъ.	Родъ Пушкина.	А. Боголѣповъ.
9	31 октября.	В. И. Ужинскій.	Пушкинъ въ родительскомъ домѣ.	А. Фоминъ.
10	7 ноября.	Майборода.	Пушкинъ въ лицѣѣ.	Я. Кругловъ.
11	13 ноября	Е. С. Васильевъ.	Лицейскія стихотворенія Пушкина.	И. Андреевскій.
12	20 ноября	Е. С. Васильевъ.	Лицейскія стихотворенія Пушкина (пренія по реферату).	С. Ауслендеръ.
13	27 ноября.	В. А. Сидоровъ.	Религіозныя и политическія взгляды и настроенія Пушкина-лицейста.	М. Лозинскій.
14	4 декабря.	В. А. Сидоровъ.	Религіозныя и политическія взгляды и настроенія Пушкина-лицейста (продолженіе).	Е. Васильевъ.
15	11 декабря	С. А. Венгеровъ. В. В. Бушъ.	Планъ изученія Пушкинскаго текста. Стихотворенія Пушкина 1818—1819 гг. со стороны текста.	В. Сидоровъ.

№ по порядку.	День засѣданія.	Докладчикъ.	Предметъ доклада и занятій.	Секретарь засѣданія.
<b>1909 г.</b>				
16	22 января	С. А. Венгеровъ.	Планъ составленія Пушкинскаго словаря.	Г. Атабековъ.
		Н. А. Егоровъ.	Періодъ Зеленой лампы.	
17	29 января	С. А. Ауслендеръ.	Періодъ кружка Зеленой лампы въ творчествѣ Пушкина (1817—1820 гг.)	Н. Андриановъ.
18	12 февраля	Н. А. Розовъ.	Стихотворенія Пушкина періода Зеленой лампы.	В. Чистяковъ.
19	26 февраля	Т. В. Знаменскій.	„Русланъ и Людмила“.	?
20	5 марта		Чтеніе статьи Н. К. Пиксанова „Бесѣда любителей русскаго слова и Арзамасъ“.	А. Виноградовъ.
21	12 марта	П. В. Ерханъ.	Пушкинъ на Кавказѣ въ 1820 и 1829 гг.	?
22	19 марта	А. Виноградовъ.	„Кавказскій Пльнникъ“.	Г. Петри.
23	17 сентября	С. А. Венгеровъ.	Планъ занятій семинарія въ 1909—1910 ак. году.	А. Поздѣвъ.
		П. В. Ерханъ.	Результаты обслѣдованія архива въ селѣ Камратъ, Бессарабской губ.	—
24	24 сентября	Э. I. Розенбергъ.	Пушкинъ въ Одессѣ.	Н. Новицкій.
25	8 октября	Г. Э. Петри.	„Братья-разбойники“ въ связи съ краткимъ обзоромъ типовъ разбойниковъ во всем. литературѣ. Избраніе библиотечной комиссії.	В. Крачковскій.
26	15 октября	А. А. Поздѣвъ.	„Цыганы“ Пушкина.	А. Поповъ.
27	5 ноября	А. С. Искозъ.	„Цыганы“ Пушкина.	В. Красновъ.
28	12 ноября	А. С. Искозъ.	„Цыганы“ Пушкина (продолженіе преній по реферату).	В. Рудницкій.
29	19 ноября	?	?	
30	26 ноября	С. А. Венгеровъ.	Разъясненіе темъ для рефератовъ.	В. Красновъ.
31	10 декабря	Н. Н. Андриановъ.	Лирическія стихотворенія Пушкина 1821—1825 гг.	В. Чистяковъ.
<b>1910 г.</b>				
32	4 февраля	Б. М. Чистяковъ.	Текстъ мелкихъ стихотвореній Пушкина 1821—1823 г.г.	?
33	11 февраля	А. Л. Бемъ.	Пушкинъ и Шатобрианъ.	Л. Фельдманъ.
34	18 февраля	А. Л. Бемъ.	Пушкинъ и Шатобрианъ (окончаніе).	А. Г. Фоминъ.

№ по порядку.	День засідання.	Докладчикъ.	Предметъ доклада и занятій.	Секретарь засідання.
<b>1910 г.</b>				
35	4 марта	М. Л. Гофманъ.	Пушкинъ поэтъ-пророкъ.	?
36	11 марта	С. А. Венгеровъ. П. И. Новицкій.	О желательности образования Пушкинского Общества. Поэтъ и голпа (пренія).	?
37	18 марта	П. И. Новицкій.	Поэтъ и голпа.	Э. Розенбергъ.
38	23 сентября	С. А. Венгеровъ.	Обзоръ работы Пушкинского семинарія.	А. Волковский.
39	30 сентября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина.	В. Жирмунскій.
40	14 октября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина (продолженіе).	А. Суховъ.
41	28 октября	А. Г. Фоминъ.	Пушкинъ и Байронъ.	С. Оцупъ.
42	4 ноября	А. Г. Фоминъ.	Пушкинъ и Байронъ (продолженіе).	С. Бернштейнъ.
43	25 ноября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина (продолженіе).	?
44	2 декабря	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина (продолженіе). Избраніе редакціонной Комиссіи для разработки матеріаловъ Пушкинскаго словаря.	Г. Г. Тер-Габріэлянцъ. ?
45	9 декабря	А. Г. Фоминъ.	Пушкинъ и Байронъ (продолженіе).	А. Левоневскій.
<b>1911 г.</b>				
46	29 сентября <sup>1)</sup>	С. А. Венгеровъ. С. А. Венгеровъ.	О дневникахъ Пушкинскаго чтенія (работа для участниковъ просемінарія). Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина.	А. Сысоевъ. ?
47	6 октября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина (продолженіе).	С. Ваншейдтъ.
48	13 октября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина (продолженіе).	?
49	27 октября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина (продолженіе).	Т. Лось.
50	3 ноября	В. М. Шиловъ.	Пушкинъ и декабристы.	В. Костельницкій.

<sup>1)</sup> Все второе полугодіе 1910/11 уч. года была забастовка. Пушкинисть. I.

№ по порядку.	День засѣданія.	Докладчикъ.	Предметъ доклада и занятій.	Секретарь засѣданія.
<b>1911 г.</b>				
51	10 ноября	Заболѣлъ.	Чтеніе протокола предыдущаго засѣдан.	В. Костельницкій.
52	17 ноября	В. А. Красновъ.	Пушкинъ и Байронъ.	В. Шиловъ.
53	24 ноября		Чтеніе протокола предыдущаго засѣданія.	В. Шиловъ.
54	1 декабря	В. А. Красновъ.	Пушкинъ и Байронъ (продолженіе).	В. Шиловъ.
55	8 декабря.	В. А. Красновъ.	Пушкинъ и Байронъ (продолженіе).	В. Шиловъ.
<b>1912 г.</b>				
56	9 февраля	А. Чулошниковъ.	Пушкинъ и Наполеонъ I.	А. Тихомировъ.
57	16 февраля	В. В. Гиппиусъ.	Эротизмъ Пушкина.	М. Мартыновъ.
58	1 марта	В. В. Гиппиусъ.	Эротизмъ Пушкина (пренія по реферату). Привѣтственная рѣчь В. Краснова проф. С. А. Венгерову отъ имени прежнихъ участниковъ семинарія и отвѣтная рѣчь проф. С. А. Венгерова.	В. Чернявскій.
59	8 марта	В. А. Красновъ.	Пушкинъ и Байронъ (продолженіе).	М. Петровъ.
60	15 марта	Б. Энгельгардтъ.	Пушкинъ и Чаадаевъ.	?
61	27 сентября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина. Избраніе библиотечной комиссіи.	В. Драгановъ.
62	4 октября	С. А. Венгеровъ. Б. Энгельгардтъ.	О дневникахъ Пушкинскаго чтенія. Историзмъ Пушкина и его общественная идеологія.	А. Бардовскій.
63	11 октября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина (продолженіе).	Л. Коварскій.
64	18 октября	Б. Энгельгардтъ.	Историзмъ Пушкина и его общественная идеологія (продолженіе).	Н. Розенталь.
65	25 октября	Б. Энгельгардтъ.	Историзмъ Пушкина и его общественная идеологія (продолженіе).	Т. Пигулевскій.
66	1 ноября	Б. Энгельгардтъ.	Историзмъ Пушкина и его общественная идеологія (пренія по реформату),	М. Тална.
67	8 ноября	А. А. Бардовскій.	„Борисъ Годуновъ“ Пушкина какъ историческая драма.	Е. Пантелеевъ.

№ по порядку	День засѣданія.	Докладчикъ.	Предметъ доклада и занятій.	Секретарь засѣданія.
<b>1913 г.</b>				
68	13 декабря	Б. Е. Рапгофъ.	Маленькія трагедіи Пушкина.	Л. Розенталь.
69	24 января	Б. Энгельгардтъ.	Историзмъ Пушкина и его общественная идеологія (продолженіе).	Л. Першицъ.
70	31 января	А. Г. Тихомировъ.	А. И. Полежаевъ.	Н. Царевскій
71	7 февраля	С. А. Венгеровъ.	О составленіи Пушкинскаго словаря.	Н. Севастьяновъ.
72	14 февраля	А. А. Тамамшевъ.	Опытъ анализа осеннихъ мотивовъ въ творчествѣ Пушкина.	А. Поповъ.
73	28 февраля	Лаз. Розенталь.	Лирика Баратынскаго.	Н. Измайловъ.
74	7 марта	С. А. Венгеровъ.	Сообщеніе объ изданіи сборника „Пушкинисты“.	И. Никитинъ.
		Ник. Розенталь.	Пушкинъ и романтизмъ.	—
75	14 марта	Ник. Розенталь.	Пушкинъ и романтизмъ (продолженіе).	Е. Гильдебрандъ.
76	21 марта	М. I. Лопатто.	О „Повѣстяхъ Бѣлкина“.	Н. Миротворцевъ
77	28 марта	Алекс. Поповъ.	Пушкинъ и французская юмористическая поэзія XVIII вѣка.	А. Тамамшевъ.
78	4 апрѣля	Б. Энгельгардтъ.	Историзмъ Пушкина и его общественная идеологія (продолженіе).	А. Гинкенъ.
79	2 мая	Б. Энгельгардтъ.	Историзмъ Пушкина и его общественная идеологія (продолженіе). Избраніе редакціонной комиссіи для составленія лѣтописи занятій Пушкинскаго семинарія.	Л. Коварскій.

## Темы, предложенныя Пушкинскимъ Семинаріямъ въ 1913—1914 уч. году.

---

1. Родъ Пушкина. Исторія рода. Ганнибаль—подлинный и легендарный. Сравненіе съ „Арапомъ Петра Великаго“. Другіе Ганнибалы. Въ чемъ выразилась наслѣдственность у Пушкина. Общіе контуры вопроса о наслѣдственности въ русской литературѣ. Отношеніе Пушкина къ своему роду и дворянству.

2. Пушкинъ въ родительскомъ домѣ. Характеристика отца, матери, сестры, Арины Родіоновны. Прослѣдить въ поэзіи Пушкина отраженіе его невеселой жизни въ домъ родителей (Жалобы П. въ посланіи къ Горчакову). Пушкинъ не зналъ любви матери. Параллель: любовь къ матери Сергѣя Аксакова, Некрасова, Гоголя, Надсона, Няня въ поэзіи Пушкина. Типы слугъ у Пушкина. Дѣтскія произведенія Пушкина.

3. Пушкинъ въ лицѣѣ. Разработанность вопроса (Гаевскій, Корфъ, Гроты, Гастфрейндъ). Исторія Лицея. Характеристика профессоровъ. (Кошанскій, какъ контрастъ Куницына. Галичъ, не оказавшій вліянія на П.). Внутренній бытъ лицея. Лицейсты — бурши и кавалеры. Интересъ къ театру. Умственные интересы. Журналы. Ближайшіе товарищи П. Отмѣтитъ мѣста у П., гдѣ говорится о лицѣѣ. Преувеличенія важнѣйшихъ утѣхъ лицейстовъ, по существу очень скромныхъ.

4. Лицейскія стихотворенія (первая часть). Общій взглядъ. Раннее развитіе. Напускное прославленіе поэтической лѣни. Лицейскія стихотворенія, какъ проявленіе Пушкинской бодрости. Меланхолія его легка. Литературныя вліянія.

(Общая связь съ античностью во французскихъ формахъ. Оссіанъ, Парни, Вольтеръ, Батюшковъ, Жуковский). Распределение по сюжетамъ. Такъ ли ужъ незначительны лицейскія стихотворенія? Общее ихъ сходство съ позднѣйшимъ творчествомъ, искренность, ясность, простота, бодрость. Что читалъ П. въ лицей („Городокъ“ и др.). Ранняя связь съ „Арзамасомъ“ и литературные взгляды. (Къ другу стихотворцу, Моему Аристарху).

5. Лицейскія стихотворенія (вторая часть). Религиозно-политическое направленіе лицейскихъ стих. Отношеніе къ религіи. Почти-вынужденное настроеніе „Безвѣрія“. Отсутствіе молитвеннаго умиленія, сильнаго у другихъ поэтовъ. Прямое кощунство, какъ отраженіе Парни. Черты Вольтеріанскаго міросозерцанія („Бова“). Политическіе взгляды. Въ „На возвращеніе Госуд. Имп.“ воспѣваніе добраго и невоинственнаго царя и упоминаніе о селянинѣ. „Лицинію“, какъ отраженіе тяготѣнія къ гражданской поэзіи. „Къ портрету Чаадаева“, какъ определенное тяготѣніе къ политикѣ. Соціальныя взгляды. „Романсъ“. Тяготѣніе къ военной службѣ, надъ которой тогда блисталъ ореоль освобожденія Европы.

6. Періодъ „Зеленой Лампы“. Веселая молодость съ оттѣнкомъ изящнаго эпикуреизма. Увлеченія театромъ и Лаисами. Рядомъ съ этимъ общество „умныхъ“, будущихъ декабристовъ. Значеніе театральной жизни, какъ единственнаго выраженія общественнаго темперамента. Пріятели П., всѣ люди недюжинные:—Каверинъ, Як. Толстой, Чаадаевъ, Ник. Раевскій, Катенинъ, Всеволожскій, Энгельгардтъ. Исторія „Зеленой Лампы“. Клеветы на нее. Пьянство по церемоніалу — какъ отзвукъ обрядовъ масонства. Рядомъ съ кутежами—непендантическая по формѣ, но серьезная по существу бесѣда. Дружба съ Жуковскимъ, Карамзинымъ (съ обостреніями), Олениными, Тургеневыми, Вяземскимъ; личныя невзгоды, отсутствіе денегъ (отзвуки: Альбертъ и его отецъ въ „Скуп. Рыцарѣ“). Надвигается гроза не столько за „Деревню“ сколько

за „Noel“ и „Вольность“. Исторія съ портр. Лувеля. Ссылка, связанная съ опредѣленіемъ на службу (что практикуется и позднѣе: Герцень, Салтыковъ, Рыбниковъ).

7. Стихотворенія періода „Зеленой Лампы“.

Съ одной стороны изящный эпикуреизмъ, наслажденіе жизнью, общая жизнерадостность, вѣра въ торжество добра и правды. „Русланъ и Людмила“, какъ выраженіе этого искрометнаго оптимизма. Съ другой — рядъ наиболѣе серьезныхъ политическихъ отраженій эпохи именно въ П. (Чаадаеву, Вольность, Деревня). Параллель съ Грибоѣдовымъ, который тоже, не будучи декабристомъ, ярче другихъ выразилъ декабризмъ. Скромность общественно-полит. требованій: господство законности, умѣренная свобода печати, смягченіе крѣпостнаго права, человѣчное обращеніе съ солдатами (Хвалы Орлову). Характеристика „Деревни“ (связь съ Парни), „Вольности“, „Чаадаеву“. Эпиграммы на Карамзина, Голицына, Фотія, Аракчеева (ихъ заслуги, какъ „крылатыхъ пригвожденій“). Ростъ худож. совершенства. Окрѣпшій стихъ (возгласъ Батюшкова, надпись Жуковскаго), блестяще сказавшійся въ „Русланъ и Людмила“.

8. Русланъ и Людмила. Внѣшняя исторія поэмы. Впечатлѣніе, произведенное ею. Почему оно было такъ велико (последній ударъ торжественности; молодое веселье бьетъ въ голову, какъ шампанское, и теперь) „Побѣжденный“ Жуковскій. Искренняя растерянность Каченовскаго и К<sup>0</sup>. Торжество народности (для насъ оперно, но для того времени много „мужика“). Лицемерное *gruderie* хулителей: развѣ Богдановичъ и др. представители литературы 18 вѣка скромнѣе? Фривольность поэмы—какая-то молодая, сочная, настоящая и потому граціозная. Общая беззаботность: все къ лучшему. Художеств. достоинства: чрезвычайная легкость, ясность и искренность. Бѣлинскій слишкомъ строгъ къ поэмѣ; Фарлафъ очерчень неуважимо, эпизодъ съ Наиной не утратилъ интереса и теперь. Подражательность: связь съ „словенскими“ произведе-

ніями 18 в. Аріостъ, Вольтеръ, Карамзинъ, Кирша Даниловъ, Николай Радищевъ (единство сюжета, но какая разница обработки; ничтожное значеніе сюжета вообще для совершенства произведенія).

9. Пушкинъ на югѣ Россіи (1820—1824). П. на Кавказѣ, въ Крыму, въ Кишиневѣ, въ Одессѣ. Раевскіе. Встрѣчи съ декабристами. Вопросъ о „Свѣрной любви“. Ризничъ. Воронцова.

10. Кавказскій плѣнникъ. Роль Кавказа, какъ источника романтики въ русской литер. Чувство недовольства цивилизаціей. Восхваленіе первобытной простоты, повторяющееся въ „Цыганахъ“, Публику прежде всего поразила красочность. Затѣмъ тутъ несомнѣнно первое яркое выступленіе презрѣнія къ обыденщинѣ. Поэзія выдѣляется въ нѣчто высоко-парящее надъ бытомъ. Она величина самодовлѣющая. Неясность характера плѣнника. Откуда его разочарованіе. Эгоизмъ плѣнника. Душевное сродство съ Алеко и Онѣгинымъ. Кавказскій Плѣнникъ, какъ первый этапъ желанія порвать съ обыденщиной. Черкешенка. Ея душевная красота роднитъ П. съ титанами поэзіи — Шекспиромъ, Шиллеромъ, Гете, особенно съ Байрономъ, которымъ всегда удаются идеальныя женскіе типы. Почему не удаются идеальныя мужскіе типы? (Женщины берутся только со стороны чувства). Шовинизмъ „Эпилога“, возмущавшій Вяземскаго.

11. Братья Разбойники. Типы разбойниковъ во всемирной лит., у Шиллера и Байрона. (Корсаръ, Карль, Гяуръ). Взглядъ народа на разбойниковъ (Гайдамаки. Робинъ Гудъ). Двойственность разбойниковъ П. Это не протестанты, а сентиментальныя злодѣи. Интересъ П. къ разбойничеству, Разину, Пугачеву и др. Сходство съ Шильонск. узникомъ.

12. Бахчисарайскій Фонтанъ. Необыкновенная красочность. „Роскошь Востока“, въ значительной степени навѣянная Байрономъ (Личныя впечатлѣнія П. довольно прозаическія). Сопоставленіе восточной страсти и христіанской

чистоты. Нелѣпость воплощенія романтизма въ татаринѣ Гиреѣ. Легендарность исторической основы. Перерожденіе подъ вліяніемъ любви. Внѣшній байронизмъ поэмы безъ байроническаго озлобленія. Характеристика критическихъ отзывовъ о поэмѣ. Ея успѣхъ.

13. Цыганы, какъ одно изъ вѣчныхъ произведеній П. Алеко не перестаетъ интересоваться и особенно теперь въ эпоху всяческаго анархизма. Сродство Алеко съ Кавказскимъ Пльнникомъ и Онѣгинымъ. Эгоизмъ ихъ выведенъ тутъ на чистую воду. Но Алеко не только эгоистъ, онъ человѣкъ неудовлетворенный въ высшемъ смыслѣ этого слова. Несчастіе его въ томъ, что есть воля къ новому, но нѣтъ силы освободиться отъ старой закваски. Съ какой широтой П. понималъ идеалъ дѣйствительно свободной жизни. Бѣлинскій слишкомъ жестокъ къ Алеко. Слишкомъ жестокъ и Достоевскій, который установилъ важное понятіе о русскихъ „скитальцахъ“, но крайне тенденціозно затѣмъ все свелъ къ проповѣди о томъ, что русскій интеллигентъ долженъ „смириться“.

14. Стихотворенія 1820—25 г.г. Байронич. разочарованіе („Погасло дневное свѣтило“, „Мнѣ васъ не жаль, года весны моей“, „Я пережилъ свои желанія“, рядъ элегій и др.). Политическій радикализмъ (оправданіе неистовости Карагеоргія, „Кинжалъ“), рядомъ съ умѣренной прогрессивностью (Чаадаеву, Недвижный стражъ дремалъ, Посланія къ цензору). Разочарованіе въ политич. движеніяхъ (Паситесь мирные народы). Этнографическіе отклики (Черная шаль). Кошунство (Гавриліада). Наполеонъ. Усталость (Телѣга жизни). Демонизмъ чуждъ П. („Демонъ“). Любовная лирика и др.

15. Байронизмъ. Сложность вопроса. Формальность теоріи „шатобріанизма“, выдвинутой В. В. Сиповскимъ. Противоположность натуръ Байрона и П. Сближало П. съ Б. нѣкоторое пресыщеніе, защита свободы, общее благородство природы, любовь къ женщинамъ. Но велика разница въ житейскихъ успѣхахъ, въ успѣхахъ у женщинъ, въ социальн-

положеніи. А главное, Байронъ натура титаническая; онъ считалъ себя всегда выше другихъ. П. же часто робѣлъ предъ какимъ-нибудь Раевскимъ, предъ „архивными юношами“. П. свѣтлая натура, политическое озлобленіе его неглубоко. Б.— „гордости поэтъ“, чего и тѣни нѣтъ у П. Различіе эгоизмовъ: Б. прославляетъ, П. порицаетъ (Цыганы). Вліяніе Байрона на Пушкина сводится, главнымъ образомъ, къ восточному колориту. Байронизмъ отдѣльныхъ поэмъ. Кавк. Плѣнн., Братья разбойники (совсѣмъ не байронич. конецъ: угрызенія совѣсти). Бахчис. Фонт. (Чуждое Б. умиленіе христіанствомъ; Гирей байрониченъ). Цыганы (Въ началѣ Алеко байрониченъ, конецъ вполнѣ самостоятеленъ и великъ. Герои Байрона не ревнуютъ, ихъ ревнуютъ). Отношеніе Достоевскаго къ Алеко, „Скитальцы“ въ русск. литературѣ. Уже въ 1824 году П. отходитъ отъ Байрона.

16. Борисъ Годуновъ. Отношеніе П. къ Карамзину и др. источн. Связь меньше, чѣмъ думаютъ. Сходство и разница. Освѣщеніе убійства Царевича у П. и въ новѣйшей историографіи. Самозванецъ у Пушкина и у Шиллера. Бор. Год., какъ драматическое произведеніе. Вліяніе Шекспира. П., сбросивъ съ себя байронизмъ, усваиваетъ простоту и жизненность. Недаромъ „Борисъ Годуновъ“ писано въ Михайловскомъ. Отдѣльные характеры: сентиментальный Борисъ, безпристрастный, но не безстрастный Пимень, лукавый царедворецъ Шуйскій, очень ужъ разсчетливая Марина; народъ въ драмѣ („про то вѣдають бояре“, равнодушіе къ царямъ). Два конца. Колоритные монахи. (Связь съ Святогорскимъ монастыремъ). Въ сжатости времени—остатки классическихъ единствъ.

17. Борисъ Годуновъ. Судьба Б. Г. въ русской критикѣ. Первоначальные восторги въ Москвѣ 1826 г., холодное отношеніе 1831 г. Публика, увлеченная Марлинскимъ, не поняла величавой простоты. Свистки критики („Скучно“). Б. Г. недостаточно сцениченъ, но русская истор. драма здѣсь вышла на широкую дорогу. Исторія текста.

18. Пушкинъ въ деревнѣ. Значеніе деревенскаго уединенія въ жизни П. Михайловское и Болдино. Отмѣтити въ произведеніяхъ П., гдѣ онъ говоритъ о Михайловскомъ. Сдѣлать то же самое по отношенію къ перепискѣ. П. и Осиповы. Отношеніе къ Кернѣ. Занятія народной поэзіей, исторіей и Шекспиромъ. Отмѣтити не только непосредственное литерат. вліяніе, но и шекспиризмъ, т. е. трезвое, жизненно мудрое отношеніе къ вещамъ, широко терпимое и въ основѣ глубоко гуманное. Знакомство съ Кораномъ. Посѣщенія Пущина. Дружба съ Вульфомъ и Языковымъ. Бодрящее сначала дѣйствіе деревенскаго уединенія и смѣна его тоской и скукой. Планъ бѣгства за границу. Обзоръ написаннаго въ Михайл. въ 1824—26 г. Пребываніе въ Болдинѣ въ 1830 г. Роль осени въ творчествѣ Пушкина.

19. Пушкинъ и декабризмъ. Странное положеніе Пушкина по отношенію къ декабризму: онъ одинъ изъ идейныхъ отражателей его, но онъ не годился для активнаго дѣйствія. Его отчасти щадятъ, отчасти боятся посвящать. Встрѣчи съ заговорщиками въ Каменкѣ и Кишиневѣ. Пущинъ ничего ему не говоритъ о назрѣвающей вспышкѣ. Былъ ли бы П. 14 дек. на Сенатской площади? Онъ къ тому времени разуверился въ народныя движенія. Вліяніе нелюбившаго демократію Шекспира. Всю жизнь П. преклоняется предъ героизмомъ декабристовъ. (Во глубинѣ сибирскихъ рудъ), но это только преклоненіе предъ красотой нравственнаго подвига.

20. Московскія отношенія Пушкина. Пребываніе въ Москвѣ зимой 1826—27 г. Свиданіе съ Николаемъ. Психологія обоихъ собесѣдниковъ. Въ связи съ свиданіемъ „Записка о народномъ воспитаніи“. П. и московскіе шеллингисты. Велико ли было почтеніе П. къ нимъ? Нелюбовь П. къ отвлеченному мышленію. Шеллингианскіе взгляды на значеніе поэзіи. Только ли они отразились въ высококомъ представленіи П. о поэтѣ или тутъ сказались біографическія черты и пре-

зрѣніе къ свѣту. Нѣсколько насмѣшливое отношеніе къ архивнымъ юношамъ. Карриатура на Веневитинова. Семья Ушаковыхъ, кн. Волконская и другія московскія знакомыя. Софья Пушкина и первое сватовство П.

21. Взглядъ Пушкина на призваніе поэта. Оно неустойчиво въ подробностяхъ, но цѣльно въ общемъ высокомъ представленіи о поэтѣ. П. ясно сознавалъ, что первый поставилъ въ Россіи писателя на царственное мѣсто. Это давало ему душевное удовлетвореніе въ невзгодахъ. Въ Александр. эпоху онъ поэтъ свободы. Въ 1826—30 гг. на словахъ говорить о „молитвахъ“, о „звукахъ сладкихъ“, о „презрѣніи къ черни“ (конечно, въ широкомъ смыслѣ). Но рядомъ съ этимъ „жгучіе глаголы“ пророка, памфлеты (Клеветникамъ Россіи) и глубочайшій интересъ къ жизни „черни“, т. е. общества. Послѣдній завѣтъ „Я памятникъ воздвигъ“ сводитъ все дѣло поэта къ „чувствамъ добрымъ“, къ воспѣванію свободы, къ призыва<sup>мъ</sup> „милости къ падшимъ“.

22. Полтава. Историческая основа и Пушкинск. обработка. Мазепа подлинный и историческій. Подлинная Матрена и Пушкинская Марія. Подлинный Кочубей и Кочубей поэмы. Сравненіе съ Мазепой Байрона. Другіе источники. Апоѳеозъ Петра и русской государственности. Блескъ внѣшній при нѣкоторой сухости, прямолинейности и даже банальности разработки. Эстетическій недостатокъ—отсутствіе плана.

23. „Маленькія трагедіи“. „Пиръ во время Чумы“. „Скупой рыцарь“. „Моцартъ и Сальери“ и „Каменный Гость“. „Маленькими“ ихъ назвалъ самъ П., но это величайшіе шедевры по сжатости и художественной экономіи. Онѣ проникнуты удивительнымъ гуманизмомъ: какъ далека П. отъ банальнаго бичеванія пороковъ скупости и зависти. П. вскрылъ психологическую основу и той и другой. У Скупого Рыцаря есть артистизмъ. Онъ увлекается. Въ зависти П. усмотрѣлъ исканіе справедливости. Къ числу величайшихъ шедевровъ всемірной литературы принадлежитъ „Пиръ во время Чумы“

(рѣчь предсѣдатель объ упоеніи въ минуты величайшей опасности). Показать на „Пирѣ“, какъ геній П. поднимается надъ тѣмъ матеріаломъ, который онъ заимствуетъ. Противорѣчія „Каменнаго Гостя“: съ одной стороны способность наслаждаться въ присутствіи трупа; но эта черта заимствованная. Отъ себя П. вноситъ элементъ силы увлеченія. Его Д.-Жуанъ не банальный соблазнитель, онъ при этомъ страстно увлекается. Прослѣдить положеніе Пушкинскаго Д.-Жуана въ ряду обработокъ этого типа. Сопоставленіе съ русскимъ Д.-Жуаномъ въ „Русалкѣ“. Характеристика „Русалки“, ея глубокая народность.

24. Евгений Онѣгинъ, какъ первый бытовой романъ. Картины петербургской и московской жизни. Среднедворянскій бытъ. Черты добродушія. „Простая русская семья“. Нѣтъ идеализаціи, но есть теплота отношеній. Нѣкоторая классовая психологія въ томъ, что народъ въ „Евг. Онѣгинѣ“ какъ-то не существуетъ. Онъ обрисованъ самыми общими чертами. Эстетическ. достоинства романа: необыкновенная простота, отсутствіе всякой ходульности, объективное отношеніе къ героямъ, искрящееся остроуміе. „Легкость“ романа, какъ результатъ огромной работы въ черновикахъ.

25. Евгений Онѣгинъ, какъ одинъ изъ родоначальниковъ русской интеллигенціи. Родство Евг. Онѣг. съ Кавказск. Плѣнн. и Алеко. Черты байронизма 20-хъ гг. Отраженіе декабристскаго движенія. Другія черты времени. Элементы эгоизма. Элементы благородства. Его органическое презрѣніе къ пошлости. Почему Евг. Онѣг. не находитъ себѣ мѣста. Почему не служить. Въ этомъ связь его—всецѣло челоуѣка Алекс. эпохи—съ позднѣйшими людьми 40-хъ годовъ. Онъ не доросъ до подвига, но тоска и скука его—творческая. Отношеніе критики. Грубая ошибка Писарева, съ ея нарушеніемъ исторической перспективы. Односторонность Достоевскаго. Обзоръ главныхъ толкованій типа Онѣгина.

26. Отдѣльные типы „Евг. Онѣгина“. Апоеозъ русской женщины въ лицѣ Татьяны. Татьяна, какъ родоначальница

чальница беззавѣтной преданности идеѣ долга. Отношеніе П. къ женщинѣ. Пѣвецъ ли онъ однѣхъ женскихъ ножекъ? Черкешенка, Марія, Зарема, Марія Кочубей, Полина, Маша Миронова. Ленскій и Ольга, какъ излюбленный пріемъ русской литературы сопоставлять первый и второй сортъ (Онѣгинъ и Ленскій, Печоринъ и Грушницкій, Татьяна и Ольга, Базаровъ и Аркадій Кирсановъ и др.) Ленскій, конечно, легче способенъ опошлиться, чѣмъ Онѣгинъ.

### Общіе источники для изученія Пушкина.

*I. Комментированныя изданія* Поливанова, Морозова (изд. „Просвѣщеніе“, 1903), Ефремова (1903), Академіи Наукъ и Венгерова.

#### *II. Біографія и историко-литературныя изслѣдованія.*

1. Анненковъ, Матеріалы для біографіи А. С. Пушкина, 1-й т. Изд. Анненкова, 1855 г.; 2-ое изд. Спб. 1873.

2. Анненковъ. Пушкинъ въ Александровскую эпоху. Спб. 1874.

3. Стоюнинъ. Пушкинъ, 2-ое изд. Спб. 1896.

4. Сиповскій, В. В. Пушкинъ. Жизнь и Творчество. Спб. 1907.

5. Деонидъ Майковъ. Пушкинъ. Спб. 1899.

6. Незеленовъ. А. С. Пушкинъ въ его поэзіи. Спб. 1882.

7. Сумцовъ. Этюды о Пушкинѣ. Харьковъ. 1899.

8. Главы о Пушкинѣ въ „Ист. русск. лит.“ Пыпина (т. IV). въ „Ист. русск. лит.“ XIX в.“. Изд. т-ва „Міръ“ (подъ ред. Овсяннико-Куликовскаго). „Исторіи русск. общ. мысли“ Иванова-Разумника (т. I).

9. „Пушкинъ и его современники“. Изд. Академіи Наукъ. Вып. I—XIX.

10. Покровскій. А. С. Пушкинъ, его жизнь и сочиненія. Сборникъ статей. М. 1905.

11. Покровскій. А. С. Пушкинъ въ его значеніи худож., истр. и общ. Сборникъ статей. М. 1901.

12. Заозерскій. Пушкинъ въ воспоминаніяхъ современниковъ и письмахъ. М. 1910.

*III. Критическія оцѣнки.*

1. Зелинскій. Русск. критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. 7 ч. М.
2. Бѣлинскій. Статьи о Пушкинѣ.
3. Григорьевъ, Аполлонъ. Сочиненія, т. I. Спб. 1876.
4. Писаревъ. Пушкинъ и Бѣлинскій. (Соч., т. V).
5. Страховъ. Замѣтки о Пушкинѣ. 2 изд. 1897.
6. Достоевскій, „Дневникъ писателя“ за 1880 г. (рѣчь при открытіи памятника. Есть отд. изд. рѣчи. Спб. 1899 г. Ц. 10 к.).
7. Мережковскій. Пушкинъ (Въ „Вѣчныхъ спутникахъ“, отд. изд. Спб. 1906. Ц. 40к.).
8. Овсяннико-Куликовскій. Пушкинъ. (Сочиненія. т. IV).
9. Айхенвальдъ. Пушкинъ. М. 1908.

*IV. Справочныя книжи.*

1. Н. Лернеръ. Труды и дни. 2-ое изд. Спб. 1910.
2. Межовъ. Puschkiniana. Спб. 1888.
3. Сиповскій, В. В. Пушкінская юбилейная литература изд. 2-ое. Спб. 1902.
4. Владиславлевъ, И. Русскіе писатели. 2-ое изд. М. 1913.
5. Аснашъ и Яхонтовъ. Описаніе Пушкинск. Музея Имп. Алекс. Лицея. Спб. 1899.

Библіографическія указанія къ отдѣльнымъ темамъ см. въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ изданія Венгерова.

**С. Венгеровъ.**

## Программа составленія словаря поэтическаго языка Пушкина.

---

### *Внѣшній видъ карточекъ.*

1. Бумагу для карточекъ надо взять поплотнѣе (20 коп. дестъ).
2. Размѣръ карточекъ: обыкновенный писчій листъ (4 страницы), раздѣленный на 16 частей.
3. Карточка пишется по длинѣ (см. образецъ).

### *Регистрація Пушкинскихъ словъ.*

4. Каждое Пушкинское слово пишется на особой карточкѣ.
5. Слова заглавія регистрируются только въ томъ случаѣ, если заглавіе установлено самимъ Пушкинымъ, т. е. не стоитъ въ скобкахъ въ изд. Венгерова, и притомъ если оно не повторяетъ перваго стиха стихотворенія.
6. При написаніи словъ слѣдуетъ точно придерживаться Пушкинской ореографіи. Поэтому надо руководствоваться изданіемъ Венгерова, которое точно воспроизводитъ ореографію поэта и тѣхъ изданій, которыя имъ корректированы.

### *Контрольная нумерація карточекъ.*

7. Чтобы устранить возможность пропуска какого-либо Пушкинскаго слова, для cadaго стихотворенія устанавливается особая (въ предѣлахъ cadaго стихотворенія) контрольная нумерація карточекъ, причемъ карточки, содержащія слова заглавія, подзаголовка и самаго стихотворенія, нумеруются отдѣльно.

8. Контрольный № ставится въ лѣвомъ, верхнемъ углу карточки. Карточки, на которыхъ нанесены слова заглавія, нумеруются римскими цифрами. Карточки, на которыхъ написаны слова подзаголовка, нумеруются римскими цифрами, поставленными въ скобки.

9. Карточки, на которыхъ написаны слова самаго стихотворенія, нумеруются арабскими цифрами.

10. Когда всѣ карточки написаны, составляется сводная карточка, на которой пишется № стихотворенія по изд. Венгерова, полное заглавіе и подзаголовокъ стихотворенія, годъ его созданія, и указывается число словъ заглавія (римскими цифрами), подзаголовка (римскими цифрами въ скобкахъ) и самаго стихотворенія (арабскими цифрами). Заглавіе подчеркивается. Ставится также подпись составителя. Эта карточка кладется на верхъ пачки, и вся пачка перевязывается.

**Примѣръ:**

600. *Загадка*. При посылкѣ бронзоваго сфинкса. 1829.  
I + (IV) + 28. И. Ивановъ.

*Составленіе карточки.*

11. При составленіи карточки пишется прежде всего самое слово въ той самой формѣ, въ какой оно встрѣчается въ стихотвореніи.

12. Всѣ слова, даже начинающія стихъ, пишутся съ маленькой буквы, кромѣ собственныхъ именъ и тѣхъ случаевъ, когда большая буква употреблена намѣренно Пушкинымъ. Внизу большой буквы ставится знакъ X Напр.: Пѣвецъ.

X

13. Слова соединенные тире—(напр.: когда—жь, грусть—мучитель), или хотя и не соединен. тире, но образующія одно реченіе (напр.: такъ и сякъ), заносятся на *два* или нѣсколько карточекъ слѣдующимъ образомъ: на одной карточкѣ въ *прямыхъ скобкахъ* заключается одно изъ словъ, на другой — слѣдующее. Примѣръ: когда[—жь] и [когда]—жь. Или: грусть.

[—мучитель] и [грусть—] мучитель. Или 1) не [въ—попадъ] 2) [не] въ [—попадъ]: 3) [не въ—] попадъ. Или:

1) такъ [и сякъ] 2) [такъ] и [сякъ] 3) [такъ и] сякъ. Если раздѣльные слова образуютъ одно реченіе, то кромѣ этимологическаго опредѣленія слова, не заключеннаго въ прямыя скобки (см. § 16), слѣдуетъ указать, какую часть рѣчи образуетъ все реченіе въ цѣломъ.

Если два лексически самостоятельныхъ слова написаны у Пушкина слитно, то каждое изъ нихъ наносится на отдѣльную карточку, причемъ второе, слитое съ даннымъ, слово пишется рядомъ, въ прямыхъ скобкахъ. Для обозначенія того, что оба слова написаны Пушкинымъ нераздѣльно, прямая скобка перечеркивается наискось.

Напр.: для слова „тогдабъ“

1) тогда  $\frac{\text{—}}{\text{—}} \text{бъ}$ , союз.

2) [тогда  $\frac{\text{—}}{\text{—}} \text{бъ}$ ] част.

При несоблюденіи этого правила, частица „бъ“ пропала бы для словаря.

14. На каждомъ словѣ ставится то удареніе (разумѣется, одно), съ которымъ оно входитъ въ стихотвореніе. На словахъ односложныхъ, а также на словахъ заглавія и подзаголовка, удареніе не ставится.

15. Слово, составляющее риѐму подчеркивается два раза, и рядомъ съ нимъ (въ скобкахъ) ставятся въ послѣдовательномъ порядкѣ всѣ риѐмующія съ нимъ слова.

16. Послѣ нанесенія слова, указывается, какую часть рѣчи оно составляетъ. Обозначеніе части рѣчи пишется сокращенно и подчеркивается: *сущ.*, *прилаг.*, *мѣст.*, *числ.*, *глаг.*, *нар.*, *предл.*, *союз.*, *межд.* Кромѣ того указывается причастія: *прич.* и частицы: *част.*

17. Если слово встрѣчается не въ именительномъ падежѣ и не въ неопредѣленномъ наклоненіи многократнаго вида, то въ скобкахъ пишется основная форма: для сущ. и коли-

чественныхъ числ.—имен. пад. единств. числа; для прил., причастій и качеств. числительныхъ—имен. пад. един. ч. даннаго рода и данной формы (полной или усъченной). Напр.: зажжённые, *прич.* (зажженна).

Для *личныхъ* мѣстоименій указывается имен. пад. *даннаго числа*. Напр.: васъ, *мѣст.* (вы). Для остальныхъ мѣстоим., кромѣ возвратнаго („себя“)—имен. пад. ед. числа даннаго рода. Напр.: моихъ, *мѣст.* (моя), собою, *мѣст.* (себя). Для глаголовъ указывается неопред. накл. *многократн. вида*. Напр.: забыть, *глг.* (забывать).

18. Если слово иностранное или церк.-славянское, то надо сокращенно (*фр., лат., церк.-слав.*) обозначить, изъ какого языка оно заимствовано. Равнымъ образомъ отмѣчаются архаизмы (*арх.*). Такое обозначеніе подчеркивается. Для справокъ обращаться къ Академическому Словарю и къ Словарю Даля подъ ред. Бодуэна-де-Куртенэ. Къ словамъ хотя и не русскимъ, но органически вошедшимъ въ рус. яз., прибавляется употребляемый въ фольклорѣ терминъ — *бытующій* (быт.). Примѣръ: лошадь, *татар.* *быть*.

19. При существительныхъ, прилагательныхъ, причастіяхъ, числительныхъ и мѣстоименіяхъ, когда они встрѣчаются не въ именит. падежѣ единств. числа, указывается падежъ и число. Звательный падежъ указывается только въ томъ случаѣ, если его форма не тождественна съ формой именит. падежа. При предлогахъ указывается тотъ падежъ, которымъ онъ въ данномъ случаѣ управляетъ. Примѣры:

златой. *прилг.* (златой) вин. ед.

златой, *прилг.* (златая) род. ед.

за, *предл.* съ вин.

за, *предл.* съ твор.

20. При именахъ собственныхъ, техническихъ и т. д. дается, возможно краткое, поясненіе.

21. Поясняется также всякаго рода неправильности, отступленія и особенности. Такъ, если удареніе отступаетъ отъ

современнаго, то наравнѣ съ Пушкинскимъ удареніемъ указывается обычное.

22. Если слово имѣеть не одно значеніе, то необходимо пояснить, въ какомъ именно изъ нихъ оно въ данномъ случаѣ употреблено Пушкинымъ. Напр. омонимы: лукъ, коса, зрѣть; равнымъ образомъ: занимать (занимать гостей; занимать деньги) и т. п. Подобныя поясненія дѣлаются путемъ краткихъ опредѣленій, или приведенія синонимовъ, или же цитированіемъ даннаго мѣста (причемъ несущественныя слова замѣняются пунктиромъ). Напр.:

лукъ, *сущ.* въ знач.—оружіе

записной *прилаз.* въ знач.: настоящій, отъявленный  
завернулъ *лаз.* (заворачивать).

23. Цитаты Пушкина изъ другихъ поэтовъ оговариваются. Каждое слово, входящее въ цитату, подчеркивается пунктиромъ.

24. Послѣ нанесенія на карточку всего вышеотмѣченнаго, указывается №, подъ которымъ данное стихотвореніе входитъ въ изданіе Венгерова, и № стиха. № стихотворенія пишется большой цифрой, стихъ указывается меньшей: 61з обозначаетъ, что слово взято изъ 3-го стиха стихотворенія, напечатаннаго подъ № 61. Слова заглавій и подзаголовковъ обозначаются такъ: 14, загл.; 14, подз.

25. Составленіе карточки заканчивается приведеніемъ полностью того стиха или того заглавія, изъ котораго данное слово взято. Въ стихѣ (или же заглавіи) это слово подчеркивается.

26. Каждая карточка составляется въ *двухъ* экземплярахъ, и, такимъ образомъ, каждое стихотвореніе образуетъ *два* вполне тождественныя пачки карточекъ.

Образецъ карточки для словъ заглавія.

I

красавицѣ, *сущ.* (красавица) дат. ед.

19, загл.

*Красавицѣ*, которая нюхала табакъ.

Образецъ карточки для словъ стихотворенія.

25.

Кантомъ (фоліантомъ) *сущ. собств.* (Кант.) *нѣм.* твор.  
× ×

Иммануиль Кантъ, знаменитый нѣмецкій философъ  
(1724—1804)

25в

Друзья! почто же съ *Кантомъ*.

## Образцы составленія карточекъ.

### I.

#### 168. Къ портрету Жуковскаго.

Его стиховъ плѣнительная сладость  
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,  
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,  
Утѣшится безмолвная печаль  
И рѣзвая задумается радость.

---

*Сводная карточка:*

168. *Къ портрету Жуковскаго*. 1818. III + 22. Подпись составителя.

#### Карточки для словъ заглавія.

- I. къ, *пред.* съ дат. 168, загл.  
Къ портрету Жуковскаго.
- II. портрету, *сущ.* (портреть) *фр.* дат. ед. 168, загл.  
Къ *портрету* Жуковскаго.
- III. Жуковскаго, *сущ.* (Жуковскій) род. 168, загл.  
× ×

Василій Андреевичъ Жуковскій—знаменитый поэтъ (1783—1852) 168, загл.

Къ портрету *Жуковскаго*.

#### Карточки для словъ стихотворенія.

1. егò, *мѣст.* (онъ) род. ед. 168<sub>1</sub>  
Его стиховъ плѣнительная сладость
2. стихòвъ, *сущ.* (стихъ) *греч.* род. мн. 168<sub>1</sub>  
Его *стиховъ* плѣнительная сладость
3. плѣнительная, *прилаг.* 168<sub>1</sub>  
Его стиховъ *плѣнительная* сладость

4. сла́дость (младость, радость), *сущ.* 168<sub>1</sub>  
Его стиховъ плѣнительная *сладость*
5. пройде́тъ, *лаи.* (проходить) 168<sub>2</sub>.  
*Пройдетъ* вѣковъ завистливую даль,
6. вѣко́въ, *сущ.* (вѣкъ) род. мн. 168<sub>2</sub> въ знач.—столѣтіе.  
*Пройдетъ вѣковъ* завистливую даль,
7. завистливую, *прилаи.* (завистливая) вин. ед. 168<sub>2</sub>.  
*Пройдетъ вѣковъ завистливую* даль,
8. даль (печаль), *сущ.* (даль) вин. ед. 168<sub>2</sub>.  
*Пройдетъ вѣковъ* завистливую *даль*,
9. и, *союз.* 168<sub>3</sub>  
*И*, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,
10. внемля, *лаи.* (внимать) 168<sub>3</sub>  
*И, внемля* имъ, вздохнетъ о славѣ младость.
11. имъ, *мѣст.* (они) дат. мн. 168<sub>3</sub>  
*И*, внемля *имъ*, вздохнетъ о славѣ младость,
12. вздохне́тъ, *лаи.* (вздохать) 168<sub>3</sub>  
*И*, внемля имъ, *вздохнетъ* о славѣ младость,
13. о, *предл.* съ предл. 168<sub>3</sub>  
*И*, внемля имъ, вздохнетъ *о* славѣ младость,
14. сла́въ, *сущ.* (слава) предл. ед. 168<sub>3</sub>  
*И*, внемля имъ, вздохнетъ о *славѣ* младость,
15. мла́дость (сладость, радость), *сущ.* 168<sub>3</sub>  
*И*, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ *младость*.
16. утѣ́шится, *лаи.* (утѣшаться) 168<sub>4</sub>  
*Утѣшится* безмолвная печаль
17. безмо́лвная, *прилаи.* 168<sub>4</sub>  
*Утѣшится безмолвная* печаль
18. печа́ль (даль), *сущ.* 168<sub>4</sub>  
*Утѣшится* безмолвная *печаль*
19. и, *союз.* 168<sub>5</sub>  
*И* рѣзвая задумается радость.
20. рѣ́звая, *прилаи.* 168<sub>5</sub>  
*И рѣзвая* задумается радость.

21. заду́мается, *глаг.* (задумываться) 168<sub>б</sub>  
И рѣзвая *задумается* радость.  
22. ра́дость (младость, сладость), *сущ.* 168<sub>б</sub>  
И рѣзвая *задумается* радость.

II.

(Образецъ, показывающій какъ надо наносить на карточки частицы).

240. Когда-бъ писать ты началъ сдуру.

Когда-бъ писать ты началъ сдуру  
Тогдабъ на вѣрно ты пролезъ  
Сквозь нашу тѣсную цензуру  
Какъ внидешъ въ царствіе Небесъ.

---

Сводная карточка:

240. Когда-бъ писать ты началъ сдуру. 1820.

0 + 21. Подпись составителя.

1. когдà [-бъ], *союз.* 240<sub>1</sub>  
Когда-бъ писать ты началъ сдуру
2. [когдà-] бѣ, *част.* 240<sub>1</sub>  
Когда-бѣ писать ты началъ сдуру
3. писàть, *глаг.* 240<sub>1</sub>  
Когда-бѣ *писать* ты началъ сдуру
4. ты, *мѣст.* 240<sub>1</sub>  
Когда-бѣ писать *ты* началъ сдуру
5. нàчалъ, *глаг.* (начинать) 240<sub>1</sub>  
Когда-бѣ писать ты *началъ* сдуру
6. сдуру (цензуру), *нар.* 240<sub>1</sub>  
Когда-бѣ писать ты началъ *сдуру*
7. тогдà [̄бѣ], *союз.* 240<sub>2</sub>  
Тогдабѣ на вѣрно ты пролезъ
8. [тогдà ̄бѣ], *част.* 240<sub>2</sub>  
Тогдабѣ на вѣрно ты пролезъ

9. на [вѣрно], *предл.* (навѣрно—нар.) 240<sub>2</sub>  
Тогдабъ на вѣрно ты пролезъ
10. [на] вѣрно, *нар.* (навѣрно—нар.) 240<sub>2</sub>  
Тогдабъ на *върно* ты пролезъ
11. ты, *мѣст.* 240<sub>2</sub>  
Тогдабъ на вѣрно *ты* пролезъ
12. пролѣзъ (Небесъ), *лап.* (пролѣзать)  
×  
(= пролѣзъ) 240<sub>2</sub>  
Тогдабъ на вѣрно ты *пролезъ*
13. сквозь, *предл.* съ вин. 240<sub>3</sub>  
*Сквозь* нашу тѣсную цензуру
14. нашу, *мѣст.* (наша) вин. ед. 240<sub>3</sub>  
*Сквозь нашу* тѣсную цензуру
15. тѣсную, *прилап.* (тѣсная) вин. ед. 240<sub>3</sub>  
*Сквозь нашу тѣсную* цензуру
16. цензуру (сдуру), *суц.* (цензура) *лат.* вин. ед. 240<sub>3</sub>  
*Сквозь нашу тѣсную цензуру*
17. какъ, *нар.* 240<sub>4</sub>  
*Какъ* внидешъ въ царствіе Небесъ.
18. внидешъ, *лап.* (внити) *ц.-слав.* 240<sub>4</sub>  
*Какъ внидешъ* въ царствіе Небесъ.
19. въ, *предл.* съ вин. 240<sub>4</sub>  
*Какъ* внидешъ *въ* царствіе Небесъ.
20. царствіе, *суц.* (царствіе) *ц.-слав.* вин. ед. 240<sub>4</sub>  
*Какъ* внидешъ въ *царствіе* Небесъ.
21. Небесъ (пролезъ), *суц.* (Небо) род. мн. 240<sub>4</sub>  
× ×  
*Какъ* внидешъ въ царствіе *Небесъ*.

Руководитель Семинарія С. Венгеровъ.

Члены редакціонной комиссіи, студенты: В. А. Красновъ,  
М. Л. Лозинскій, В. А. Сидоровъ, А. Г. Фоминъ.

# СПИСОКЪ

участниковъ Пушкинскаго Семинарія при С.-Петербургомъ университетѣ (1908-1913).

\* поставлена при именахъ лицъ, причастныхъ къ литературной и научной дѣятельности.

\***Альмедингенъ**, Георгій Александровичъ р. въ СПБ. 18 мая 1884 г. с. химика, ок. СПБ. 6 г., въ ун. 1909, въ п. сем. 1909, уч. въ сост. пушк. словаря (№ 120—125).

Перев. въ журн. „Родникъ“.

**Андреевскій**, Иванъ Александровичъ р. 25 февр. 1890 с. дворян. ок. Ржевск. г. въ ун. 1909 въ п. сем. 1909.

**Андріановъ**, Николай Николаевичъ, р. 5 марта 1887, с. пот. двор., ок. Ворон. 1 г. въ ун. 1907 чит. реф. „Стихотворенія 20—25 г. г.“ (10 дек. 1909).

**Аплетинъ**, (Оплетинъ) Михаилъ Яковлевичъ р. 15 дек. 1885 с. крестьян. экстернъ при СПБ. уч. окр., въ ун. 1910 въ п. сем. 1910 — уч. въ сост. пушк. словаря (№ 126—139).

**Архангельскій**, въ п. с. 1912.

**Атабековъ**, Георгій Семеновичъ сынъ чиновн. ок. СПБ. 3 р. у. въ ун. 1908 въ п. сем. 1908.

\***Ауслендеръ**, Сергій Абрамовичъ р. 1886 ок. СПБ. 7 гимн. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908 Чит. реф. „Періодъ „Кружка зеленой лампы“ въ творчествѣ Пушкина“ (29 янв. 1909).

Беллетристъ, драматургъ и критикъ. Отдѣльно напеч.: „Золотыя яблоки“. М. 1908 и „Разказы“ кн. II. СПБ. 1912.

**Афанасьевъ-Козловъ**, Александръ Ивановичъ с. крестьян. ок. Нарвск. г. въ ун. 1905 въ п. сем. 1908.

**Бальмонтъ**, Ник. Конст. с. поэта р. 10 ноябр. 1891 ок. г. Гуревича въ у. 1911 въ п. с. 1912.

\***Баннеръ-Фогтъ**, Вѣра Андреевна. Отд. напеч.: „А. И. Герценъ, его жизнь и дѣятельность“. СПБ. 1907 и „Великій писатель земли русской графъ Л. Н. Толстой“. СПБ. 1908.

**Бардовскій**, Александръ Алексан-

дровичъ р. 12 янв. 1893 с. д. с. с. ок. СПБ. 8 г. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911 — Чит. реф. „Борисъ Годуновъ“ (8 нояб. 1912).

**Бebutovъ**, князь Валеріанъ Михайловичъ с. инженер. ок. Самарск. г. въ ун. 1905 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. словаря (№ 140—142).

**Безребельный** Федоръ Александровичъ р. 15 мая 1884 с. крестьян. ок. Корочанск. г. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911.

**Безсоновъ**, Сергій Петровичъ р. 8 сент. 1889 с. д. с. с. ок. Харьк. 4 гимн. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911.

\***Бемъ**, Альфредъ-Вильгельмъ Людвигов. р. 26 ап. 1886. с. герм. под. ок. Кіев. р. у. въ ун. 1908 чит. реф. „Пушкинъ и Шатобріанъ“ (11 и 14 февр. 1910). Служить въ рукоп. отд. Акад. Наукъ.

Сотрудникъ „Извѣстій“ Акад. Наукъ и „Пушкинъ и его современники“.

\***Бернштейнъ**, Сергій Игнатьевичъ (Исааковичъ) р. въ Тифлисѣ 2 янв. 1892 с. инж. пуг. сообщ. ок. СПБ. гимн. Гуревича въ ун. 1910 въ п. сем. 1910.

Сотрудникъ „Рѣчи“, „Школы и Жизни“ „Театра и искусства“. Переводы по библиотекоевѣднію.

**Біанки**, Левъ Валентиновичъ р. 16 мар. 1884 с. ст. сов. ок. г. ист.-фил. инст. въ ун. 1902 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 314—331).

**Блюменталь**, Александръ — Пауль Генриховичъ с. чиновн. ок. Шавельск. г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1910.

\***Боголѣповъ**, Александръ Александровичъ с. свящ. ок. Ряз. дух. сем. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908 оставленъ при спб. ун. по кафедрѣ государ. права.

**Болховитиновъ**, Александръ въ п.

сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 278—297).

**Бонди Сергѣй Михайловичъ** р. въ Баку 13 июня 1891 с. чиновн. ок. Херс. г. въ ун. 1910.

**Боханъ, Александръ Ѳедоровичъ** р. 26 июня 1891 с. кол. ас. ок. Кіевск. 4 г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910—уч. въ сост. пушк. (слов. (№ 174—183).

**Буткевичъ, Іосифъ Федосѣевичъ**, с. двор. оконч. Саратов. 1 г. въ ун. 1906 въ п. с. 1909.

**Бушенъ, Дмитрій Дмитриевичъ** р. 14 апр. 1893 с. ген.-майора ок. С.П.Б. г. Имп. Алекс. I въ ун. 1912 въ п. сем. 1912.

**\*Бушъ Владиміръ Владиміровичъ** р. въ С.П.Б. 4 янв. 1887 пот. поч. гражд. ок. уч. св. Анны въ ун. 1906 въ п. сем. 1908 чит. реф. „Стихотворенія Пушкина со стороны текста 1818—1819“ (11 дек. 1908) Преподав. С.П.Б. гимн.

Сотр. „Р. Фил. Вѣст.“, „Пушкинъ и его современ.“.

**Бѣлоусовъ, Владиміръ Анисимовичъ** с. купца ок. уч. св. Анны въ ун. 1908 въ п. сем. 1910.

**Быстровъ, Ростиславъ Михайловичъ** ок. уч. св. Анны въ ун. 1907 въ п. сем. 1909.

**Ваншейдтъ, Серг. Эдуард.** с. чин. въ ун. 1908 ок. уч. св. Анны.

**Васильевъ Евгений Степановичъ** р. 8 окт. 1888 с. ст. сов. ок. С.П.Б. 1 г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1908. Чит. реф. „Лицейскія произведенія Пушкина“ (13 нояб. 1908).

**Верещагинъ, Григорій Александровичъ** с. крестьян. ок. С.П.Б. 5 г. въ ун. 1904 въ п. сем. 1908.

**Виноградовъ, Александръ Павловичъ** с. свящ. ок. С.П.Б. 2 г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908. Чит. реф. „Кавказскій плѣнникъ“ (19 марта 1909).

Препод. С.П.Б. Введ., Литейн. и Александр. гимн.

**Виноградовъ, Николай Николаевичъ** с. свящ. ок. Демид. юрид. лицей въ ун. 1904 въ п. сем. 1910.

**Войновъ, Эдуардъ Абрамовичъ** въ п. сем. 1909.

**Войцеховскій Павелъ Александровичъ** р. 3 июня 1893 с. подполк. ок. 2 кад. корп. въ ун. 1912 въ п. сем. 1912.

**Волковскій Александръ Николаевичъ** с. чин. ок. Варш. 1 г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1910.

**Волковскій, Самуилъ Ильичъ** ок. Сувалск. г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908.

**Гельченко, въ п. сем. 1910.**

**Георгъ, Леонидъ Владиміровичъ** р. 11 июля 1890 с. чин. ок. Брестск. г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1909.

**Гигинейшвили Валентинъ Маріановичъ** дворян. ок. Батумск. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1908.

**Гильдебрандъ, Николай Ивановичъ** с. чин. ок. Рев. Алекс. г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908.

**Гильдебрандъ Евгений Ивановичъ** р. 23 февр. 1892 с. ст. сов. ок. Рев. г. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911

**Генкенъ Антонъ Антоновичъ** р. 22 авг. 1890 с. дворян. ок. г. д-ра Видемана въ ун. 1908 въ п. сем. 1908.

**\*Гиппусъ Василій Васильевичъ** р. 26 июня 1890 с. д. с. сов. ок. С.П.Б. 6 г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1910. Преподаватель 12 гимн. въ С.П.Б. Чит. реф. „Эротизмъ Пушкина“ (16 февр. 1912).

Поэтъ и критикъ.

**Головня, Брониславъ Іосифовичъ** р. 28 июля 1885 ок. Ташк. г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908.

**\*Голоскевичъ Григорій Константиновичъ** с. свящ. ок. Подольск. дух. сем. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908.

Сотр. „Извѣстій Отд. р. я. и словесн. Академіи Наукъ“.

**Городецкій Александръ Митрофановичъ** с. дворян. ок. С.П.Б. 6 г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908. (?)

**\*Городецкій Сергѣй Митрофановичъ** р. 1884 с. д. с. с. ок. С.П.Б. 6 г. въ ун. 1909 въ п. сем. 1910.

Поэтъ, беллетристъ и критикъ. Отдѣльно напеч.: „Перунъ“. С.П.Б. 1907, „Дикая воля“. С.П.Б. 1907, „Яръ“. С.П.Б. 1907, „Дикая воля“. С.П.Б. 1910 (изд. 2), „Ива“. С.П.Б. 1912, „Я“. М. 1908, „Кладбище страстей“. С.П.Б. 1909, „Повѣсти и рассказы“, кн. вторая. С.П.Б. 1910, „Русь“. М. 1909, „Царевичъ малышъ“. С.П.Б. 1911, „Яръ“. С.П.Б. 1910 (изд. 2-е).

**Гофманъ Артуръ Яковлевичъ** р. 8 мая 1891 с. пот. поч. гр. ок. уч. при реф. ц. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910, уч. въ сост. пушк. слов. (№ 188—194).

**\*Гофманъ Модестъ Людвиговичъ** с. д. с. ок. 1 кад. корп. въ ун. 1905 въ п. сем. 1909 чит. реф. „Пушкинъ—поэтъ-пророкъ“ (4 мар. 1910). Оставленъ при С.П.Б. ун. по кафедрѣ ист. р. лит., преподаватель жен. и воен. гимн.

Поэтъ и историкъ литературы. Отд. напеч.: „Соборный индивидуализмъ“. С.П.Б. 1907. „Книга о русскихъ поэтахъ послѣдняго десятилѣтія, подъ ред. Мо-

деста Гофмана. СПБ. 1910 и „Гимны и оды“. СПБ. 1910.

**Грандильевскій**, Сергѣй Павл. с. чин. р. 9 марта 1893 ок. Архан. г. въ ун. 1912 въ п. с. 1912.

\***Губеръ**, Петръ Константиновичъ р. 14 сент. 1888 с. шт.-кап. уч. въ СПБ. Политехн. инст. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910.

Сотрудникъ „Рус. Мысли“, „Рус. Молвы“, „Рѣчи“.

\***Гумилевъ**, Николай Степановичъ р. 3 апр. 1886 с. ст. сов. ок. Ник.-Царск. г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1909.

Поэтъ. Отд. напеч.: »Жемчуга“. М. 1910 и „Чужое небо“. СПБ. 1912.

**Давыдовъ**, Степанъ Давид. р. 29 іюля 1891 ок. Пенз. г. въ ун. 1911 въ п. с. 1912.

**Дикаревъ** Анатолій Ильичъ р. 19 іюля 1883 с. сваяч. ок. Новочерк. г. въ ун. 1909 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 268—272).

**Домгеръ** Людвигъ Леопольдовичъ р. 13 дек. 1891 прусск. под. ок. Керч.-Алекс. г. въ ун. 1912 въ п. сем. 1912

**Дондуа** Карлъ Дорисоновичъ въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 332).

**Драгановъ**, Валентинъ Петровичъ р. 15 нояб. 1892 с. кол. сов. ок. СПБ. 3 г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910.

**Дробашевъ** Алексѣй Исидоровичъ р. 7 февр. 1889 казакъ ок. Ставроп. г. въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 257, II, 239 до конца).

\***Егоровъ**, Николай Александровичъ р. 23 нояб. 1888 с. воен. врача ок. Вѣрненск. г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1908. Чит. реф. „Родъ Пушкина\* (окт. 1908) и „Періодъ зеленой лампы“ (22 янв. 1909).

Сотрудникъ газетъ. Оставленъ при Спб. ун. по рус. слов.

\***Ерханъ** Пантелеймонъ Васильевичъ с. сваяч. ок. Киш. дух. сем. въ ун. 1908 въ п. сем. 1908 Чит. реф. „Пушкинъ на Кавказъ въ 20—29 гг.“ (12 марта 1909). Преподаватель. Оставленъ при СПБ. ун. по каедрѣ рус. лит.

**Ершихинъ** Николай Тимофѣевичъ крестьян. ок. СПБ. дух. сем. въ ун. 1906 въ п. сем. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908.

**Ефремовъ** Иванъ Васильевичъ с. діакона ок. Ворон. дух. сем. въ ун. 1907 въ п. сем. 1908.

\***Жирмунскій** Викторъ Максимовичъ р. въ СПБ. 21 іюля 1891, с. докт.

мед. ок. СПБ. Тениш. уч. въ ун. 1908 въ п. сем. 1910. Оставленъ при спб. ун. по каедрѣ ист. запад. евр. лит. Налеч.: „Нѣмецкій романтизмъ и современная мистика“. СПБ. 1914.

**Жирмунскій** Миронъ Аркадьевичъ р. 30 мая 1890 с. канд. правъ ок. СПБ. 10 г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1910 (?).

**Журовъ** Петръ Алексѣевичъ р. 14 авг. 1885 с. купца ок. Иван.-Вознес. р. у. въ ун. 1909 въ п. сем. 1909.

**Знаменскій**, Тихонъ Васильевичъ ок. Симф. г. въ п. сем. 1908. Чит. реф. „Русланъ и Людмила“ (26 февр. 1909).

\***Зороховичъ**, Юрій Исаевичъ с. купца ок. Кѣлец. г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1909 помощ. прис. пов.

Беллетристъ (повѣсти въ „Рус. Мысли“ и др.).

**Зуева** въ п. сем. 1908.

**Ивановъ** Леонидъ Петровичъ р. 19 іюля 1887 с. чин. ок. СПБ. 2 г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910.

**Ивановъ** Петръ Никитичъ р. 27 іюня 1880 мѣщан. ок. СПБ. Ларинск. г. въ ун. 1918 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 350—363).

**Измайловъ**, Андрей Егоровичъ р. 16 окт. 1880 с. учит. ок. Волог. г. ун. 1908 въ п. сем. 1909.

**Измайловъ**, Николай Васильевичъ р. 27 ноябр. 1893 с. дворян. ок. СПБ. Тениш. уч. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911.

**Изюмовъ**, Николай Петровичъ р. 23 дек. 1878 с. діакона ок. Каз. дух. сем. въ ун. 1907 въ п. сем. 1909.

**Ильяшенко**, Влад. Ст. с. двор. р. 15 мая 1887 въ ун. 1912, въ п. с. 1912.

\***Искозъ** Аркадій (Аронъ) Симоновичъ р. 1882 ок. р. у въ ун. 1907 въ п. сем. 1908 Чит. реф. „Цыганы“ (5 нояб. 1909).

Критикъ, сотрудникъ „Рѣчи“, „Рус. Вѣд.“, „Рус. Мысли“, „Завѣтовъ“, Энци. Словаря (псевд. *А. Долининъ*).

**Ицхоки** Александръ Владиміровичъ р. 16 мар. 1886 ок. Смол. г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 211, I, 1—272).

**Квеско** Викентій Сильвестровичъ р. 28 нояб. 1889 с. крестьян. ок. г. Р.-К. уч. св. Екат. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910.

**Киселевъ**, Александръ Григорьевичъ ок. Черниг. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1909.

**Клейногъ** Іосифъ Іосифовичъ р. 7 іюня 1889 с. отст. подпол. ок. Ревельск. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1908.

**Клименко**, Николай Константинович Полт. дух. сем. въ ун. 1904 въ п. сем. 1908.

**Ковалевскій**, Михаилъ Петровичъ с. свящ. ок. Дон. дух. сем. въ ун. 1908 въ п. сем. 1909.

**Коварскій**, Левъ Абрамовичъ р. 27 янв. 1893 с. пот. поч. гр. ок. СПб. Тениш. уч. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911.

**Козакевичъ**, Станиславъ въ п. с. 1909.

**Коницевъ**, Михаилъ Алексѣевичъ р. 13 дек. 1810 с. крестьян. ок. Волог. г. въ ун. 1912 въ п. сем. 1912.

**Корольковъ**, Георгій Павловичъ с. крестьян. ок. СПб. г. Имп. Алекс. I въ ун. 1908 въ п. сем. 1909.

**Костельницкій**, Влад. Ивановичъ р. 5 янв. 1892 ок. Ковен. г. въ ун. 1909 въ п. с. 1911.

**Красногорскій**, Василий Петр. с. чмнов. р. 25 окт. 1892 ок. В. Устюг. г. въ ун. 1911 въ п. с. 1912.

\***Красновъ** Веніаминъ Аполлоновичъ с. генераль-маіора ок. СПб. г. К. Мая въ ун. 1906 въ п. сем. 1908 Чит. реф. „Пушкинъ и Байронъ“ (17 нояб., 1 дек. 1911 и 8 мар. 1912). Преподаватель гимн. Столбцова въ Спб. Оставленъ при Спб. ун. по ист. рус. лит.

Статья о Байронѣ въ „Жизни для всѣхъ“ 1913.

\***Крачковскій**, Василий Антоновичъ с. мѣщ. ок. Двинск. р. у. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908. Оставленъ при унив. по кафедрѣ словяновѣднія. Преподаватель въ Спб.

**Кругловъ**, Яковъ Васильевичъ мѣщ. ок. Каз. 1 г. въ ун. 1905 въ п. сем. 1908. Чит. реф. „Бахчисарайскій фонтанъ“.

**Крутяковъ** Александръ въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 211, I, 273—512).

**Куриковъ**, Павелъ Ивановичъ с. пот. поч. гр. ок. СПб. 1 г. въ ун. 1905 въ п. сем. 1908.

\***Кутузовъ** Александръ Владиміровичъ р. въ Пензѣ 12 дек. 1892 с. чин. ок. Пенз. 1 г. въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 211, II, 1—275). Корр. „СПБ. вѣд.“ и „Пенз. вѣд.“, брошюра о Бѣлинскомъ (Пенза 1913 г.).

**Ладгинъ**, Андрей Андреевичъ р. 21 мая 1887 с. учит. ок. СПб. 1 г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908.

**Лебедевъ** Леонидъ Васильевичъ р. 8 сент. 1889 с. протоіерей ок. СПб. 5 г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1910 (?).

**Лебедевъ** Леонидъ Васильевичъ р. 3 июня 1889 с. чин. ок. Минск. г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 211, II, 276—504).

\***Левоневскій** Анатолий Феликсовичъ с. поручика ок. Екатеринбург. г. въ ун. 1905 въ п. сем. 1910.

Сотрудникъ „Рус. Школы“ и „Воспит. и обуч. Отд. напеч.“: „Матеріалы къ вопросу о психическомъ развитіи ребенка“. СПб. 1912. и „Мой ребенокъ“. СПб. 1914.

**Ливенцовъ**, С. въ п. сем. 1910.

\***Лозинскій** Михаилъ Леонидовичъ р. 8 июля 1886 г. с. прис. пов. ок. СПб. 1 г. въ ун. 1909 въ п. сем. 1910.

Поэтъ, редакторъ „Гиперборея“.

**Лойко**, въ п. сем. 1908.

**Лопатто**, Михаилъ Іосифовичъ р. 6 сент. 1892 с. оберъ-офиц. ок. Вил. 1 г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910 Рефератъ „Повѣсти Бѣлкина“ (21 марта 1913 г.).

**Лось**, Тимофей Корнил. р. 21 февр. 1880 ок. СПб. 10 г. въ ун. 1910 въ п. с. 1911.

**Лузгинъ**, Дмитрій Михайловичъ р. 14 сент. 1887 с. пот. поч. гр. ок. СПб. г. И. чел. общ. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910.

**Ляндау**, Константинъ Юлиановичъ р. 22 мар. 1890 с. канд. к. наукъ ок. Тениш. уч. въ ун. 1909 въ п. сем. 1910.

**Майборода**, Платонъ Евгеньевичъ с. свящ. ок. Волынск. дух. сем. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908 Чит. реф. „Пушкинъ въ Лицеѣ“ (7 нояб. 1908 г.).

**Максимовъ**, Александровичъ Ивановичъ р. 24 мар. 1889 с. пот. поч. гр. ок. СПб. 1 г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1909.

**Манизеръ**, Робертъ-Алексѣй Генриховичъ р. 16 сент. 1892 с. кл. худ. ок. СПб. 5 г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910 (?) уч. въ сост. пушк. слов. (№ 336—344).

**Маловъ**, Сергѣй Евгеньевичъ с. ст. сов. ок. Одесск. 4 г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908.

**Маринъ**, Борисъ Владиміровичъ р. 20 янв. 1885 с. пот. дворян. ок. Костр. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1910.

**Миротворцевъ**, Несторъ Васильевичъ р. 8 мая 1889 с. проф. ок. Каз. 3 г. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911.

**Мкурнали**, Александръ Константиновичъ р. 1. янв. 1891 с. дворян. ок. Кутаисск. г. въ ун. 1909 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 364—369).

**Молебовъ**, Михаилъ Петровичъ р. 5 нояб. 1891 с. мѣщан. ок. Пенз. 2 г.

въ ун. 1910 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 211, III, 273—466)

**Мореходовъ**, Александръ Константиновичъ р. 3 авг. 1890 мѣщан. исп. ком. СПб. чу. окр. въ ун. 1912 въ п. сем. 1910.

**Мошковъ**, Борисъ Сергѣевичъ р. 2 мар. 1892 с. надв. сов. ок. Пенз. г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910.

**Насибовъ**, Викторъ Мелконовичъ с. подполк. Ташкентск. г. въ ун. 1905 въ п. сем. 1908.

**Никитинъ**, Иванъ Ивановичъ р. 26 янв. 1892 с. крестьян. ок. Петерб. И. Ал. II г. въ ун. 1912 въ п. сем. 1912.

**Никифоровъ**, Петръ Васильевичъ с. купца ок. г. Ист.-фил. инст. въ ун. 1908 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. сем. (№ 211, IV, 147—335).

**Никифоровскій**, Вас. Митрофан. с. протоіерея р. 3 марта 1891 ок. г. Столбова въ ун. 1909 въ п. с. 1912.

**Новицкій**, Павелъ Ивановичъ с. чин. ок. Екатеринбург. г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908 Чит. реф. „Поэтъ и толпа“ (11 марта 1910).

**Осиповъ**, Александръ Ивановичъ с. свящ. ок. Черн. дух. сем. въ ун. 1907 въ п. сем. 1908 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 211, V, 1—214).

**Осиповъ**, Иванъ Лаврентьевичъ р. 4 дек. 1889 с. крестьян. ок. Петерб. г. Им. Ал. II въ ун. 1910 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 211, V, 1—214).

**Осницкій**, Константинъ Васильевичъ с. учит. нар. уч. ок. Новг. дух. сем. въ ун. 1907 въ п. сем. 1908.

**Оцупъ**, Павелъ Авдѣевичъ р. 10 сент. 1891 ок. Царскос. г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 370, 1—153).

**Оцупъ**, Сергѣй Авдѣевичъ р. 7 март. 1889 ок. Царскос. г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 370, 154—271).

**Пантелѣевъ**, Евгений Павловичъ р. 26 іюля 1890 с. надв. сов. ок. ч. г. Столбова въ ун. 1911 въ п. сем. 1911.

**Пашковскій**, Степанъ Гавриловичъ р. 21 мар. 1885 с. учит., св. Исп. ком. Кавк. у. о. въ ун. 1909 въ сем. 1910. уч. въ сост. пушк. слов. (№ 211, V, 215—235).

**Першицъ**, Левъ Борисовичъ р. 3 марта 1893 с. пот. поч. гр. ок. Тениш. учил. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911.

\***Петри**, Георгій-Карль-Юлій Эдуардовичъ с. профес. ок. г. К. Мая въ ун. 1907 въ п. сем. 1908. Чит. реф. „Братья-

разбойники“ въ связи съ краткимъ разборомъ разбойничьей литературы“ (8 окт. 1909).

Помѣщалъ стихи въ „Вѣст. Евр.“.  
**Петровъ**, Михаилъ Яковлевичъ р. 1 нояб. 1890 с. мѣщан. ок. Омск. г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910.

**Пигулевскій**, Тимофей Степановичъ р. 18 авг. 1887 мѣщан. св. СПб. уч. окр. въ ун. 1912 въ п. сем. 1912.

**Поздѣевъ**, Андрей Александровичъ р. 18 авг. 1886 с. купца ок. СПб. Ларинск. г. въ ун. 1905 въ п. сем. 1909. Чит. реф. „Цыгане“ (15 окт. 1909).

**Покровский**, Петръ Ивановичъ р. 12 мая 1889 с. прис. пов. ок. СПб. 10 г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№№ 273—277).

**Полетаевъ**, Евгений Алексѣевичъ мѣщан. ок. Царскос. г. въ ун. 1903 въ п. сем. 1910.

**Польскій**, Адрианъ Теофановичъ с. свящ. ок. Ставроп. дух. сем. въ ун. 1907 въ п. сем. 1910.

\***Поповъ**, Александръ Александровичъ р. 4 іюля 1890 ок. СПб. 6 г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910. Чит. реф. „Пушкинъ и франц. юмор. поэзія XVIII в.“ (28 мар. 1913).

Поэтъ.

\***Поповъ**, Анатолій Александровичъ ок. СПб. 5 г. въ ун. 1905 въ п. сем. 1909.

Оставленъ по кафедрѣ рус. яз.

**Прейсъ**, Юрій Борисовичъ с. купца ок. СПб. Введ. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1909.

**Путиловъ**, Викторъ Константиновичъ р. 8 окт. 1892 с. купца ок. СПб. 1 р. у. въ ун. 1912 въ п. сем. 1912.

\***Пучковъ**, Анатолій Ивановичъ р. 15 мар. 1894 с. шт.-кап. ок. Брестск. г. Н. Ц. Н. А. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911.

Поэтъ.

**Пѣтуховъ**, Юрій Евгеньевичъ р. 2 мая 1892 с. профессора ок. Юрьевск. г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 211, VI, 1—152).

**Рапгофъ**, Борисъ Евгеньевичъ р. 27 авг. 1892 с. ст. сов. ок. г. при реф. ц. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910. Чит. реф. „Маленькія трагедіи Пушкина (13 дек. 1912).

**Рачковскій**, Михаилъ Васильевичъ с. подполк. ок. кад. корп. въ ун. 1905 въ п. сем. 1910.

**Ризель**, Карль Наумовичъ мѣщан. ок. Бакинск. г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1909.

**Розенбергъ**, Эсэиръ Иосифовна ок. Одесск. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1908.

**Розенбергъ**, Николай Карловичъ р. 21 авг. 1885 мѣщан. ок. Пск. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1908. Чит. реф. „Пушкинъ въ Одесѣ“ (24 сен. 1909).

**Розенталь**, Лазарь Владиміровичъ р. 13 июня 1884 с. купца ок. СПБ. Тениш. уч. въ ун. 1912. въ п. сем. 1912 Чит. реф. „Лирика Баратынского“ (28 февр. 1913 г.).

**Розенталь**, Николай Николаевичъ р. въ СПБ. 22 сент. 1892 ок. СПБ. Тениш. уч. въ ун. 1909. Чит. реф. „Пушкинъ, какъ романтикъ“ (7 и 14 марта 1913 г.).

**Розовъ**, Николай Алексѣевичъ с. свящ. ок. Рыбинск. г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908. Чит. реф. „Стихотв. А. С. Пушкина періода Зеленой лампы,“ (12 февр. 1909). Преподаватель.

**Рубцовъ**, Леонидъ Константиновичъ с. шт.-офицера ок. Ковенск. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1909.

**Рудницкій**, Владиславъ Леопольдовичъ р. 3 февр. 1886 с. пот. дворян. ок. СПБ. 8 г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1909.

**Самаринъ**, Михаилъ Павловичъ ок. СПБ. 6 г. въ ун. 1904 въ п. сем. 1908.

\***Самойло**, Влад. Ив. с. д. с. с. род. 17 янв. 1878 ок. Мин. г. въ п. с. 1912. Критикъ и драматургъ.

\***Святополкъ-Мирскій**, князь Дмитрій Петровичъ ок. СПБ. 1. г. въ ун. 1908 въ п. с. 1908.

Поэтъ. Отдѣльно напеч.: „Стихотворенія“ СПБ. 1911.

**Севастьяновъ**, Николай Васильевичъ р. 25 апр. 1892 с. пот. поч. гр. ок. Пенз. 2 г. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911. Уч. въ сост. пушк. слов. (№№ 200—210).

**Семеновскій**, Аркадій Алексѣевичъ р. 26 янв. 1889 с. чин. ок. Лодз. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1908.

\***Сидоровъ**, Владиміръ Александровичъ р. въ СПБ. 6 июля 1888 въ крест. семьѣ ок. СПБ. 1 г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1908. Чит. реф. „Лицейскія стихотворенія Пушкина“. Оставленъ при унив. по ист. рус. лит.

Замѣтки въ „Школѣ и Жизни“.

**Сихвоненъ**, Александръ Александровичъ р. 1 мар. 1892 с. надв. сов. ок. СПБ. 3 г. въ ун. 1910 въ п. сем. 1910. Уч. въ сост. пушк. слов. (№ 211, VI, 153—374, эпилогъ).

**Смирновъ**, Сергій Яковлевичъ р. 25 мар. 1891 крестьян. ок. Арханг. г.

въ ун. 1910 въ п. сем. 1910. Уч. въ сост. пушк. слов. (№ 184—187).

**Соловьевъ**, Владиміръ Николаевичъ, въ п. сем. 1908.

Драматургъ; статьи о театрѣ и литературѣ въ „Студии“, «Днѣ» и др. изд.

**Солоница**, Михаилъ Андреевичъ с. дворян. ок. Колл. П. Галагана въ ун. 1909 въ п. сем. 1910.

**Солосинъ**, Иванъ Ивановичъ с. ок. Астрах. г. въ ун. 1905 въ п. сем. 1908.

**Сперанскій**, Михаилъ Михайловичъ с. свящ. ок. Тверск. дух. сем. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908 (?).

**Судаковъ**, Сергій Алексѣевичъ с. учит. ок. Новгор. дух. сем. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908.

**Суриковъ**, Георгій Михайловичъ р. 26 мар. 1892 с. личн. поч. гр. ок. Пенз. 1 г. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911.

**Суховъ**, Александръ Петровичъ р. 18 февр. 1887 с. купца ок. Вяземск. г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1910.

**Сухотинъ**, Алексій Михайловичъ ок. г. Гуревича въ п. с. 1909.

**Сысоевъ**, Алексій Павл. р. 11 марта 1891 ок. Ахтыр. г. въ ун. 1911 въ п. с. 1911.

**Талпа**, Михаилъ Евгеньевичъ р. 8 нояб. 1894 с. надв. сов. ок. г. ист.-фил. и Безб. въ Нѣжинѣ въ ун. 1912 въ п. сем. 1912 уч. въ сост. пушк. слов. (№№ 195—199).

\***Тамашевъ**, Александръ Артемьевичъ с. канд. р. 1 окт. 1888 ок. 1 Спб. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1907. Чит. реф. „Опытъ анализа осеннихъ мотивовъ въ творествѣ Пушкина“ (14 февр. 1913).

Поэтъ.

**Тарасовъ**, Георгій Ивановичъ с. пот. поч. гр. Екатеринод. г. въ ун. 1909 въ п. сем. 1910.

**Теръ-Габріелянцъ**, Гагенъ-Габріелянцъ р. 13 янв. 1885 с. протоіерея ок. Тифл. 1 г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 257, I, 1—167).

**Теръ-Мартirosянцъ**, Симеонъ Ефремовичъ р. 7 февр. 1888 с. крестьян. ок. Тифл. 3 г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 257, II, 1—238).

**Тихомировъ**, Алексій Гавриловичъ р. 10 авг. 1893 с. ст. сов. ок. СПБ. 3 г. въ ун. 1911. Чит. реф. „А. И. Полежаевъ“ (31 янв. 1913 г.).

**Удальцовъ**, Иванъ Николаевичъ р. 24 февр. 1892 с. протоіерея ок. г.

при ц. св. Анны въ ун. 1910 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№№ 258—264).

**Ужинскій, Василий Иванович** с. діакона ок. СПб. 3 г. въ ун. 1905 въ п. сем. 1908.

**Фельдманъ, Лейба Айзикович** с. ок. Сумск. Алекс. г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1909.

**Филатовъ, Николай Филип.** с. поч. гр. р. 17 мая 1882 и. ок. Елисавет. т. въ ун. 1912 въ п. с. 1912.

**\*Фоминъ, Александръ Григорьевич** р. 13 мар. 1887 г. въ м. Гусятино Подольск. губ., с. полковн. ок. СПб. 2 г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908. Чит. реф. „Пушкинъ и Байронъ. О вліяніи Байрона на Пушкина“ (28 окт. и 4 нояб. 1910 г.).

Библиографъ и историкъ литературы. Сotr. „Вѣстн. Евр.“ „Завѣтовъ“, „Изв. Отд. р. яз. и сл. Академіи Наукъ“, „Истор. Вѣстн.“, „Литер. Вѣстн.“, „Минувш. Годовъ“, „Русск. Мысли“, „Русск. Школы“, „Рѣчи“, „Современника“, „Филологич. Зап.“, „Школы и Жизни“ и „Нов. Энцикл. Словаря“. Отд. напеч.: „Чеховъ въ русской критикѣ“. СПб. 1907. Ред. соч. Никитина, педаг. статьи Толстого и Бѣлинскаго.

**Халабаевъ, въ пушк. сем. 1908.**

**Хлѣбниковъ, Викторъ Владимірович** с. чин. ок. Каз. 3 г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1909.

**Царевскій, Николай Николаевич** р. 16 мая 1889 с. свящ. ок. Нижегород. г. въ ун. 1909 въ п. сем. 1909.

**Цвѣтковъ, Сергѣй Александрович** с. свящ. ок. Рев. 1 г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1908.

**Чепчиковъ, Василий Григорьевич** с. купца ок. Херс. г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1909.

**Чирцевъ, въ п. сем. 1908.**

**Чистяковъ, Борисъ Михайлович** с. двор. ок. СПб. 2 г. въ ун. 1905 въ п. сем. 1909, Чит. реф. „Тексты мелкихъ стихотвореній Пушкина за 21, 22 и 23 г.г.“ (4 февр. 1910).

**Чубабрія, Георгій Георгіевич** р. 25 апр. 1888 с. дворян. св. Груз. др. г. въ ун. 1908 въ п. сем. 1908 уч. въ сост. пушк. слов. (№ 257, I, 168 до конца).

**Чижовскій, Валентинъ Александрович** р. 7 апр. 1891 с. свящ. ок. СПб 7 г. въ ун. 1909 въ п. сем. 1910.

**Чулошниковъ, Александръ Петрович** р. 8 авг. 1894 с. ген.-маіора ок. II Оренб. кад. корп. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911. Чит. реф. „Пушкинъ и Наполеонъ“ (9 февр. 1912 г.).

**Шахматовъ, Мстиславъ Вячеславович** с. дворян. ок. СПб. 6. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1909.

**Шиловъ, Вячеславъ Михайлович** р. 12 янв. 1891 с. купца ок. Вел.-Устуг. г. въ ун. 1911 въ п. сем. 1911. Чит. реф. „Пушкинъ и декабристы“ (9 нояб. 1911 г.).

**Шимановская, Ольга Александровна** ок. Кишин. г. въ ун. 1906 въ п. сем. 1909.

**\*Шлосбергъ, Артуръ Николаевич** с. ок. Перновск. г. въ ун. 1907 въ п. сем. 1908. Преподаватель.

Сотруд. „Филолог. Зап.“, „Жур. М. нар. пр.“. Отд. напеч.: „Начало русск. Жур.“ (СПБ. 1912).

**\*Энгельгардтъ, Борисъ Михайлович** р. въ им. Батищево, Смол. г. 15 нояб. 1888 с. писателя. Чит. реф. „Пушкинъ и Чаадаевъ“, (15 мар. 1912 г.) и „Историзмъ Пушкина“ (4, 8, 25 окт. 1912 г., 24 янв., 4 апр., 2 мая 1913 г.)

Критикъ. Сотрудникъ „Завѣтовъ“.

**Яблоновскій, Юліанъ** въ п. с. 1910.

**\*Яковлевъ, Николай Васильевич** с. горн. инж. ок. СПб. 1 р. у. въ ун. 1909 въ п. сем. 1910 уч. въ сост. пушк. слов. (№№ 246—256). Р. 25 ф. 1891 въ Спб.

Критикъ. Сотруд. „Жизни для всѣхъ“ и „Нивы“.

**Якубовъ, Николай Васильевич** с. ок. Кроншт. г. въ ун. 1902 въ п. сем. 1909.

**Якубовъ, Владиміръ Николаевич** р. 4 сент. 1890 дворян. ок. Волог. г. въ ун. 1909 въ п. сем. 1909.